НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ



Н. Островский

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

сочинения в трех томах

1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1969

Издание выходит под наблюдением
С. А. Трегуба.

Иллюстрации художника Л. М. Хайлова.

ШКОЛА МУЖЕСТВА

В народе говорят: «Жизнь прожить — не поле перейти». И еще: «Не красна жизнь днями, а красна делами».

Чтобы прожить жизнь достойно, нужно, разумеется, мужество. О том напомнил поэт своим афористическим двустишием:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой! [1]

Приведем и строки А. М. Горького:

«...Не жалей себя,— это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное... Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!» [2]

Одним из таких мужественных и щедрых, умеющих не жалеть себя, и был, несомненно, писатель Николай Алексеевич Островский.

Родился он 29 сентября 1904 года в селе Вилия, Острожского уезда, бывшей Волынской губернии (ныне Ровенской области), и умер 22 декабря 1936 года в Москве. Жил он, как видим, недолго — всего тридцать два года. К тому же лет четырнадцать из них тяжело болел, а последние семь лет был еще и слепым. Но это не помешало ему оставить глубокий и яркий след в жизни и тем самым подтвердить, что далеко не все зависит от числа прожитых лет и физического здоровья. И все, поистине все определяется тем, как живешь, во имя чего, что составляет твою сущность.

Мужество рождается в борьбе и проверяется испытаниями, говорил Островский.

Борьбой и испытаниями наполнена его жизнь: детство, отрочество, юность...

---

[1] И. В. Гёте. Фауст. Часть II. Изд-во «Academia», М.-Л., 1936, стр. 298.

[2] М. Горький. Забытые рассказы. Гослитиздат, Л., 1940, стр. 271.

Когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, ему исполнилось только тринадцать лет. Но он уже знал, что такое труд и нужда.

«...Наше детство было под ярмом капитализма,— вспоминал Островский.— Мы... еще детьми попадали под капиталистический гнет и вместо радостной юности, радостного детства нас ждал изнурительный капиталистический труд от утра до поздней ночи буквально за кусок хлеба».

Пятнадцатилетним подростком участвовал он в гражданской войне. Затем работал в Киевских железнодорожных мастерских, строил узкоколейку... Со свойственным ему энтузиазмом относился он и к своей комсомольской работе на родной Украине. «Кто не горит — тот коптит. Это закон. Да здравствует пламя жизни!» — восклицал он и со всем пылом юности, не щадя себя, отдавался любому делу.

Но вот двадцатилетний Островский заболевает. Старания врачей восстановить его здоровье ни к чему не приводят. Болезнь навсегда приковывает его к постели.

Что делать? Как дальше жить? Да и нужно ли жить?

Вопросы эти, со всей трагической остротой вставшие перед ним, будут волновать и героя его книги — Павла Корчагина; он тоже будет мучительно искать на них ответа:

«Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой?»

Возникла мысль о «спасительном» самоубийстве. «Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце — и никаких гвоздей! Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать?»

Против этого трудно, казалось бы, что-либо возразить.

«Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга, пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. ...Дуло презрительно глянуло ему в глаза».

И в последний момент он решительно отверг мысль о капитуляции.

«Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца?» Он подстегивал себя: «А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

Знакомясь с жизнью Островского и Корчагина, читатель вспомнит, конечно, такие книги, как «Мартин Иден» Джека Лондона, «Свет погас» Редьярда Киплинга, «Страдания мо-

лодого Вертера» Гёте... Мартин Иден кончает самоубийством. «Спасительная пуля» обрывает жизнь героя Киплинга — ослепшего художника Дика Хелдара. Природа человека имеет свои границы, он может выносить страдания только до известного предела, рассуждает гётевский Вертер, перед тем как расстаться с жизнью.

Окруженный со всех сторон своими врагами — болезнями, Корчагин, так же как и Островский, продолжает борьбу и делает возможным, казалось бы, невозможное. Он овладевает новым для себя оружием — оружием художественного слова — и с его помощью, прорвав железное кольцо смерти, возвращается в строй.

Процесс формирования героя — сложный процесс. Герой Островского — новый, советский богатырь, неимоверно расширивший «границы природы». Сталь его характера — высочайшей пробы. Она с честью выдержала все испытания на прочность. Жизнь Корчагина подтверждает ту истину, что великая энергия рождается лишь для великой цели, что существует связь и зависимость между идейностью и нравственностью, между тем, за что борется человек и как он себя ведет.

В детстве Корчагина пленил образ вождя итальянских патриотов, сражавшихся в сороковых — шестидесятых годах прошлого века за освобождение своей родины от австрийского ига,— Джузеппе Гарибальди. «Вот человек был!.. Вот герой!.. Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был... Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы...»

Но времена Гарибальди давно прошли. Новое время рождало новых героев. Один из них — балтийский матрос, стойкий большевик Федор Жухрай.

Вспомним первый разговор Жухрая с Корчагиным, в 1918 году, когда немецкие войска оккупировали Украину. Жухрай говорит: «Мать рассказывает, ты драться любишь. ...Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить». Павка отвечает: «Я зря не дерусь, всегда по справедливости».

Идея справедливости владела душой подростка. И по мере того, как он взрослел и постигал жизнь, по мере того, как само понятие справедливости все больше и больше наполнялось социальным смыслом, обретало конкретность, и формировался его характер.

Через всю жизнь Корчагина прошла увлеченность и другим героем — Оводом. Он восхищался презрением Овода к врагам, его умением превозмогать боль и муку. И не зря, конечно, Рита Устинович назвала его «товарищ Овод». Как не случайна и запись в дневнике врача госпиталя, куда в 1920 году, после тяжелого ранения, доставили Корчагина: «Я знаю, почему он не стонал, и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил: Читайте роман «Овод», тогда узнаете».

Павел читает книгу «Овод» и на привале, у костра, бойцам Первой Конной. Гибель героя всех взволновала. «Так человек не выдержал бы,— сказал один из слушателей,— но

как за идею пошел, так у него все это и получается». Второй боец развил эту мысль: «Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается». И он рассказал о парнишке, который столкнулся в Одессе с целым взводом врагов. Что было делать? Они могли его взять в плен. Тогда он выхватил гранату и швырнул ее себе под ноги. Сам погиб и наседавших на него врагов уничтожил. «Много есть народу знаменитого среди нашего брата»,— заключил он.

В третьей главе второй части «Как закалялась сталь» нам открывается самое сокровенное — мысли Корчагина, являющиеся как бы ключом к его образу: мысли о жизни, которая дается человеку только один раз и которую надо прожить достойно, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое...»

Внутренний этот монолог, обращенный к своей совести, происходит в тот день и час, когда Корчагин, перевалив в четвертый раз смертный рубеж, возвратился к жизни и перед отъездом из Шепетовки пришел на братское кладбище, где похоронены его друзья, чтобы попрощаться с ними. Они погибли во имя того, чтобы жизнь стала прекрасной.

Своей жизнью Корчагин убедительно подтверждает ту истину, что только борьба за светлые идеалы делает человека прекрасным.

Островский писал о том, что было, а не о том, что могло бы быть. Его книга — о пережитом. Она предельно правдива. Он писал ее с тем чувством крайней необходимости, когда нельзя было не писать. Некогда Белинский заметил: «Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни» [1]. Да, именно такова взаимосвязь жизни и творчества Островского!

Чудес на свете не бывает. Но свершенное Островским можно по праву назвать волевым чудом. Потому-то Ромен Роллан и писал ему: «...Ваше имя для меня — синоним редчайшего и чистейшего нравственного мужества. Я восхищаюсь Вами с любовью и восторгом. Будьте уверены, что, если Вы в Вашей жизни и знали мрачные дни, Ваша жизнь есть и будет светочем для многих тысяч людей. Вы останетесь для мира благотворным, возвышающим примером мирной победы духа над предательством индивидуальной судьбы» [2].

Долгая и мучительная болезнь терзала тело Островского. «Иду по нисходящей вниз»,— горестно отмечал он. И одновременно: «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, изд. АН СССР М., 1955, стр. 346.

[2] «Правда», 1936, 7 мая.

черта не вижу,— сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская».

Чтобы приблизить волевое «чудо» Островского к читателю, сделать его зримым, обратимся к прошлому.

...С волнением переступаете вы в морозный январский день 1936 года порог его московской квартиры.

В комнате полумрак. Большое окно (точнее, стеклянная дверь бывшего балкона), выходящее на улицу, занавешено тяжелой шторой — дневной свет сюда не проникает, и уличный шум не доносится. Слева, над кроватью Островского, подвешена электрическая лампочка, прикрытая красным лоскутком (обычный свет резал ему глаза, и они воспалялись). В комнате «оранжерейная температура», градусов 25—27 (включены три электрические печи).

На стене, у кровати, коврик. Над ним большой портрет В. И. Ленина. У изголовья висит телефонная трубка. Под рукой — кнопка электрического звонка: условным сигналом он может вызвать кого-нибудь из родных, секретаря.

Наискосок, в правом углу, письменный стол, а над ним, под потолком, черная воронка репродуктора.

Напротив кровати — кожаный диван с боковинами для книг.

Почти в центре комнаты, ближе к кровати, маленький столик с пишущей машинкой.

Что еще? Пианино. Книжный шкаф.

Но прежде чем вы успели все это разглядеть, вы услышали молодой, энергичный, прерывистый голос хозяина. Он здоровается с вами, как со своими старыми друзьями, каждого называет на «ты», спрашивает о настроении, шутит.

Заострившееся, скуластое, нервное лицо его живет. Живут, кажется, и его глаза.

И вот Островский протягивает вам кисть своей руки (у него двигались только кисти рук) и просит сесть рядом. И по тому, как он вбирает вашу руку в свою, как импульсивно ее пожимает, вы догадываетесь, что он не просто здоровается с вами, а как бы включается в вас: рука приближает вас к его внутреннему зрению.

— Когда я держу твою руку в своей,— подтверждает он вашу догадку,— я полнее чувствую то, что ты мне говоришь, живее представляю себе тебя и до меня лучше доходят твои слова. Если же я физически не ощущаю человека, с которым разговариваю, то мне кажется, что голос его доносится откуда-то издалека, из темной бездны, которая меня окружает, и тогда я хуже усваиваю его речь, слова смутно доходят до моего сознания.

Необычное это рукопожатие включает вас в «высоковольтную сеть» его мыслей и чувств, и вам передается ее напряжение.

Чем дольше длится беседа, тем все больше и больше вы забываете, что сидите у постели человека, давно уже сраженного тяжелым недугом. Он говорит: «Когда я закрываю глаза...» — и вы забываете о том, что его глаза закрыты уже много лет. Он жалуется на проклятый грипп — и вам ка-

жется, что только эта болезнь его и одолевает. Он говорит: «я читаю», «я пишу», «я роюсь в архивах». ...И вы забываете, что не он читает, а ему читают, что он не пишет, а только диктует, что он никак не может рыться в архивах.

Слепой, он зорче многих зрячих. Неподвижный, он подвижнее многих двигающихся. Тяжело больной, он излучает столько энергии, что не сострадание к нему овладевает вами, нет: вы ловите себя на мысли, что живете не в полную меру своих возможностей, что-то важное не сделано вами и сегодня, и вчера, и позавчера... Сидя у его постели, вы острее, чем когда бы то ни было, ощущаете свои недостатки и учитесь у него трудному, но обязательному для каждого человека умению жить.

Островский говорит:

— Самое опасное для человека не его болезни. Слепота, конечно, страшна, но и ее можно преодолеть. Куда опаснее, если хочешь знать, другое — лень, обыкновенная человеческая лень. Вот когда человек не испытывает потребности в труде, когда он внутренне опустошен, когда, ложась спать, он не может ответить на простой вопрос: «Что ты сделал за день?» — тогда действительно опасно и страшно. Нужно срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, так как он гибнет. Ну, а если потребность в труде не потеряна и человек, несмотря ни на что, продолжает работать, то можно считать, что с ним все в порядке.

Он понимал, что дни его сочтены. Но это не обессиливало его. Наоборот! Все его жизненные ресурсы были мобилизованы для преодоления трудностей.

— Чем больше наступает на меня болезнь, тем ожесточеннее я борюсь с ней... Каждый лечится как может: один лечится отдыхом, другой — трудом. Я предпочитаю лечиться трудом.

Стремясь наверстать упущенное, он работал так, что ему искренне могли позавидовать здоровые.

Его любимое слово — «Вперед!».

— Я приехал из Москвы больной, усталый... — вспоминал он свой майский переезд в Сочи в 1936 году.— Я сказал себе: «Смотри, завтра же ты можешь погибнуть, так скорее вперед!»

Озаренный творческим вдохновением, он во время работы, когда пишущая машинка стучала, как пулемет, обращался к своим помощникам-секретарям:

— Вперед, друзья, вперед!

Незадолго до своей смерти Островский сказал мне:

— Если тебе позвонят и передадут, что я умер,— не верь до тех пор, пока сам не придешь и не увидишь. А если придешь и увидишь, что я мертв, не пиши, как обычно пишут в некрологах: «Он мог бы еще жить!» Знай: если бы хоть одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся... Я уйду абсолютно разгромленным... Я покажу ей, старой ведьме, как умирают большевики.

Поистине волевым чудом был каждый из прожитых им дней, заряженных его героической энергией. Он сгорел дотла и только потому умер. Это очевидно. Но важно постичь природу очевидного.

Еще при жизни Островского раздавались голоса об исключительности его самого и его героя. Островский возражал:

— В чем смысл всех этих попыток сделать из Корчагина «человека не от мира сего»? Так каждый паренек или дивчина, прочитав «Как закалялась сталь», сумеют сказать себе: «Корчагин был таким же, как и мы, простым рабочим. И он сумел преодолеть все трудности, даже предательство собственного тела. Счастье людей было его счастьем, и он, как истинный большевик, нашел в этом высшее для себя удовлетворение». Но если поставить вопрос таким образом, что Корчагин — исключение, то напрашивается другой вывод: «Разве мы можем следовать ему, быть такими, как он? Мы ведь «рядовые», а он «редкостный».

А вот о том же, но применительно не к Корчагину, а к самому себе.

— Они относились ко мне, как к феномену,— говорил Островский, вспоминая свою беседу с иностранными журналистами.— «Скажите откровенно и честно,— допытывались они,— у вас ведь нет никакой личной жизни, вы переживаете жуткую трагедию?» А я им в ответ: «Я, конечно, страдаю оттого, что не могу быть абсолютно полноценным работником. Но это не имеет ничего общего с трагедией, с тем, что может ощущать человек в буржуазном обществе». Мои легкие дышат совершенно иным воздухом. Любовь моей страны так обильна, нежность ее так велика, забота ее так трогательна, что способна исцелить самого тяжело больного человека. «Откуда у вас столько бодрости?» — спрашивали они меня, не понимая, что из ничего ничего бы и не вышло. А надо мной долго трудилась наша партия и комсомол. Вот откуда и идет моя романтика. Вот кто высек огонь творчества в моем сердце.

Нет, он, как и Корчагин, не феномен! Он сын своего класса, отважный боец той доблестной армии, которую славил Маяковский:

Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас
банды Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! [1].

---

[1] В. Маяковский. Полн. собр. соч. В тринадцати томах, т. 6. Гослитиздат, М., 1957, стр. 295.

В чем же источник такого легендарного мужества? Соратница В. И. Ленина Е. Д. Стасова писала в статье «Счастье быть первыми», что меньшевистский лидер Дан, признавая свое абсолютное бессилие перед Лениным, с которым он боялся вступать в спор, говорил: Ленин живет революцией и видит ее даже во сне. «Подите-ка справьтесь с ним» [1],— досадовал Дан.

Ленинцы учились жить у Ленина, Островский — один из них. Он обращался к своему другу — старому большевику Х. П. Чернокозову: «...ведь мы с тобой типичные представители молодой и старой гвардии большевиков». Эти же буквально слова сказаны о Корчагине и его друге — старом большевике Леденеве: «Оба они были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков».

Типичные, а не исключительные!

Феликс Эдмундович Дзержинский, будучи узником одной из самых мрачных царских тюрем — X павильона Варшавской цитадели, писал оттуда жене: «Моя способность к труду за последнее время сильно исчерпалась. И не раз возникает у меня мысль о неспособности в будущем жить, быть полезным. Но я говорю тогда себе: тот, у кого есть идея и кто жив, не может быть бесполезным, разве только, если сам отречется от своей идеи. И только смерть, когда придет, скажет свое слово о бесполезности. А пока теплится жизнь и жива сама идея, я буду землю копать, делать самую черную работу, дам все, что смогу. И эта мысль успокаивает, дает возможность переносить муку. Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца. И даже тогда, когда глаза уже слепые и не видят красоты мира, душа знает об этой красоте и остается ее слугой. Муки слепоты остаются, но есть нечто высшее, чем эта мука — есть вера в жизнь, в людей, есть свобода и сознание неизменного долга» [2].

Вот они, корни корчагинской типичности. Они, эти корни, и в образе мышления Якова Михайловича Свердлова, в котором В. И. Ленин видел «...наиболее отчеканенный тип профессионального революционера...» [3].

Значительную часть своей дореволюционной жизни «товарищ Андрей» провел в тюрьмах и ссылках. Но они не сломили его. «Пока бьется в моей груди сердце,— писал он из царского застенка,— пока струится в жилах моих кровь, я не прекращу борьбы, и я верю, твердо верю, мы доведем ее до победного конца» [4]. И в другом письме из Максимкиного Яра — одного из самых глухих мест Нарыма: «... я не унываю, не хандрю, еще раз повторяю, что не лишился обычной бодрости, а пожалуй, и жизнерадостности» [5].

---

[1] «Правда», 21 января 1967 года.

[2] Феликс Дзержинский. Дневник. Письма к родным. 1958, стр. 87.

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое, т. 38, стр. 75.

[4] К. Т. Свердлова. Яков Михайлович Свердлов. Изд. «Молодая гвардия», М., 1957, стр. 116.

[5] Там же, стр. 171.

Любопытно, что любимыми героями юного Свердлова были те же герои, что и Островского, что и Корчагина: Гарибальди, Овод, Спартак, Андрей Кожухов...

Жить, чтобы бороться. Жить, чтобы побеждать. Таковы люди новой породы, которых не могла сломить никакая буря.

Мужество и бесстрашие дедов и отцов наследовали их дети и внуки.

«Как закалялась сталь» — книга, рассказывающая про обыкновенных людей революции. И именно поэтому так ярко проявляется все то необыкновенное, что живет в них.

— Вы что же думаете, на нас солнце не светило, или жизнь не казалась нам прекрасной, или для нас не было привлекательных девушек, когда мы носились по фронту и переживали боевые бури? В том-то и дело, что жизнь нас звала. Мы, может быть, больше других чувствовали ее очарование, но мы твердо знали, что самое главное сейчас — уничтожить врага, отстоять революцию,— говорил Островский, подчеркивая то главное, что характеризовало его поколение и что отнюдь не делало их людьми не от мира сего.

Потому-то он так гневно отнесся к «похвале» Андрэ Жида, который, описывая свою встречу с Островским в Сочи, представил его аскетом и страстотерпцем. «Он обманул наши сердца,— писал Островский в своем последнем письме матери.— Пусть будет этому старому человеку стыдно».

Андрэ Жиду решительно возразил и Ромен Роллан: «Андрэ Жид, посетивший его (Островского.— *С. Т.*) и взволнованно выразивший ему свое восхищение, не сумел увидеть и понять его, иначе он не изобразил бы Островского как «душу, лишенную почти всякой связи с внешним миром и не находящую ни в чем себе опоры»; Андрэ Жид воображал, протягивая руку Островскому, что это пожатие могло «связать его с жизнью». Но из этих двух людей именно умирающий мог бы «связать» того, другого, «с жизнью». Как Андрэ Жид не сумел почувствовать этого? Впрочем, этот неугасаемый факел действия мог лишь обжечь его пальцы» [1].

Нимб святости не имеет ничего общего ни с сущностью Островского, ни с сущностью Корчагина.

Черноглазый паренек из Шепетовки был вполне земным человеком, и ничто человеческое не было ему чуждо. Он совершал ошибки, знал горечь разочарований, впадал в отчаяние. Прочтите внимательно «Как закалялась сталь». Отбывающий на работу в ЦК Сегал говорит Рите Устинович о Корчагине: «Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону». А чье это признание: «Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию»? — Корчагина. Так думал он о самом себе.

Критически осмысливая свою жизнь и находя в ней недостатки, он выделял и то главное, чем она была красна и

---

[1] Р. Роллан. Собрание сочинений. В четырнадцати томах, т. 14. Гослитиздат, М., 1958, стр. 605—606.

что по праву составляло его гордость. «Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови».

То, что было самым главным для Корчагина, было самым главным и для Островского. Нельзя игнорировать классовую сущность их мироощущения и усматривать в их личностях олицетворение какой-то абстрактной духовности.

В беседе с корреспондентом английской газеты «Ньюс кроникл» Островский говорил: «Я не герой на час. Я победил все трагедии своей жизни: слепоту, неподвижность, безумную боль. Я очень счастливый человек, несмотря на все».

Не герой на час! Это полемический вызов тем, кто склонен усматривать в человеческом героизме лишь нечто весьма мимолетное, преходящее, схожее с эффектной вспышкой, лишенное глубоких и прочных корней. Обыкновенного, так сказать, человека представляют маленьким, ничтожным, отягченным многими пороками, над которыми ему если и дано подняться, то лишь в минуты экстаза, неосознанно, рефлекторно.

Славу и гордость советской литературы составляют многие героические произведения, вдохновляющие людей на труд и на подвиг. Среди них книга Островского не исключение из правила, а блестящее его подтверждение.

Островский и Корчагин — цельные натуры. У них нет разлада между словом и делом, между миром «внутренним» и миром «внешним». Жизнелюбие, оптимизм рождены их идейностью. Идейностью рождена и их героическая воля.

— Трудно представить себе более отвратительный тип характера,— говорил Островский,— чем характер медоточивого сентименталиста, который всю жизнь «растекается мыслию по древу» и... отдается чувствительным словоизлияниям, но в то же время не в состоянии совершить ни одного мужественного поступка.

Идеи настоятельно требуют действия. Свершенное Островским «волевое чудо» — следствие его духовной жизни, которая не могла мириться с покоем. Он не исключение из правила, а само правило в его оптимальном виде.

Корреспондент «Ньюс кроникл», потрясенный встречей с «живым Корчагиным», тем, что он видел и слышал, признался, что эта встреча многому его научила и он ее никогда не забудет. Прощаясь с Островским, он сказал: «Вы мужественный человек. Мужество дает вам преданность идеям коммунизма. Это идейное коммунистическое мужество. Да?» И Островский с гордостью подтвердил: «Да». А на вопрос: «...если бы не коммунизм, вы могли бы так же переносить свое положение?» — ответил: «Никогда!»

В этих однозначных ответах — ключ к тайне личности Островского и к сущности его литературного героя.

Разные люди по-разному бывают счастливы. Есть маленькое счастье мещанина, ограниченное узкоэгоистическими интересами, и существует счастье человека, сознающего себя частицей человечества, его авангардной, бунтующей и

строящей силой. По-разному они понимают и свое несчастье. Одни взывают к жалости и живут жалостью. Другие же, презирая страдания, взывают к собственной воле и, откликаясь на зов жизни, остаются в строю до последнего дыхания. Трагедия для них — это прежде всего прекращение борьбы.

— Эгоист,— говорил Островский,— погибает раньше всего. Он живет только в себе и для себя. И если поковеркано его «я», то ему нечем жить. Перед ним ночь эгоизма, обреченности. Но когда человек живет не для себя, когда он растворяется в общественном, то его трудно убить — ведь надо убить все окружающее, убить всю страну, всю жизнь.

Личные трагедии будут и при коммунизме,— продолжил он свою мысль,— но жизнь будет прекрасна тем, что человек перестанет жить узколичной жизнью.

Не умереть страшно было ему. Страшно было не жить.

Время, в которое жил и боролся Корчагин, прошло. Но из этого не следует, будто бы сам он представляет уже лишь историко-музейный интерес. Он жил и жив!

Существует связь времен и связь поколений.

А. А. Фадеев писал некогда Островскому: «Роман понравился мне многими сторонами: прежде всего, глубоко понятой и прочувствованной партийностью, которую я только у Фурманова (из писателей) видел так просто, искренне и правдиво выраженной; новым видением и чувствованием мира, выраженными, главным образом, в центральном герое — Павле Корчагине, который, несмотря на необычное продолжение своей биографии, является типичным; всем своим обликом он противостоит молодым людям XIX столетия, так хорошо изображенным в ряде романов русских и иностранных писателей; скажу больше — мне кажется, что во всей советской литературе нет пока что другого такого же пленительного по своей чистоте и в то же время такого жизненного образа; наконец,— широтой картины, охватывающей исторически довольно большую полосу развития и показывающей различные классы общества в их столкновениях, хотя, разумеется, основное внимание книги обращено на жизнь рабочих, красноармейцев, комсомольцев» [1].

Он же отметил, что книга Островского обладает большим индивидуальным своеобразием: она очень лирична, выразительны ее диалоги. В ней тонкие, неброские краски.

В книге Островского много и других достоинств: нельзя не обратить внимания на ее лаконизм, динамичность.

Дарование писателя проявилось в его умении отмести случайное и развернуть главное, подчинить все образное богатство цели, которую он перед собой поставил. Мысль его остра и доходчива.

«Как закалялась сталь» — одно из лучших произведений социалистического реализма, того реализма, который, отражая жизнь, активно в нее вторгается и двигает ее вперед.

---

[1] А. Фадеев. Собрание сочинений в 5 томах, т. 5. Гослитиздат, М., 1961, стр. 339—340.

1 октября 1935 года Островского наградили орденом Ленина. Глубоко взволнованный этим, он заверил Центральный Комитет партии, что, пока у него бьется сердце, до последнего его удара, вся его жизнь будет отдана делу коммунистического воспитания молодого поколения. Больно было лишь от мысли, что в грядущих боях с фашизмом он не сможет занять свое место в боевой цепи. Он поклялся с тем большей страстью наносить удары врагу другим оружием.

Таким новым мощным ударом по врагу и явился роман «Рожденные бурей».

Островский ясно понимал неизбежность грядущей войны с фашизмом. Еще 13 марта 1935 года он писал комсомольцам в Березники: «Я хочу, чтобы молодое поколение, не видевшее живого жандарма, помещика, знало лицо врага, с которым ему придется столкнуться и которого нужно будет уничтожить навсегда». И выражал уверенность в том, что «...когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой».

Несколько позже, 20 января 1936 года, он обращается к морякам-балтийцам: «Чувствую и верю, что враг натолкнется у Кронштадта не только на сталь и железобетон красных укреплений, но и на человеческую сталь...»

В дни, когда Островский заканчивал уже работу над первой частью романа «Рожденные бурей», к нему пришел редактор нового готовящегося издания книги «Как закалялась сталь». Островский настаивал на миллионном тираже. Не личная слава занимала его, нет!

— Понимаешь, миллион,— убеждал он.— Книги — это мои солдаты, красноармейцы. Я их полководец. Я веду их на врага. А нам еще предстоят громадные бои. Многие еще не понимают, что такое фашизм. Представь себе, что на улицу выбежал сумасшедший с бомбой. Куда он ее швырнет? Там, в Париже и Лондоне, только ахают и охают, ежатся и пыжатся. Но только рабочий класс Советского Союза, только большевики видят и понимают фашизм насквозь и дадут ему отпор. Я вот иногда лежу и представляю себе, как с факелами на улицах германских городов идут остервенелые штурмовики. Мне кажется, что я слышу их истошный вопль: «Хайль Гитлер!». И поэтому я хочу вооружить нашу комсу наших молодых ребят, всех советских людей оружием своих литературных образов. А иначе на черта заниматься литературой? Что это, игра в бирюльки? И тут я не боюсь за свою работу. Я знаю, что может дать «Как закалялась сталь». Я это уже проверил [1].

Обращаясь к истории, Островский думал о современности. Описывая вчерашнее, он был весь не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем. Подобно своему новому герою Андрию Птахе, которого можно назвать «двойником» Корчагина, он хотел схватиться за кольцо гудка и его неистовым тревож-

---

[1] К. Зелинский. Из воспоминаний о Николае Островском. «Дружба народов», 1947, № 14, стр. 179.

ным зовом не просто напомнить об опасности, а призвать к мужеству, к бдительности, к боеготовности. Этот призывный голос гудка и звучит на страницах «Рожденные бурей».

Писателя спрашивали, как его новая книга перекликается с предыдущей. Он отвечал: «Обе книги родственны. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении шестнадцати лет, а новый роман развертывает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении трех-четырех месяцев».

Павел Корчагин как бы продолжал жить в новом романе — ведь в «Как закалялась сталь» он писал повесть под точно таким же названием: «Рожденные бурей».

И в новом романе Островский показывает процесс закалки стали, ее испытание на стойкость.

«Эй, там, в доме, сдаетесь?» — остервенело вопит осажденным в охотничьем домике поручик Заремба. И Андрий Птаха отвечает за себя и за всех своих юных друзей: Раймонда, Леона, Сарру, Олесю: «Пошел к черту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна!»

Таков пафос первой части романа.

«Биться до последнего!» — пафос всего творчества Островского, включая его статьи, речи, беседы, письма.

«Я всегда держусь до последней пешки»,— говорил Корчагин, играя в шахматы («Я всегда дерусь до последней пешки»,— было в журнальном тексте). Слова эти имеют не частное, а широкое, обобщающее значение и родственны, например, словам Островского из его письма: «Жизнь нельзя убить, пока стучит сердечко, и позор тем, кто сдается живым в плен». В плен бездействию, пессимизму.

И вот уже не фигурально, не образно, а вполне реально и конкретно:

«Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Не прав тот, кто думает: большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось, безнадежном положении. Если меня разгромят в Госиздате, я еще раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путевку в жизнь». И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление».

Так пишет Островский в феврале 1932 года, закончив первую часть «Как закалялась сталь». Вот она, философия бойца, для которого нет счастья без борьбы!

В публицистике Островского, в его письмах тот же герой, что и в его художественных произведениях. Это вновь подчеркивает монолитность его идейных убеждений, целеустремленность всей его натуры, внутреннюю мобилизованность характера этого неутомимого, жизнедеятельного писателя-коммуниста.

Жар его пламени ощущаешь в каждом слове. В письме к жене наряду с житейски-деловым распоряжением находишь строки, звучащие интимно и вместе с тем эпически:

«Поистине вся наша жизнь есть борьба. Поистине единственным моим счастьем является творчество.

Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К черту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво. К черту сопливых нытиков. Еще раз — да здравствует творчество!»

А в письме, адресованном приятельнице,— горячее напутствие перед важнейшим событием в ее жизни — вступлением в партию: «Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? Пусть поздно, пусть после боев, но бои еще будут. В чем же радость жизни вне ВКП(б)? Ни семья, ни любовь — ничто не дает сознания наполненной жизни. Семья — это несколько человек, любовь — это один человек, а партия — это 1 600 000. Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор».

В другом письме Островский утешает человека, перенесшего, по-видимому, большую личную драму. Он сознает, что бывают положения, когда «все слова утешения не способны... смягчить боль», и ищет самые действенные аргументы, самые убедительные доводы: «Не могу писать Вам шаблонные слова. Я могу сказать лишь одно: я в своей жизни тоже испытал горечь измен и предательств. Но одно лишь спасало: у меня всегда была цель и оправдание жизни — это борьба за социализм. Это самая возвышенная любовь... Посмотрите, как прекрасна наша жизнь, как обаятельна борьба за возрождение и расцвет страны — борьба за нового человека. Отдайте же этому свою жизнь, тогда солнце опять приласкает Вас!»

И в этих «частных» письмах Островский, как видим, остается верен себе, своей натуре. Он один и тот же в проповеди и в исповеди.

Школа мужества — это не только его творчество, но и сама его жизнь.

Во второй том собрания сочинений вошел его единственный очерк «Мой день 27 сентября 1935 года», продиктованный для сборника «День мира».

С чего начался день Островского? С телефонного звонка, ворвавшегося в его сон и разогнавшего видения былого. Читая очерк, обращаешь внимание на слова: «Прочь, страдания!», «жизнь вступает в свои права», «жизнь зовет меня к сопротивлению».

Жизнь звала его, и он откликался на ее зов.

В письме от 5 февраля 1936 года, адресованном членам бюро Сочинского горкома партии, Островский отчитывается о своей работе в Москве. Сколько он успел сделать за два коротких зимних месяца! Десять лет назад его сняли с военного учета, а теперь снова «призвали в армию» — зачислили в политсостав и присвоили высокое звание бригадного комиссара. «Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии».

По письму-отчету можно представить, чем жил тогда Островский. Его дни уплотнены до предела. Это не значит,

однако, что он не отдыхал. И в горячую рабочую пору он находил часок-другой, чтобы послушать не только книгу, но и музыку, песню, сцену из театрального представления... Он жил всеми интересами вполне здорового человека.

Но страдания не оставляли его и жестоко о себе напоминали. Они, казалось, мстили ему за то, что он смел не замечать их.

Ночью 14 декабря 1936 года Островский закончил редактуру первой части «Рожденные бурей», а 15 декабря, в день, когда принесли постановление ЦК ВЛКСМ о предоставлении ему очередного отпуска, разразился последний и губительный для его жизни приступ.

Придя в себя, он позвонил в «Комсомольскую правду» и спросил:

— Держится ли Мадрид?

Франкистские мятежники, поддерживаемые войсками Гитлера и Муссолини, марокканскими наемниками, находились уже в пятнадцати километрах от испанской столицы.

Островский ждал ответа. Телефонная трубка доносила его напряженное, прерывистое дыхание.

— Мадрид держится.

— Молодцы ребята! — произнес он глухо.— Значит, и мне нужно держаться.— И с грустью добавил: — А меня, кажется, уже громят...

Смерть и фашизм были для него однозначны.

— Не горюйте, друзья, я не сдамся и на этот раз,— утешал он близких.— Я не могу еще умереть... Я не могу оставить моих ребят в руках легионеров... Я должен вывести их из беды...

Болезнь, однако, наступала с таким ожесточением, что его ослабевший организм не в силах был уже сопротивляться.

21 декабря, оставшись наедине с медицинской сестрой, Островский спросил:

— Вам, вероятно, приходилось видеть много тяжелого за время вашей работы?

— Да, тяжелого я, конечно, видела много.

— Ну, вот и я,— сказал он,— я тоже ничем вас не порадую.

Женщина с трудом сдержала слезы. Она пыталась утешить его:

— Что вы, Николай Алексеевич! Я уверена, что через несколько дней вы меня, несомненно, порадуете, вам станет лучше.

— Нет, нет,— ответил он,— я слишком хорошо знаю свое состояние, я твердо знаю, что я вас больше ничем не порадую... А жаль! Еще только один год мне надо было прожить, чтобы закончить работу. У меня еще так много незаконченной работы осталось... Я знаю, что от меня еще многого ждет комсомол.

Он впал в забытье. Очнувшись, спросил находившегося у постели брата:

— Я стонал?

И, услышав отрицательный ответ, торжествующе произнес:

— Видишь! Смерть ко мне подошла вплотную, но я ей не поддаюсь.

Потом снова забытье. И через несколько часов, очнувшись, вопрос врачу:

— Я стонал?

— Нет.

— Это хорошо. Значит, смерть не может меня пересилить.

В последний раз он смотрел тогда в лицо смерти и не дрогнул: он умирал так же мужественно, как и жил.

— Я в таком большом долгу перед молодежью,— говорил он, уже угасая.— Жить хочется... Жить нужно...

22 декабря 1936 года в 19 часов 50 минут Николай Алексеевич Островский умер.

Но умер ли он?!

С автором «Как закалялась сталь» и героем его книги накрепко сдружились целые поколения советских людей. И не только советских. Корчагин ведет за собой корчагинцев. С нами его патриотизм, его самозабвенная преданность делу революции, его любовь к труду и людям труда, его воинствующий гуманизм и его ненависть ко всему чуждому, враждебному, его интернационализм, верность дружбе, все то, что составляет его идейно-нравственную основу. Разве устарело его понимание смысла человеческого бытия? Стойкостью, проявленной им в тяжелую пору жизни, он вооружил многих: и в предвоенные тридцатые годы, когда Корчагин лишь шагнул с книжных страниц в жизнь, и в годы смертельной схватки с фашизмом, и в послевоенные годы.

Весьма показателен и выразителен тот факт, что восемьдесят процентов тиража первого издания первой части «Как закалялась сталь» было взято для армии. «Меня это радует»,— писал Островский. Книгу приняли на вооружение миллионы читателей, удостоив ее высшего звания — «жизненно необходимой».

«Жаль, что нет обычая награждать книги,— писали в годы Отечественной войны фронтовики.— «Как закалялась сталь» можно было бы наградить орденом Отечественной войны». Письма, документы, дневники, высказывания, появившиеся в печати в период войны и хранящиеся в музеях Николая Островского (в Москве, Сочи и Шепетовке), указывают героический путь Корчагина через фронты и тылы.

Группа гвардейцев — Героев Советского Союза, писала, например, в Московский музей Н. Островского: «И когда мы вернемся домой после победы, мы принесем вам не один томик «Как закалялась сталь» с простреленными и обожженными страницами, чтобы могли видеть, как вместе с нами на всех фронтах сражался за Родину ее бессмертный сын, наш друг и брат Корчагин-Островский».

В сознании миллионов читателей образ автора книги «Как закалялась сталь» давно уже слился с образом ее героя в единый мужественный образ.

Аккумулировав мощную духовную энергию, книга Островского заряжала каждого, кто с нею соприкасался.

Иные звезды давно померкли, а корчагинская продолжает светить и сегодня. Почему? Да потому, что человеческая жизнь во все времена немыслима без борьбы с трудностями. Эта борьба придает ценность самой жизни. Вспомним ответ Маркса на вопрос дочерей: «Ваше представление о счастье?» Он ответил: «Борьба». На жизненном пути — много «туннелей», которые нужно пройти. За ними — свет! И от каждого требуется воля, воля и воля. Бывает невмоготу. Человек находится как бы уже на пределе, и его возможности кажутся исчерпанными. Тут-то и важен пример, достойный подражания, который вызвал бы к жизни твой «НЗ»—неприкосновенный запас. Без этого свалишься, капитулируешь. Ведь теряя мужество — теряешь все.

На помощь приходят Островский и Корчагин. Их жизнелюбие и оптимизм, их вера и воля, их мужественное умение держаться и идти вперед вдохновляют.

Они всюду с теми, кто торопит время к Коммуне. И всюду рождают себе подобных.

«Жизнь Николая Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи»,— писал первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. А первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова-Николаева на вопрос: «Кто ваш любимый литературный герой?» — ответила: «Павка Корчагин».

Отраден тот энтузиазм, с каким нынешняя молодежь отстаивает свое родство с Островским и Корчагиным, имея при этом в виду не частное, преходящее, а главное, решающее. И тот, кто не нищ духом, кто не проспал своих горячих дней, кто нашел свое место в сегодняшних боях за торжество того дела, которому посвятили жизни Островский и Корчагин, тот, несомненно, родствен ему.

Островский и его книги поистине шагают по планете. С какого бы конца земли ни приезжали люди в Советский Союз, они считают своим долгом посетить музеи Островского в Москве, Сочи, Шепетовке. В книге отзывов остаются их сердечные записи:

«Книга «Как закалялась сталь» всегда с нами — на фронте и в труде. Большое спасибо Островскому за то, что он воспитывает нашу молодежь в любви к Родине и поднимает на борьбу за счастье всего человечества.

Вьетнамская группа
Интернационального лагеря молодежи».

«Я очень благодарна Павлу Корчагину за уроки мужества. Он для меня пример во всем. Если не хватает сил выполнить задание, я думаю о Павле Корчагине. И это всегда помогает.

Немецкая студентка, будущая учительница из ГДР».

«Его прекрасная книга воспитывает не только советскую молодежь, но и молодежь Франции, молодежь всех стран в духе борьбы за свободу и мир, за великие идеи человечества, которые освещают путь борьбы за коммунизм.

Группа посетителей из Франции».

А вот голос из Марокко:

«Вечная слава Павлу Корчагину, имя которого стало символом мужества! Вечная слава стране, которая воспитала Корчагина и подобных ему. Образ Корчагина живет в сердцах борцов в Омане, Алжире — повсюду, где идет борьба за свободу и счастье народа».

Подобных записей тысячи.

В свое время буржуазная печать готова была выдать Корчагина за «красивую легенду», выдуманную большевиками в целях пропаганды. Она отрицала возможность его реального существования и твердила о мифе, фантазии. Но мир знает, что Корчагин не фантазия, не миф: Островскому было с кого писать Корчагина!

Биография Островского в какой-то мере «скромнее» корчагинской, в известной же мере она и богаче. Островский вначале был необычайно смущен тем, что молодежь подняла его на щит, назвала героем, объединила с Корчагиным. «...я — обыкновенный старый комсомолец, таких тысячи»,— писал он. И там же: «Правда, я, может быть, немного упрямее других в смысле сопротивления стихии». Но, говоря языком поэзии, «По шири, по делу, по крови, по духу», Островский и Корчагин, конечно, едины. Это отнюдь не противоречит тому, что говорил Островский в 1935 году на заседании бюро Сочинского горкома партии:

— Роман — это в первую очередь художественное произведение, и в нем я использовал также и свое право на вымысел. В основу романа положено немало фактического материала. Но назвать эту вещь документом нельзя... Это роман, а не биография, скажем, комсомольца Островского.

Однако бесспорно и то, что, используя свое право на вымысел, он создавал произведение, в основе которого — правда пережитого. Художественная литература знает много таких книг. Их автобиографичность ничуть не умаляет их художественности.

Из жизни пришел Корчагин в литературу, чтобы с ее страниц снова шагнуть в жизнь. В этом сила самой нашей жизни и рожденной ею литературы. Героическое — в их природе.

— Самое прекрасное для человека,— мечтал Островский,— всем созданным тобой служить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать.

Его жизнь и его творчество, цельные и единые в своей основе, обеспечили ему этот завидный удел.

Люди всей земли слышат его мужественный голос:

— Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе, и только к победе — и никуда иначе!

Семен Трегуб

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок — встаньте!

Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее угрожающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек,— четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.

— Вы садитесь,— махнул поп в сторону девочек.

Те быстро сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.

— Идите-ка сюда, голубчики!

Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам.

— Кто из вас, подлецов, курит?

Все четверо тихо ответили:

— Мы не курим, батюшка.

Лицо попа побагровело.

— Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, чер-

ноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.

— А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

— У меня нет карманов,— и провел руками по зашитым швам.

— А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость — испортить тесто! Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! — Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь.

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа.

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора.

Павку душили слезы.

«Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал? Сережка подбил. «Давай,— говорит,— насыплем гадюке вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят».

Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили «без обеда». Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью.

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело.

По закону божию поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, Новый и Ветхий завет знал он назубок; твердо знал, в какой день что произведено богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал.

— Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе божием — пять тыс...— и сразу осел от визгливого крика отца Василия:

— Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово божие!

Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор.

Здорово попало Павке и от матери.

На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился.

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия: гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто.

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа.

...Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог.

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.

— Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! — крикнул он.

И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую.

*

Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку.

— Сколько ему лет?

— Двенадцать,— ответила мать.

— Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей в месяц и стол в дни работы, сутки работать, сутки дома — и чтоб не воровать.

— Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь,— испуганно сказала мать.

— Ну, пусть начинает сегодня же работать,— приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил: — Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки.

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех:

— Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись.

И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу.

В судомойне шла работа вовсю: гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами.

Рыженький мальчик с всклоченными, нечесаными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами.

Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала:

— Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать.

Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:

— Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай.— Повернулась и пошла в буфет.

— Хорошо,— тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю. Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинства, и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным, грудным голосом:

— Дело твое, милай, маленькое: вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтобы наколол, потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься,— говорила она костромским говорком с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.

«Тетка эта, видно, ничего»,— решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе:

— А что мне сейчас делать, тетя?

Сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова:

— Ха-ха-ха!.. У Фросеньки уж и племянник завелся...

— Ха-ха!..— смеялась больше всех сама Фрося.

Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было восемнадцать лет.

Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил:

— Что мне делать надо сейчас?

Но мальчик на вопрос только хихикнул:

— Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно.— И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.

— Иди сюда, помогай вытирать вилки,— услышал Павка голос одной из работающих, уже немолодой судомойки.

— Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот бери-ка,— подала она Павке полотенце,— бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чисть туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь — беда: хозяйка в три счета прогонит.

— Как хозяйка? — не понял Павел.— Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал.

Судомойка засмеялась:

— Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он. Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь — увидишь.

Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды.

Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:

— Пошевеливайтесь живее. Сейчас придет двенадцатичасовой, а вы копаетесь.

Глядя на Павку, он спросил:

— А это кто?

— Это новенький,— ответила Фрося.

— А, новенький,— проговорил он.— Ну, так вот,— тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам,— они у тебя всегда должны быть готовы, а они, видишь,— один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра если повторится, то получишь по морде. Понял?

Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары.

Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он: тут — не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь — в морду.

Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала:

— Ишь мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то.

— Да, парень справный,— сказала Фрося,— такого подгонять не надо.

— Убегается скоро,— возразила Луша,— все сначала стараются...

В семь часов утра, измученный бессонной ночью и

бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене — толстоморденькому мальчишке с нахальными глазками.

Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения:

— Эй ты, шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену.

— Почему в шесть? — спросил Павка.— Ведь сменяются в семь.

— Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит.

Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь влепить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал:

— Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя; если захочешь попробовать — пожалуйста.

Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.

— Ну, ладно, посмотрим,— пробормотал он.

Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед.

Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинских.

«Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь,— думал Павка и пошел быстрее, посвистывая.— Получилось не так уж скверно, что меня из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел,— рассуждал Павка, подхо-

дя к дому, и, открывая калитку, вспомнил: — А тому, белобрысому, обязательно набью морду, обязательно».

Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына. спросила тревожно:

— Ну, как?

— Хорошо,— ответил Павка.

Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял — в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема.

— Что, Артем приехал? — спросил он, смутившись.

— Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо.

Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату.

Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата.

— А, пришел, махорочник? Ну, ну, здорово!

Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.

«Артем уже все знает,— подумал Павка.— Артем может и отругать и поколотить».

Побаивался Павлик Артема.

Но Артем, видно, драться не собирался; он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрывающимся взглядом — не то насмешливо, не то презрительно.

— Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помои принялся? — сказал Артем.

Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню.

«Обойдется, видно, без припарки»,— облегченно вздохнул Павка.

Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе.

Павка рассказал все.

— И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь? — с грустью проговорила мать.— Ну, что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи боже мой, сколько я мучения с этим мальчишкой перенесла,— жаловалась она.

Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке:

— Ну, так вот, браток. Раз уж так случилось, держись теперь настороже, на работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо; ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда, черт, ни ткнется — везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок — буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу — может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью, но ты смотри, Павка, будь человеком.

Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери:

— Я пойду по делу на часок.— И, согнувшись у притолоки двери, вышел. Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал:

— Там тебе привез сапоги и ножик, мамка даст.

*

Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки.

Железнодорожный узел соединял пять линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два-три часа ночью, в перерыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях.

Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня — вот все, что он видел за эти два года. В громадной подвальной кухне — лихорадочная работа. Работало двадцать с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню.

Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню — выбросил всесильный шеф: не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали

за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка больше всех, не уставая.

В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра: в «очко», в «девятку». Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по тридцать — сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка.

«Сволочь проклятая! — думал он.— Вот Артем — слесарь первой руки, а получает сорок восемь рублей, а я — десять; они гребут в сутки столько — и за что? Поднесет — унесет. Пропивают и проигрывают».

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые».

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают»,— думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных; знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу.

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному.

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию.

Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь.

Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося.

Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней.

Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженок, ощущал какую-то пустоту и одиночество.

*

В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточки перед открытой дверцей; прищурившись, смотрел на огонь — хорошо было от тепла печки. В судомойне никого не было.

Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина.

В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки.

А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк.

На лестнице послышались шаги. Обернулся: сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог.

Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову.

Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными легкими шагами, и Павка услыхал знакомый голос:

— Прохошка, подожди.

Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх.

— Тебе чего? — буркнул он.

Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю.

Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала:

— Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?

Прохор резко отдернул руку.

— Что? Деньги? А разве я тебе не дал? — говорил он озлобленно-резко.

— Но ведь он дал тебе триста рублей.— И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания.

— Триста рублей, говоришь? — ехидно проговорил Прохошка.— Что же, ты хочешь их получить? Не боль-

но ли дорого, сударынька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье! Почище барыньки, с образованием — и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это — ночку поспать и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой — еще подработаешь, я тебе протекцию составлю.— И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню.

— Подлюга, гад! — крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала.

Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он слушал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю. Не сказался Павка, молчал, судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо, ясно:

«И эту продали, проклятые. Эх, Фрося, Фрося!..»

Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылело и стало ненавистным. «Эх, была бы сила, избил бы этого подлеца до смерти! Почему я не большой и сильный, как Артем?»

Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток; казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся показывает ему свой язык.

Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке и у крана слышался стук равномерно падающих капель.

Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь:

— Садись, Климка.

Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь:

— Ты что, на огонь колдуешь?

Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища.

— Чудной ты, Павка, сегодня какой-то...— И, помолчав, затем спросил: — Случилось у тебя что-нибудь?

Павка поднялся и сел рядом с Климкой.

— Ничего не случилось,— ответил он глуховато.— Тяжело мне здесь, Климка.— И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

— Что это на тебя сегодня нашло? — продолжал приподнявшийся на локтях Климка.

— Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается! Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто придраться не мог, кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя — и по шее...

Климка испуганно перебил его:

— Ты не кричи так, а то зайдет кто — услышит.

Павка вскочил.

— Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда. Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... могила, жулик на жулике сидит. Денег у них сколько у всех! А нас за тварей считают, с дивчатами что хотят, то и делают; а которая хорошая, не поддается, выгоняют в два счета. Тем куда деваться? Набирают беженок, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода.

Он говорил это с такой злобой, что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню, а Павка все говорил о накипевшем у него на душе.

— Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?

Павка сел на табуретку у стола и устало склонил го-

лову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола.

— Читать не будем сегодня? — спросил он Павку.

— Книжки нет,— ответил Павка,— киоск закрыт.

— Что, разве он не торгует сегодня? — удивился Климка.

— Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то,— ответил Павка.

— За что?

— За политику, говорят.

Климка недоуменно посмотрел на Павку.

— А что эта политика означает?

Павка пожал плечами.

— Черт его знает! Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется.

Климка испуганно дернулся.

— А разве есть такие?

— Не знаю,— ответил Павка.

Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша.

— Вы это чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу.

*

Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел.

В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду.

Отвернул кран Павка — вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул: усталость одолела.

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал.

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и только когда вода залила лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха.

А вода все прибывала и прибывала.

Убиравший со стола во втором зале Прохошка кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал.

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохошка бросился к спящему Павке.

Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика.

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело.

Избитый, едва доплелся домой.

Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся.

Павка рассказал все, как было.

— Кто тебя бил? — глухо спросил Артем.

— Прохошка.

— Ладно, лежи.

Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел.

*

— Могу я видеть официанта Прохора? — спросил у Глаши незнакомый рабочий.

— Он сейчас зайдет, подождите,— ответила она.

Громадная фигура прислонилась к притолоке.

— Ладно, подожду.

Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню.

— Вот этот самый,— сказала Глаша, указывая на Прохора.

Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор:

— За что Павку, брата моего, бил?

Прохор хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол; он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу.

Испуганные посудницы шарахнулись в сторону.

Артем повернулся и пошел к выходу.

Прохошка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу.

Артем из депо вечером не вернулся.

Мать узнала: сидит Артем в жандармском отделении.

Через шесть суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково:

— Что, поправился, браток? — Присел рядом.— Бывает и хуже.— И, помолчав, добавил: — Ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил. Там делу научишься.

Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: «Царя скинули!»

В городке не хотели верить.

С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинелей и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей.

Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство.

Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось по-прежнему.

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с Юго-западного фронта.

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры все больше графы да князья, погоны золотые, на рейтузах канты серебряные, все как при царе,— словно и не было революции.

Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Сережки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из окопных солдат, с чудным прозвищем: «большевики».

Откуда такое название, твердое, увесистое,— никому невдомек.

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами.

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали.

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали и на вокзал воротились, и дальше двинулись эшелон за эшелоном.

*

Весной тысяча девятьсот восемнадцатого года трое друзей шли от Сережи Брузжака, где резались в «шестьдесят шесть». По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади, и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул нагайкой лежавшим Павке и Климке:

— Эй, хлопцы мои, сюда!

Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли: толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висел наган и две немецкие бомбы.

— Тащите воды попить, ребятки! — попросил всадник и, когда Павка побежал в дом за водой, обратился

к глазевшему на него Сережке: — Скажи, паренек, какая власть в городе?

Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости:

— Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? — в свою очередь задал он вопрос.

— Ну, много будешь знать — скоро состаришься,— с улыбкой ответил всадник.

Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой.

Всадник жадно, залпом, выпил ее до дна, передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.

— Кто это был? — недоуменно спросил Павка Климку.

— Откуда я знаю? — ответил тот, пожав плечами.

— Наверно, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают — значит, придут партизаны,— окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка.

Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка и Климка.

Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору.

Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко по шоссе — человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое: один — пожилой, в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди, а рядом с ним — только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого — красный бант.

— А я что говорил? — толкнул Павку локтем в бок Сережка.— Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза — партизаны...— И, гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу.

Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжавших.

Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав нагайкой на дом Лещинских, спросил:

— Кто в этом доме живет?

Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал:

— Здесь адвокат Лещинский живет. Вчера сбежал. Вас, видно, испугался...

— Ты откуда знаешь, кто мы такие? — спросил, улыбаясь, пожилой.

Павка, указывая на бант, ответил:

— А это что? Сразу видать...

На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев.

Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам.

Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо: трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков — пожилой, с проседью в волосах.

Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии, и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому, с крепкими зубами:

— Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я думаю — надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача — успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывать сопротивление с нашими силами — это же смешно... Одно орудие и тридцать снарядов, двести штыков и шестьдесят сабель — грозная сила... Немцы идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что, кроме немцев, мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. Мое мнение — завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной

дороге их продвижение будет задержано. Вы как думаете, товарищи? Давайте решим,— обратился он к сидящим за столом.

Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и, наконец, с трудом выдавил застрявшие в горле слова:

— Я... под... держиваю Булгакова.

Самый молодой, в рабочей блузе, согласился:

— Булгаков говорит дело.

И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой.

— На черта же мы тогда отряд собирали? Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать... Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно.— Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате.

Булгаков неодобрительно посмотрел на него.

— Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей на верный разгром и уничтожение — этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией, бронемашинами... Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко...— И, уже обращаясь к остальным, закончил: — Итак, решено — завтра утром отходим.

— Следующий вопрос — о связи,— продолжал совещание Булгаков.— Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь — крупный железнодорожный узел, городишко имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры.

— Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай,— сказал Ермаченко, подходя к столу.— Во-первых, Жухрай из здешних мест. Во-вторых, он слесарь и монтер — сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел — он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек.

Булгаков кивнул головой.

— Правильно, я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете? — обратился он к остальным.— Нет. Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу.

— Теперь третий — последний вопрос, товарищи,— произнес Булгаков.— Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок — двадцать тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин — хозяин сарая. Хочет избавиться от них... Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно: сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки.

Крепко сбитый, со щетиной давно не бритой бороды, Стружков шевельнулся:

— За... за... зачем... поджигать? Я д... думаю раз... раздать оружие на... населению.

Булгаков быстро повернулся к нему:

— Раздать, говоришь?

— Правильно. Вот это правильно! — восхищенно воскликнул Ермаченко.— Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет по крайней мере чем почесать бока немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет невмоготу, возьмутся ребята за оружие. Стружков правильно сказал: раздать. Хорошо бы даже в деревеньку завезти. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать подчистую, эти винтовочки-то, ой, как нужны будут!

Булгаков засмеялся:

— Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут.

Ермаченко запротестовал:

— Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит.

Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих.

— Раздадим, раздадим винтовки,— поддержал Ермаченко и Стружкова молодой рабочий.

— Ну что же, значит, раздадим,— согласился Булгаков.— Вот и все вопросы,— сказал он, вставая из-за

стола.— Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне. Я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты.

Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разостлав на матраце шинель, лег.

*

Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара.

В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинских садились на лошадей вчерашние его знакомые.

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Брузжаку, жившему на другом конце города.

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на Павку.

— А черт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам. Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву. Натащит всякой дряни, а потом отвечай за него. А ты что, тоже туда собрался?

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамаши и выкатился на улицу.

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке.

— Дядя, скажи, где достал? — подлетел к нему Павка.

— А там, на Верховине, раздают.

Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжелую пехотную винтовку со штыком.

— Где взял ружье? — остановил его Павка.

— Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Все разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые лежат. А я вторую несу,— с гордостью закончил мальчишка.

Сообщенная новость страшно огорчила Павку.

«Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой! — с отчаянием думал он.— И как это я проморгал?»

И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук.

— У тебя уже одно есть — хватит. А это мне,— тоном, не допускающим возражения, заявил Павка.

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед штык, крикнул:

— Отскочь, а то наколешься!

Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом.

*

Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина — городок, а окраины — крестьянские.

В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах. Дивчата, парубки — все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками. Смех, песни.

Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко...

Любит свою гармонь Павка. Любовно ставит на колено певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие — клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы, и засыплет гармоника лихую, заливистую...

Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься? Не утерпишь — ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника — хорошо жить на свете!

Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче всех — Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее — альт, грудной, бархатистый.

Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет:

— Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов, тает мое сердце перед ними.

Краснеет Павка до корней волос,— хорошо, вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит — не пускает.

— Ну, куда же ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок,— шутит она.

Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.

Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:

— Ты мне мешаешь играть, отодвинься.

И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки.

Вмешивается Маруся:

— Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало.

Медленно растягиваются мехи, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем, родная мелодия. Галина первая подхватывает ее. За ней — Маруся и остальные:

Зібралися всі бурлаки
до рідної хати,
тут нам мило,
тут нам любо
в журбі заспівати.

И уносятся вдаль, к лесу, звонкие молодые голоса, поющие песню.

— Павка! — Это голос Артема.

Павка сдвигает мехи гармоники, застегивает ремни.

— Зовут, я пошел.

Маруся говорит упрашивающе:

— Ну, посиди еще, поиграй немного. Успеешь домой.

Но Павка спешит:

— Нет. Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет,— и бежит через улицу к домику.

Открыв дверь в комнатку, видит — за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий — незнакомый.

— Ты меня звал? — спросил Павка.

Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу:

— Вот он самый и есть, братишка мой.

Тот протянул Павке узловатую руку.

— Вот что, Павка,— обратился Артем к брату.— Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь.

Незнакомец вмешался:

— Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю.

— Конечно, нужно. Ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал — все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. А пускать станцию с одним кочегаром не решился. А монтер тифом заболел.

— Ну вот, дело и сделано,— сказал незнакомец.— Завтра я за тобой зайду, и пойдем вместе,— обратился он к Павке.

— Хорошо.

Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут,— видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб.

Прощаясь, Артем проговорил:

— Пока всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело.

*

Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на

станции, осиротевшей за последние дни. По городу разнеслась весть:

— Немцы идут.

И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе.

Все жители прилипли к заборам, калиткам. На улицу выходить боялись.

А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах, с винтовками наперевес. На винтовках — широкие, как ножи, штыки. На головах — тяжелые стальные шлемы. За спинами — громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался.

Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе — гетманский старшина, переводчик, в синем украинском жупане и папахе.

Построились немцы в каре на площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта, майора Корфа.

Приказ гласил:

§ 1

Приказываю:

Всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа — расстрел.

§ 2

В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается.

Комендант города майор Корф.

В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался Совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой, уже не в стальном шлеме, а в парадной каске, с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия.

Целый день напуганный угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали.

Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру.

В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было четырнадцать тысяч штук. Итак, шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты.

На рассвете следующего дня за городом, у старого еврейского кладбища, были расстреляны двое рабочих-железнодорожников, у которых при обыске нашли спрятанные винтовки.

*

Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил:

— Ты что-нибудь принес домой со склада?

Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось, и все рассказал.

Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную.

Проделав все это, Артем повернулся к брату:

— Ты уже не маленький, Павка, понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю — ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри, не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то, сморкача, трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?

Павка обещал ничего не носить.

Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети — Нелли и Виктор.

— Прилетели птички,— злобно проговорил Артем.— Эх, и кутерьма начнется, едят его мухи! — И вошел в дом.

Весь день Павка грустил о винтовке. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался — не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей.

Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама; критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным, снял с головы фуражку и вытер со лба пот.

«Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай — неизвестно».

*

Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц как работал на электростанции.

Жухрай показывал подручному кочегара устройство динамо и приучал его к работе.

Смышленый мальчишка понравился матросу. Жухрай частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки. Он умел так успокаивающе подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее.

Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции, среди сложенных штабелей дров, и, улыбнувшись, спросил:

— Мать рассказывает, ты драться любишь. «Он у меня,— говорит,— драчливый, как петух».— Жухрай рассмеялся одобрительно.— Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить.

Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил:

— Я зря не дерусь, всегда по справедливости.

Жухрай неожиданно предложил:

— Хочешь, научу тебя драться по-настоящему?

Павка удивленно на него посмотрел.

— Как так — по-настоящему?

— А вот посмотришь.

И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу.

Не легко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым.

В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко — на крышу сторожки, стоявшей в углу сада, за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора со стоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника.

Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы. Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился — видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней к калитке, и оба вышли на улицу.

Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «манлихером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном. И только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой

На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали.

«Чем все это кончится?» — думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.

На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал:

«Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

— Почему у вас обыск был сегодня?

Павка испуганно вздрогнул.

— Как обыск?

Жухрай, помолчав, добавил:

— Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?

Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

— Артема арестовали?

— Никого не арестовали, но все в доме перевернули вверх дном.

От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.

«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего не известно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней», — думал Жухрай.

Разошлись молча к своей работе.

А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.

Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.

Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.

Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы — анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу, у пруда, взметнувшуюся удочку.

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.

— Разве здесь рыба ловится?

Павка сердито оглянулся.

Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.

А голосок сзади взволнованно:

— Клюет, видите, клюет...

Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.

«Ну, теперь половишь черта с два! Принес леший вот эту»,— раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду — между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало: крючок мог зацепиться за корягу.

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:

— Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.

И услыхал сверху насмешливое, издевающееся:

— Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы горе-рыбак!

Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:

— Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли.

Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.

— Разве я вам мешаю?

В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собравшийся на-

грубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.

— Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко,— согласился он и, присев, опять глянул на поплавок. Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.

«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла»,— рассуждал он.

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания.

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет: леса, упираясь, натягивается.

«Зацепилась, проклятая!» — мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку.

Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей — гимназисты-семиклассники. Один — сын начальника депо, инженера Сухарько, белобрысый, веснушчатый семнадцатилетний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папиросой. Рядом — Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша.

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил:

— Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю, ро-ман-ти-че-ская особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотвореньице подходящее.

— Ну и что же? — с любопытством спросил Виктор.

Сухарько, немного смущенный, проговорил:

— Да ломается, знаешь, задается. Не порть бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться — долго ухаживать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь

вечерком в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили — ты дорожного мастера знаешь?

Виктор презрительно сморщился.

— Ты занимаешься такой гадостью, Шура?

Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо:

— Подумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь.

Виктор, перебивая его, спросил:

— Так ты меня с этой познакомишь?

— Конечно. Идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила.

Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился.

— Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?

— Нет, наблюдаю, как ловят,— ответила Тоня.

— А вы незнакомы? — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку.— Мой приятель, Виктор Лещинский.

Виктор смущенно подал Тоне руку.

— А почему вы сегодня не ловите? — старался завязать разговор Сухарько.

— Я не взяла удочки,— ответила Тоня.

— Я сейчас принесу еще одну,— заторопился Сухарько.— Вы пока половите моей, а я сейчас принесу.

Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем.

— Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят,— ответила Тоня.

— Кому мешать? — спросил Сухарько.— Ах, вот этому? — Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку.— Ну, этого я выставлю отсюда в два счета.

Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке.

— Сматывай удочки сейчас же,— обратился Сухарько к Павке.— Ну, быстрей, быстрей,— говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить.

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего.

— А ты потише. Чего губы распустил?

— Что-о-о? — вскипел Сухарько.— Ты еще разговариваешь, рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда! — и с силой ударил носком ботинка по банке с червями. Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони.

— Сухарько, как вам не стыдно! — воскликнула она.

Павка вскочил. Он знал, что Сухарько — сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы.

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не упал в воду.

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста.

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя.

— Ах, так! Ну, получай! — и коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду.

Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег.

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски.

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил:

«Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок».

Рррраз!..

Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело, всем телом, плюхнулся в воду.

А на берегу безудержно хохотала Тоня.

— Браво, браво! — кричала она, хлопая в ладоши.— Это замечательно!

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу.

Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне:

— Это самый отъявленный хулиган Павка Корчагин.

*

На станции становилось неспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фольварки.

Плетки гетманских стражников полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками.

Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими-железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема. На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему:

— Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь. Но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать.

Федор и на этом остался доволен,— знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. «А до партии, видать, еще не дошел человек. Ничего, времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдет»,— думал матрос.

Перешел Федор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать: на электростанции он был оторван от железной дороги.

Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот...

*

Неожиданно взяла на станции гетманская стража телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема.

За Романом пришли во время работы два немца и гетманец — помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его нагайкой по лицу.

— Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кой о чем,— сказал он. И, жутко осклабившись, рванул слесаря за рукав.— Там у нас поагитируешь!

Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:

— Как смеешь бить, гад?

Гетманец попятился, отстегивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лязгнул затвором.

— Хальт! — пролаял он, готовый выстрелить при первом движении.

Верзила-слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать.

Забрали обоих. Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале.

Через десять минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие, стрелочники и работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко.

Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал:

— Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем! А кое-кого и к стенке поставим.

Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванные комендантом станции.

Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции.

Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как легавая собака на стойке. Положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал.

Вокзал обезлюдел.

Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли.

Собрали всех в громадном товарном пакгаузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд.

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

— Корчагин, Полентовский, Бруззжак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ — расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

*

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику машинисту Полентовскому:

— Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

— Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину.

— Бросить все и тикать с паровоза,— предложил Брузжак, искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

— Я тоже так думаю,— буркнул Артем,— да вот этот тип за спиной торчит.

— Да,— неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Полентовский тихо прошептал:

— Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?

— Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? — И он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния выругался.

Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраево:

«Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?»

И его, Артема, ответ:

«Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...»

«Хороша помощь, везем карателей...»

Полентовский, нагнувшись над ящиком с инструментом бок о бок с Артемом, с трудом выговорил:

— А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Полентовский, скрипнув зубами, добавил:

— Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход — и с паровоза долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал:

— Ладно.

Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был Полентовский: у него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

— Что ж, я согласен,— сказал Брузжак,— но кто ж его...— Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, подвинулся к Полентовскому ближе.

— Но как же мы это сделаем?

Тот посмотрел на Артема:

— Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок — и кончено.— Старик сильно волновался.

Артем нахмурился:

— У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали.

Полентовский блеснул глазами:

— Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты?.. Эх ты, сиромаха!.. Здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

— Ладно,— прохрипел Артем, беря лом.

Но Полентовский зашептал:

— Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Брузжак кивнул головой:

— Верно, старик.— И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышем сидел с краю на тендере, поставив между ног винтовку, и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Полентовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход.

Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

— Кончено,— прошептал Полентовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил: — Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик.

— Вывинчивай регулятор, живей! — крикнул он.

Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

— Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Полентовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени.

*

В доме Брузжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Полентовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо, с ругательствами допрашивали ее.

Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина, мучимая тяжелой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже.

Старшая дочь Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходившую мать, спросила:

— Ты далеко, мама?

Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слез глазами, ответила:

— Пойду к Корчагиным. Может, узнаю у них про отца. Если Сережка придет, то скажи ему: пусть на станцию сходит к Полентовским.

Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала ее, провожая до двери:

— Ты не тревожься, мама.

*

Мария Яковлевна встретила Брузжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла.

У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру.

Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна: Павел, как всегда, ночью работал на электростанции.

Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний, и Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебания, если б она была нужна брату.

Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Полентовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Полентовского. От него он узнал, что ночью был обыск у Полентовских. Искали отца.

Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыби.

*

Валя оглянулась на стук в дверь.

— Кто там? — спросила она и откинула крючок.

В открытой двери появилась рыжая всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега.

— Мама дома? — спросил он Валю.

— Нет, ушла.

— А куда ушла?

— Кажется, к Корчагиным.— Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку.

Тот нерешительно посмотрел на девушку.

— Да так, знаешь, дело у меня к ней есть.

— Какое дело? — затормошила парня Валя.— Ну, говори же скорей, медведь ты рыжий, говори же, а то тянет за душу,— повелительным тоном командовала девушка.

Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично, вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестренке Сережки, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится сестренка Сережи. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла:

«Дорогая Тоня! Не беспокойся. Все хорошо. Живы и невредимы. Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что все благополучно, чтобы не тревожились. Записку уничтожь.

З а х а р».

Прочитав записку, Валя бросилась к Климке:

— Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок? — И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку, и он не опомнился, как сделал вторую оплошность:

— Это мне Жухрай на станции передал.— И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил: — Только он сказал: никому не давать.

— Ну, хорошо, хорошо! — засмеялась Валя.— Я никому не скажу. Ну беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь.

Она легонько подталкивала поваренка в спину. Через секунду рыжая голова Климки мелькнула за калиткой.

Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил, как мог, испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко, в глухом селе, у дядьки Брузжака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения.

Все происшедшее еще более сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустыннее и тише.

Зайдя как-то раз как бы невзначай к старухе Полентовской, Жухрай передал ей деньги.

— Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, ни слова никому.

Старуха благодарно пожала ему руку.

— Вот спасибо, а то совсем беда, есть ребятам нечего.

Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков.

«Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь, а те трое — молодцы, это пролетарии»,— с восхищением думал матрос, шагая от Полентовских к депо.

*

В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге, на отшибе села Воробьева Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, Полентовский длинными щипцами ворочал уже накалившийся докрасна кусок железа.

Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил:

— Мастеровому на селе сейчас не пропасть, работа найдется, хоть завались. Вот подработаю недельку-другую, и, пожалуй, сальца и мучицы своим послать сможем. У мужичка, сынок, кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи, хе-хе. А Захар-то особь статья, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж, оно, пожалуй, понятно. У нас с тобой, Артем, ни кола ни двора, горб да рука, как говорится, вековая пролетария, хе-хе, а Захар пополам разделился, одна нога на паровозе, другая в деревне.— Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно, задумчиво: — А наше дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут вскорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов навертывать, а то возьмут за жабры и подвесят между небом и землей, как пить дать.

— Да,— пробурчал Артем.

— Как наши там держатся, не пристают ли к ним гайдамаки?

— Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся.

Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню.

— А ну, сыночек, стукни!

Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноп ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновенье ее темные углы.

Полентовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск.

В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь.

*

Озеро внизу — темное, громадное; сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами.

«Как живые»,— думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за

выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными.

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котлованах, забили родники и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз: от берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись. Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично»,— насмешливо подумала она и принялась за чтение.

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и, только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущенный, собирался уйти.

«Это он сейчас купался»,— догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы.

— Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда.— И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню.

— Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь.

Павка с удивлением глядел на Тоню.

— О чем же мы с вами говорить будем?

Тоня улыбнулась.

— Ну, чего же вы стоите? Можете сесть, вот здесь,— и она указала на камень. — Скажите, как вас зовут?

— Я Павка Корчагин.

— А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились.

Павка смущенно мял кепку.

— Так вас зовут Павкой? — прервала молчание Тоня.— А почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходи-

те...— она хотела сказать: купаться, но не желая открыть, что видела его купающимся, добавила: — гулять?

— Нет, не часто, как случается свободное время,— ответил Павел.

— А вы где-нибудь работаете? — допытывалась Тоня.

— Кочегаром на электростанции.

— Скажите, где вы научились так мастерски драться? — задала вдруг неожиданный вопрос Тоня.

— А вам-то что до моей драки? — недовольно буркнул Павел.

— Вы не сердитесь, Корчагин,— проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом.— Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно,— и она расхохоталась.

— А вам что, жалко? — спросил Павел.

— Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь.

— Кто говорит? — насторожился Павел.

— Ну, вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка.

Павел потемнел.

— Виктор — сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать.

— Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо,— перебила его Тоня.

Павел нахохлился.

«Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь, командует: то ей «Павка» не нравится, то «не ругайся»,— думал он.

— Почему вы злы на Лещинского? — спросила Тоня.

— Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать; ежели затронет как-нибудь, то сразу и получит все сполна. Таких кулаком и учить,—говорил он возбужденно.

Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более

спокойную тему: начала расспрашивать Павла о его семье и работе.

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти.

— Скажите, почему вы не учились дальше? — спросила Тоня.

— Меня из школы выперли.

— За что?

Павка покраснел.

— Я попу в тесто махры насыпал — ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было.— И Павел обо всем рассказал ей.

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат; никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил.

— Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данило волынку подымет.— И он беспокойно заговорил: — Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город.

Тоня быстро поднялась, надевая жакет.

— Мне тоже пора, пойдемте вместе.

— Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки.

— Почему? Мы побежим вместе, вперегонку: посмотрим, кто быстрей.

Павка пренебрежительно посмотрел на нее.

— Вперегонку? Куда вам со мной!

— Ну увидим, давайте сначала выберемся отсюда.

Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции.

Тоня остановилась у середины дороги.

— Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! — И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развевался от ветра.

Павел помчался за ней.

«В два счета догоню»,— думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи.

— Есть, попалась птичка! — закричал весело, задыхаясь.

— Пустите, больно,— защищалась Тоня.

Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновенье, но запомнилось.

— Меня никто догнать не мог,— говорила она, освободившись от его рук.

Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Павел побежал в город.

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данило, кочегар, сердито обернулся:

— Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал:

— В один момент, старик, топка будет в ходу.— И завозился у сложенных в штабеля дров.

К полуночи, когда Данило, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских «краснорубашечников» Гарибальди.

«Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами...»

«А у этой тоже синие глаза,— вспомнил Павел.—Она особенная какая-то, на тех, богатеньких, не похожа,— думал он,— и бегает, как черт».

Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала.

Павка метнул взглядом на манометр: стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию.

— Ах ты черт! — сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза,

и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо, двигающее насос.

Павел оглянулся на Данилу: тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки.

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место.

*

Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и, сама того не сознавая, была рада ей.

«Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов...»

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась.

«Его можно приручить,— думала она,— и это будет интересная дружба».

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее.

Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил:

— Вы прочли роман?

— Ах да, роман! — спохватилась Тоня.— А я его...— Она чуть не сказала, что книга забыта у озера.

— Ну, как он вам понравился? — Виктор внимательно посмотрел на нее.

Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него:

— Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли.

— Вот как,— обиженно протянул Виктор.—А кто автор? — спросил он.

Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами.

— Никто...

— Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай! — позвала стоявшая на балконе мать Тони.

Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.

*

Первое, еще не осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно-волнующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня.

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский.

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской, он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки.

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку. Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку.

— Наконец-то вы пришли,— обрадованно сказала она.— Где пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, к нам в сад.

Павка отрицательно мотнул головой:

— Не пойду.

— Почему? — Брови ее удивленно поднялись.

— Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела.

— Вы чепуху говорите, Павел, — рассердилась То-

ня.— Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот вы сами увидите. Идемте.

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней.

— Вы любите читать книги? — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол.

— Очень люблю,— оживился Павел.

— Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?

Павел, подумав, ответил:

— «Джузеппа Гарибальди».

— «Джузеппе Гарибальди»,—поправила Тоня.—Вам очень нравится эта книга?

— Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую получку покупаю по пять штук. Вот человек был Гарибальди! — с восхищением произнес Павел.— Вот герой! Это я понимаю! Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился.

— Хотите, я вам покажу нашу библиотеку?—сказала Тоня и взяла его за руку.

— Ну, нет, в дом не пойду,— наотрез отказался Павел.

— Отчего вы упрямитесь? Или боитесь?

Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок.

— А меня мамаша или отец не попрут оттуда?

— Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь,— вспылила Тоня.

— Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила,— наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает,— улыбнулся Павка.

— Идем, идем.— Она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон.

Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству.

— Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо?

Павка радостно кивнул головой:

— Я книжки люблю.

Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась.

Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники.

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала:

— Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?

— Я их начистую снимаю, когда отрастают, что больше с ними делать? — неловко оправдывался Павка.

Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.

— Вот сейчас совсем другое,— говорила она, оглядывая Павла.— А волосы надо красиво подстричь, а то вы, как бирюк, ходите.

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую, рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала.

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд.

Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. И взяла с него слово прийти через два дня вместе удить рыбу.

В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось.

*

С отсутствием Артема в семье Корчагиных стало туго: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приняться за работу, кстати Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

— Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду

там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уж не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась.

На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывал для просушки свеженапиленные доски. Встретил там знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулишова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию.

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попросил:

— Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю,— помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот эта уже старая,— оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу.

— Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя верно рубашки нет новой.— Она ласково глядела на сына.

*

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь.

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло:

— Садитесь.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию.

— Под машинку? — спросил парикмахер.

— Да, то есть нет, в общем подстригите. Ну, как это у вас называется? — и сделал отчаянный жест рукой.

— Понимаю,— улыбнулся парикмахер.

Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали.

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку.

«Что мать скажет, когда увидит?»

*

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это обидело.

«Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар»,— с досадой думала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно.

Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала:

— К тебе, Тонечка, гости. Можно?

В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала.

На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и — что сразу заметила Тоня — он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше,— и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете.

Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены.

Она принялась было укорять его:

— Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите?

— Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти.

Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения.

Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно.

— Идемте гулять к пруду,— предложила она, и они пошли в сад, а оттуда на дорогу.

И уже, как другу, как большую тайну, рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять.

— Смотри, ты меня не выдай,— неожиданно сказал он ей «ты».

— Я тебя никогда никому не выдам,— торжественно обещала Тоня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину. Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников. Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни.

Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям.

Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков: маленькие и большие батьки, разные Голубы, Архангелы, Ангелы, Гордии и нескончаемое число других бандитов.

Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры — всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей.

Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии «головний атаман Петлюра». В эту эсеровско-кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок.

В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа:

— Автоном Петрович, какая власть в городе?

И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался:

— Не знаю, Афанас Кириллович. Ночью пришли какие-то. Посмотрим: ежели евреев грабить будут, то, значит, петлюровцы, а ежели «товарищи», то по разговору слыхать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед, недосмотрел хорошо да возьми и вывеси Ленина, а к нему как наскочат трое: оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина! Всыпали ему, понимае-

те, плеток с двадцать. «Мы,— говорят,— с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур сдерем». Уж он как ни оправдывался, ни кричал — не помогло.

Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался. Не ровен час...

А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма, оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовто-блакитников[1]. День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять.

Сейчас хозяин города — полковник Голуб, «краса и гордость» Заднепровской дивизии.

Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном вороном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке, с малиновой «китыцей», в черкеске с полным вооружением: кинжал, сабля чеканного серебра.

Красив пан полковник Голуб: брови черные, лицо бледное с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода, но скучна эта жизнь, не сравнять с атаманским положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране, уже паном полковником Голубом.

В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь «цвет» петлюровской интеллигенции присутствовал на нем: украинские учителя, две поповские дочери — старшая, красавица Аня, младшая — Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого, и кучка мещан, называвшая себя «вильным казацтвом», украинские эсеровские последыши.

Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами, учительницы, поповны и

---

[1] Жовто-блакитный — по-украински — желто-голубой.

мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев.

Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке «Назара Стодоли».

Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта, хорунжего Паляныцю, а по-настоящему — бывшего подпоручика Полянцева, бросил небрежно, но властно:

— Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию.

— Слушаюсь, пане полковнику.

Хорунжий Паляныця не умер и монтеров достал.

Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста.

Паляныця сказал коротко:

— Если до семи часов не будет света, повешу всех троих! — Он указал рукой на железную штангу.

Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет.

Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей.

Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города.

Усевшись на почетные места, у самой сцены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убегавшего со сцены режиссера.

Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Паляныцей, и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели.

Вскочивший на сцену Паляныця театрально взмахнул рукой и провозгласил:

— Шановни добродии, зараз почнем танци.

В зале дружно зааплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизо-

ванным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал.

Через полчаса в театре шел дым коромыслом.

Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра.

В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных.

На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик:

— Стой! Кто идет?

Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала:

— Я — атаман Павлюк со своим отрядом, а вы — голубовские?

— Да,— ответил вышедший вперед старшина.

— Где мне разместить отряд? — спросил Павлюк.

— Я сейчас спрошу по телефону штаб,— ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги.

Через минуту выбежал оттуда и приказал:

— Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману.

Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье.

— Ого, тут весело,— сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним есаулу.— Слезем, Гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта. Эй, Сталежко,— крикнул он,— размести хлопцев по квартирам! Мы тут остаемся. Конвой со мной.— И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю.

У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев.

— Билет?

Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось

человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора.

Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк, в офицерском, хорошего сукна, френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папахе. Через плечо — маузер, из кармана торчит ручная граната.

— Кто это? — зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую метелицу помощник Голуба.

В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся поповны.

Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг.

Павлюк мутным взглядом вперился на ноги поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой.

— Жарь гопака!

Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания.

Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил как ужаленный.

Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих.

— Это наглость! — вскипела дочь буфетчика.— Ты не должен этого позволить,— нервно жала она локоть сидевшего рядом Голуба.

Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счеты с этим конкурентом на власть в уезде.

Неделю тому назад Павлюк подставил пану полковнику ножку самым свинским образом.

В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк, вместо того чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало «щирому» петлюровцу, погром коснулся еврейского населения.

Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли.

А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что, если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен.

Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча.

Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой нащупывая в кармане наган, Голуб гаркнул:

— Как ты смеешь бить моих людей, подлец?

Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера.

— Легче, пане Голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимый мозоль, осержусь.

Это переполнило чашу терпения.

— Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих! — прокричал Голуб.

На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины.

Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьих стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросячьим визгом насмерть перепуганные женщины.

Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу.

Павлюк потерял в драке папаху, ему расквасили лицо, разоружили,— он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице.

Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но Голуб стал на дыбы.

— Никого из зала не выпускать, поставить часовых,— приказал он.

Паляныця поспешно выполнял приказания.

На посыпавшиеся протесты Голуб упрямо отвечал:

— Танцы до утра, шановни добродийки и добродии. Я сам танцую первый тур вальса.

Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось.

Не успел полковник пройти с поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали:

— Театр окружают павлюковцы!

Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала.

Паляныця выстрелил в тысячесвечовую лампу в потолке, и та, лопнув, как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла.

Стало темно. С улицы кричали:

— Выходи все во двор! — и неслась жуткая брань.

Дикие, истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу Голуба, старавшегося собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе — все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший вьюном Паляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу.

Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов, мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей — прилипли к окнам.

Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто, по-собачьи, лает пулемет.

Бой утихает, брезжит рассвет...

*

Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они и в еврейские домишки, маленькие, низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называющихся домами, в невероятной тесноте жила еврейская беднота.

В типографии, в которой уже второй год работал Сережа Бруззжак, наборщики и рабочие были евреи. Сжил-

ся с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против хозяина, отъевшегося, самодовольного господина Блюмштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюмштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше, и на этой почве не раз закрывалась на две-три недели типография: бастовали типографщики. Было их четырнадцать человек. Сережа, самый младший, вертел по двенадцати часов колесо печатной машины.

Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали воззвания «головного» атамана.

Сережу отозвал в угол чахоточный наборщик Мендель.

Смотря на него своими грустными глазами, он сказал:

— Ты знаешь, что в городе будет погром?

Сережа удивленно посмотрел.

— Нет, не знаю.

Мендель положил высохшую, желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил:

— Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю: ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?

— Конечно, хочу, если смогу. Говори, Мендель.

Наборщики прислушивались к разговору.

— Ты славный парень, Сережа, мы тебе верим. Ведь твой отец тоже рабочий. Побеги сейчас домой и поговори с отцом: согласится ли он к себе спрятать несколько стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит.

— Хорошо, Мендель, будь уверен, я сейчас к Павке и Климке сбегаю — у них обязательно примут.

— Подожди минутку,— забеспокоился Мендель, удерживая собиравшегося уходить Сережу.— Кто такие эти Павка и Климка? Ты их хорошо знаешь?

Сережа уверенно кивнул головой.

— Ну как же, мои кореши: Павка Корчагин, его брат — слесарь.

— А, Корчагин,— успокоился Мендель.— Этого я знаю, с ним вместе жил в одном доме. Этому можно. Иди, Сережа, и возвращайся скорее с ответом.

Сережа выскочил на улицу.

*

Погром начался на третий день после боя павлюковского отряда с голубовцами.

Разбитый и отброшенный от города, Павлюк убрался восвояси и занял соседнее местечко, потеряв в ночном бою два десятка человек. Столько же недосчитали голубовцы.

Убитых поспешно отвезли на кладбище и в тот же день похоронили, без особой пышности, потому что хвастаться здесь было нечем. Погрызлись, как две бродячие собаки, два атамана, и устраивать шумиху с похоронами было неудобно. Паляныця хотел было хоронить с треском, объявив Павлюка красным бандитом, но против этого был эсеровский комитет, во главе которого стоял поп Василий.

Ночное столкновение вызвало в голубовском полку недовольство, в особенности в конвойной сотне Голуба, где убитых насчитывалось больше всего, и, чтобы потушить это недовольство и поднять дух, Паляныця предложил Голубу «облегчить существование», как он издевательски выражался о погроме. Он доказывал Голубу необходимость этого, ссылаясь на недовольство в отряде. Тогда полковник, не желавший было сначала нарушать спокойствия в городе перед свадьбой с дочерью буфетчика, под угрозами Паляныци согласился.

Правда, немного смущала пана полковника эта операция в связи с вступлением его в эсеровскую партию. Опять же враги могут создать вокруг его имени нежелательные разговоры, что вот он, полковник Голуб,— погромщик, и обязательно будут на него наговаривать «головному» атаману. Но пока что Голуб от «головного» мало зависел, снабжался со своим отрядом на свой риск и страх. Да «головной» и сам прекрасно знал, что за братия у него служит, и сам не раз денежки требовал на нужды директории от так называемых реквизиций, а насчет славы погромщика, то у Голуба она уже была довольно солидная. Прибавить к ней он мог очень немногое.

Разбой начался ранним утром.

Городок плавал в предрассветной серой дымке. Пустые улицы, как измокшие полотняные полосы, беспорядочно опутывавшие несуразно застроенные еврейские кварталы, были безжизненны. Подслеповатые окошки завешены и наглухо закрыты ставнями.

Снаружи казалось, что кварталы спали крепким предутренним сном, но в середине домишек не спали. Семьи, одетые, готовились к начинающемуся несчастью, сбивались в какой-нибудь комнатушке, и только маленькие дети, не понимавшие ничего, спали безмятежно-спокойным сном на руках матерей.

Долго будил в это утро голубовского адъютанта Паляныцю начальник голубовского конвоя Саломыга, черный, с цыганским лицом, с сизым рубцом от удара сабли на щеке.

Тяжело просыпался адъютант. Никак оторваться не мог от дурацкого сна. Все еще его царапал когтями по горлу кривляющийся горбатый черт, от которого не было отбоя всю ночь. И когда, наконец, поднял разрывавшуюся от боли голову, понял: это будит Саломыга.

— Да вставай же, холера,— тряс его за плечо Саломыга.— Поздно уже, пора начинать. Ты бы еще больше выпил.

Паляныця совсем проснулся, сел и, скривившись от изжоги, сплюнул горьковатую слюну.

— Чего начинать? — вылупил он бессмысленные глаза на Саломыгу.

— Как чего? Жидов потрошить. Не знаешь?

Паляныця вспомнил: да, верно, он совсем забыл, вчера здорово выпили на хуторе, куда забрался пан полковник со своей невестой и кучкой собутыльников.

Убраться из города Голубу на время погрома было удобно. Потом можно было сказать, что произошло недоразумение в его отсутствие, а Паляныця успеет все обделать на совесть. О, этот Паляныця большой специалист по части «облегчения»!

Он вылил ведро воды на голову, и к нему вернулась способность соображать. Он зашнырял по штабу, отдавая различные приказания.

Конвойная сотня была уже на конях. Предусмотрительный Паляныця, во избежание возможных ослож-

нений, приказал выставить заставу, отделяющую рабочий поселок и станцию от города.

В саду усадьбы Лещинских был поставлен пулемет, смотревший на дорогу.

В случае если бы рабочие подумали вмешаться, их бы встретили свинцом.

Когда все приготовления были окончены, адъютант и Саломыга вскочили на лошадей.

Уже трогаясь в путь, Паляныця вспомнил:

— Стой, забыл было. Давай две подводы: мы Голубу приданое пристараемся. Го-го-го... Первая добыча, как всегда, командиру, а первая баба, ха-ха-ха, мне, адъютанту. Понял, балда стоеросовая? — Последнее относилось к Саломыге.

Тот блеснул на него желтоватым глазом.

— Всем хватит.

Тронулись по шоссе. Впереди — адъютант и Саломыга, сзади — беспорядочной ватагой конвойники.

Дымка рассвета прояснилась. У двухэтажного дома с проржавевшей вывеской «Галантерейная торговля Фукса» Паляныця натянул поводья.

Серая тонконогая кобыла его беспокойно ударила копытом по камню.

— Ну, с божьей помощью отсюда и начнем,— сказал Паляныця, соскакивая на землю.

— Эй, хлопцы, слазь с коней! — обернулся он к обступившему его конвою.— Представление начинается,— пояснил он.— Хлопцы, по черепкам никого не стукать, на то будет еще час; баб тоже, если не велика охота, до вечера продержитесь.

Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал:

— Как же так, пане хорунжий, а ежели по доброму согласию?

Кругом заржали. Паляныця посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением.

— Ну, конечно, если по доброму согласию, валяйте, этого запретить никто не имеет права.

Подойдя к закрытой двери магазина, Паляныця с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула.

Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери, ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю. За ним двинулся Саломыга.

В доме сразу услыхали стук копыт по мостовой, и когда топот затих у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались и тела как бы замерли. В доме было трое.

Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую, забитую девятнадцатилетнюю девушку. Чтобы не страшно было в пустой квартире, он предложил ей привести своих стариков — отца с матерью — и всем троим жить до его возвращения.

Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, и не будет, что им взять с нищих? А он уже ей, Риве, по приезде подарит на платье.

Все трое в мучительной надежде прислушивались: авось проедут мимо, может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина.

Старый, с серебряной головой, с детски испуганными голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, зашептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастье от дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближавшихся шагов.

Рива забилась в самую дальнюю комнату, за большой дубовый буфет.

Резкий, грубый удар в дверь отозвался судорожной дрожью в теле стариков.

— Открывай! — Удар резче первого и брань озлобленных людей.

Но нет сил поднять руки и откинуть крючок.

Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала.

Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери.

Начался грабеж.

Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Саломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услыхал дикий крик.

Паляныця, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысьими глазами, сказал, обращаясь к старикам:

— Убирайтесь!

Ни отец, ни мать не трогались.

Паляныця шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю.

— Мама! — раздирающе крикнула дочь.

Этот крик и услышал Саломыга.

Паляныця обернулся к подоспевшим товарищам и бросил коротко:

— Вышвырните их! — Он указал на стариков, и когда тех с силой вытолкнули за дверь, Паляныця сказал подошедшему Саломыге: — Ты постой здесь за дверью, а я с девочкой поговорю кое о чем.

Когда старик Пейсах кинулся на крик к двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в Саломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая Тойба.

— Ой, пустите, что вы делаете?

Она рвалась к двери, и Саломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы.

Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь.

— Пустите, пустите!.. О, моя дочь!

Они вдвоем оттолкнули Саломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса наган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал.

А из комнаты рвался крик Ривы.

Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками и мольбами о помощи.

Крики в доме прекратились.

Выйдя из комнаты, Паляныця, не глядя на Саломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его:

— Не ходи — задохлась: я ее немного подушкой прикрыл.— И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу.

— Неудачно как-то началось,— выдавил он, выйдя на улицу.

За ними молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках оставались кровавые отпечатки.

А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди не поделивших добычу громил, кое-где взметывались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой.

Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки.

Потом ползли по домам.

Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, бегло шарили по углам и уходили навьюченные, оставив взрыхленные груды тряпья и пуха распоротых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы: Рива и ее отец, но надвигавшаяся ночь несла с собой неотвратимую гибель.

К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась досиня. Замутневшие от угара петлюровцы ждали ночи.

Темнота развязала руки. В черной темени легче раздавить человека: даже шакал и тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных.

Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез, и кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела — истерзанные, замученные, согнутые.

И только у самой речки в домике кузнеца Наума шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.

В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно за-

щищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом.

На сытых лошадях появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовывали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно.

Сережа Бруззжак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, возвращался через огород к себе во двор; он увидел бежавшего по шоссе человека.

Взмахивая руками, в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом, задыхаясь, бежал старик еврей. Сзади, быстро нагоняя, изогнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Сережа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загородил собой старика.

— Не тронь, бандит, собака!

Не желая удерживать удара сабли, конник полоснул плашмя по юной белокурой голове.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Красные упорно теснили части «головного» атамана Петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке остались небольшое тыловое охранение и комендатура.

Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов появилась жизнь.

Тихими вечерами издалека доносился неясный грохот. Где-то недалеко шли бои.

Железнодорожники расползались со станции по деревням в поисках работы.

Гимназия была закрыта.

В городе объявлено военное положение.

*

Неприглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову.

Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошеного. Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет. Будьте уверены, не пойдет.

И вот в такую ночь двигался человек.

Добравшись до домика Корчагиных, он осторожно постучал в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее.

Павка во сне видит: на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее; он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит.

Стекло дребезжит от настойчивого стука.

Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит. Но, кроме неясного, темного силуэта, ничего не увидел.

Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж которой работал машинистом на сахарном заводе.

А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотком на харчи.

Стучать мог только Артем.

Павел решил открыть окно.

— Кто там? — бросил он в темноту.

За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил:

— Это я, Жухрай.

На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора.

— Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка? — зашептал он.

— Ну конечно,— дружески ответил Павел.— Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно.

Грузная фигура Федора втиснулась в окно.

Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна.

Он стоял, прислушиваясь, и когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу.

— Мы мамашу не разбудим? Она спит, наверное?

Павел сказал Федору, что в доме, кроме него, никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче:

— За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Сводят счеты за последнюю бузу на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить «серожупанникам» хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной и гонятся. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно с задворок, стал у сарая. Смотрю: в саду кто-то стоит, к дереву прижался, но штык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возраженьев не имеешь? Ну и хорошо.

Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги.

Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире.

Легли спать. Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу; вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте, согревая его своей теплотой.

*

Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими.

Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край «жовто-блакитникам» передавал жадно слушавшему Павлу.

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов,— это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков.

Раньше Павел в этом безнадежно путался.

И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРП(б) с тысяча девятьсот пятнадцатого года, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару.

— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя,— говорил он.— Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку — жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю: будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады.

Он с силой ударил кулаком по столу.

Жухрай встал; засунув руки в карманы, нахмуренный, зашагал по комнате.

Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям.

В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые должны были вести работу.

«Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть





сложа руки. Довольно, и так угробил десять месяцев»,— с раздражением думал Жухрай.

— Кто ты такой, Федор? — спросил его однажды Павел.

Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса.

— Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я думаю, что ты большевик или коммунист,— тихо ответил Павел.

Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник.

— Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист одно и то же.— И он сразу стал серьезным.— Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?

— Понял,— твердо ответил Павел.

На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой Сережа Брузжак, похудевший, бледный. За ним вошли Валя и Климка.

— Здорóво, чертяка,— улыбаясь, подал Павке руку Сережа.— Мы к тебе втроем в гости. Валя меня одного не пускает, боится. А Климка Валю не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно.

Валя шутливо закрыла ему ладонью рот.

— Вот болтун-то,— засмеялась она.— Он сегодня Климке жить не дает.

Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы.

— Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается.

Все засмеялись.

Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, неунывающий, Сережа, теперь притихший и подавленный рассказывал Жухраю, как его ударил петлюровец.

Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у Брузжаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно

выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома. В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее.

Поздно вечером проводил Павел гостей.

Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе.

В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать.

Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина, с крапленным оспой лицом, стирала белье и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила отрывисто:

— А что, мне только и делов, что твоего Федора смотреть? Из-за него, черта корявого, у Зозулихи весь дом перевернули. Тебе-то на что сдался он? Что за компания такая? Нашлись приятели: Климка, ты...— Она с ожесточением нажимала на белье.

Мать у Климки была с язычком, сварливая.

От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор:

— Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался.— Но в голосе ее не было уверенности.

У Брузжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать.

Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая.

Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством: не хотелось идти в пустую квартиру.

Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый «манлихер».

Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию.

О Жухрае ничего не узнал и, возвращаясь обратно, около знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С не-

ясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустнее.

Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад.

Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка.

В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости.

— Отец и мама уходят к Большанским на именины. Дома буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева — «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?

Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на Корчагина ожидающе смотрели ее огромные глаза.

— Приду.

И они расстались.

Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче и поленья потрескивали веселей.

В тот вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала:

— У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить.

Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти.

— Идем,— схватила она его за рукав.— Им будет полезно познакомиться с тобой.— И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе.

Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала:

— Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин.

За маленьким столом посредине комнаты сидели: Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической гимназистка, какой-то незнакомый Павлу долговязый юноша в акку-

ратненьком черном пиджаке, с прилизанными, блестящими от вежеталя волосами, серыми глазами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь.

Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись.

Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспешила нарушить, приглашая Павла войти, и, обращаясь к Лизе, сказала:

— Познакомься.

Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, приподнялась.

Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала:

— Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой.

Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил:

— Нечего меня напоказ выставлять перед этим обормотом. Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел.

Тоня, сдерживая возмущение, прервала его:

— Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит.

Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил:

— Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду.— И побежал к калитке.

С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова захотелось встретиться с ней.

Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в квартире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой кашицей, поворачивало вправо.

За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной, шелудивой стеной сходились две улицы.

*

На перекрестке у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской: «Продажа минеральных вод», Виктор Лещинский прощался с Лизой.

Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза:

— Вы придете? Не обманете?

Лиза кокетливо отвечала:

— Приду, приду, ждите.

И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволокой глазами.

Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной, надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком у глаза.

Он шагал твердо, слегка выгнутыми ногами, одетыми в желтые короткие сапоги.

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане, с двумя подсумками на поясе.

Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза. Желтые, прокуренные махрой усы топорщились в стороны.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих.

Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая.

«Так вот почему он не вернулся!»

Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно было ясно: Жухрай погиб.

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств.

«Что делать?»

В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер.

Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтовкой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная...»

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была свободна. На ней не было ни души. Впереди торопилась пройти женская фигурка в весеннем коротком пальто. Она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры.

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов.

Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка.

— Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! — взвизгнул конвоир резкой фистулой.

Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой.

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее.

Но голову сверлила тревожная мысль: «Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая...»

Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом?

И случилось так: с Павлом поравнялся рыжеусый конвоир; Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле.

Штык с лязгом скребнул о камень.

Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удержал ее. Бабахнул выстрел. Пуля ударила о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву.

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноше руки. Но послед-

ний не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в такую минуту.

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву.

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги.

*

Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел, насвистывая «Сердце красавицы склонно к измене». Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещания прийти завтра на свиданье к заброшенному заводу.

Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько как о смелой в вопросах любви девушке.

Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, что он овладел Лизой. И хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом, и завтра он решил узнать, правду ли говорил Заливанов.

«Если только придет, то я буду решителен. Ведь позволяет она себя целовать. И если Семка не врал...» Его мысли прервались. Он посторонился, пропуская мимо двух петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром,— видимо, поить лошадь. Другой, в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал.

Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю.

Лещинский побежал за ними и, когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворо-

та на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе:

— Хлопце, в ружье, там нашего убили!

Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами.

Виктора арестовали.

На шоссе собралось несколько человек. Среди них и Лиза, которую задержали как свидетельницу.

От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухрай и Корчагин. Она с удивлением узнала в напавшем на петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня.

Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидя убегавшего с винтовкой Жухрая и конвоира, силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору.

Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно.

Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло.

— Что же ты, балда, с-под носу упустил арестанта? Теперь получишь двадцать пять шомполов по задней части.

Конвоир озлобленно огрызнулся:

— Ты очень разумный, я вижу. Упустил с-под носу! Кто же его знал, что та стервятина на меня кинется, як скаженна?

Лизу тоже допрашивали. Она рассказала то же, что и конвоир, но скрыла, что знает напавшего. Их все же повели в комендатуру.

Только вечером по приказанию коменданта их отпустили.

Он предложил даже лично проводить Лизу домой. Но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ей ничего хорошего.

Провожал Лизу Виктор.

До станции было далеко, и, идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию.

— А вы знаете, кто освободил арестованного? — спросила Лиза, когда подходила к дому.

— Нет, откуда же мне знать.

— Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком?

Виктор остановился.

— С Павлом Корчагиным? — спросил он удивленно.

— Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно? Так это был он.

Виктор стоял огорошенный.

— А вы не ошиблись? — спросил он Лизу.

— Нет, я прекрасно запомнила его лицо.

— Почему же вы этого не сказали коменданту?

Лиза возмутилась:

— Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?

— Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость?

— А по-вашему, честно? Вы забыли, что они делают. Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот, и вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас, не думала.

Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом.

— Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная.

— Шутка у вас получилась нехорошая,— сухо ответила Лиза.

У дома Сухарько Виктор, прощаясь, спросил:

— Вы придете, Лиза?

И услыхал ее неопределенное:

— Не знаю.

Шагая в город, Виктор размышлял: «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал».

Ему, родовитому польскому шляхтичу Лещинскому, были противны и те и эти. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть, истинно шляхетская, Речи Посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живо голову свернут.

Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. А отец с матерью и

Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение.

Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь.

Через некоторое время он шел в сопровождении четырех петлюровцев к дому Корчагиных.

Указывая на светившееся окно, он тихо сказал:

— Вот здесь.— И, обратившись к стоявшему рядом хорунжему, спросил: — Мне можно идти?

— Пожалуйста. Мы справимся одни. Благодарю за услугу.

Виктор быстро зашагал по тротуару.

*

Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный.

Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. «Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай?»

Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города.

«Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде,— подумал Павел.— Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. Но как они узнали?» Этот вопрос мучил его неизвестностью.

Мало чем воспользовались петлюровцы из имущества Корчагиных. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немногое.

Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаз выколи. Небо заволокло тучами, и, подталкиваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бессознательно, в состоянии какого-то отупения.

За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно

с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой — задела-на крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка.

Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула.

— Сволочь немазаная! — выругался Павел.

В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспанная, растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла:

— Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь пятерку в...

Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали.

Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу окончилась для него, Корчагина, так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике.

И когда сидя забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери, ее худенькое морщинистое лицо с такими знакомыми, родными глазами. Плыла мысль: «Хорошо, что ее нет, меньше горя».

От окна на полу вырисовывался серый квадрат.

Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе залаял внушительным басом привязанный на цепь Трезор.

Сквозь дремоту Тоня слышит негромкий голос матери:

— Нет, она еще не спит. Заходите, Лиза.

Легкие шаги и ласковое, порывистое объятие подруги рассеивают обрывки дремоты.

Тоня улыбается усталой улыбкой.

— Хорошо, Лиза, что пришла: у нас радость — вчера миновал кризис у папы, и сегодня он спит спокойно целый день. И мы тоже с мамой отдыхали от бессонных ночей. Рассказывай, Лиза, все новости.— Тоня притягивает подругу к себе на диван.

— О, новостей очень много! Часть из них я могу рассказать только тебе,— смеется Лиза, лукаво поглядывая на Екатерину Михайловну.

Мать Тони, представительная дама, несмотря на свои тридцать шесть лет, с живыми движениями молодой девушки, с умными серыми глазами, с некрасивым, но приятным, энергичным лицом, улыбнулась.

— Я с удовольствием оставлю вас одних через несколько минут. А теперь рассказывайте общедоступные новости,— шутила она, подвигая стул к дивану.

— Первая новость — мы больше заниматься не будем. Школьный совет решил выдать седьмому классу аттестат об окончании. Я очень рада,— живо рассказывала Лиза.— Мне так надоела эта алгебра и геометрия! И для чего учить все это? Мальчишки, возможно, дальше будут учиться, хотя они сами не знают где. Везде фронты, сражения. Ужас!.. Нас выдадут замуж, а от жены никакой алгебры не требуется.— Говоря это, Лиза засмеялась.

Посидев немного с девушками, Екатерина Михайловна ушла к себе.

Лиза подвинулась ближе к Тоне и, обняв подругу, шепотом рассказывала ей о столкновении на перекрестке.

— Представь себе мое удивление, Тонечка, когда я узнала в бегущем... как бы ты думала, кого?

Тоня, с любопытством слушавшая рассказ, недоуменно пожала плечами.

— Корчагина! — выпалила залпом Лиза.

Тоня вздрогнула и болезненно съежилась.

— Корчагина?

Лиза, довольная произведенным эффектом, уже описывала ссору с Виктором.

Увлеченная рассказом, Лиза не замечала, какой бледностью покрылось лицо Тумановой, как тонкие ее пальцы нервно перебирали ткань синей блузки. Не знала Лиза, как тревожно сжималось сердце Тони, не знала,

почему так неспокойно вздрагивают густые ресницы прекрасных глаз.

Тоня уже не слышала рассказа о пьяном хорунжем, у нее одна мысль: «Виктор Лещинский знает, кто напал. Зачем Лиза сказала ему?» И невольно эту фразу произнесла вслух.

— Что сказала? — не поняла Лиза.

— Зачем ты рассказала Лещинскому о Павлуше, то есть о Корчагине? Ведь он его выдаст...

Лиза возразила:

— Ну нет! Не думаю. Зачем ему в конце концов это делать?

Тоня порывисто села, до боли сжав руками колени.

— Ты, Лиза, ничего не понимаешь! Они с Корчагиным враги, и к этому прибавляется еще одно обстоятельство... И ты сделала большую ошибку, рассказав Виктору о Павлуше.

Лиза теперь лишь заметила волнение Тони, а это случайно уроненное «о Павлуше» открыло ей глаза на вещи, о которых у нее были лишь смутные догадки.

Невольно чувствуя себя виноватой, она смущенно притихла.

«Значит, это правда,— думала она.— Странно, у Тони вдруг такое увлечение — кем? — простым рабочим...» Ей очень хотелось поговорить на эту тему, но из чувства деликатности сдерживалась. Стараясь чем-нибудь загладить свою вину, она схватила руки Тони.

— Ты очень волнуешься, Тонечка?

Тоня рассеянно ответила:

— Нет... Может быть, Виктор честнее, чем я о нем думаю.

Вскоре пришел Демьянов, скромный мешковатый юноша, их одноклассник.

До самого его прихода разговор у девушек не вязался.

Проводив товарищей, Тоня долго стояла одна. Прислонясь к калитке, она смотрела на темную полосу дороги, ведущей в город. На нее дышал насыщенный холодной влажностью и весенней прелью вечный бродяга-ветер. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. Вот он там, этот чужой ей городок. В нем, под одной из крыш, не зная об угрозе,

он, ее мятежный товарищ. И, возможно, забыл о ней. Сколько дней пробежало чередой после их последней встречи? Он был не прав тогда, но все давно уже забыто. Завтра она увидит его, и опять вернется дружба, волнующая, хорошая. Она вернется, Тоня это знает. Лишь бы не предала ночь. Ночь недобрая какая-то, словно притаилась, поджидает... Холодно.

Кинув последний взгляд на дорогу, Тоня вошла в дом. В постели, кутаясь в одеяло, она стала засыпать с мыслью: лишь бы не предала ночь!..

Ранним утром, когда в доме еще спали, Тоня проснулась, быстро оделась. Тихо, чтобы не разбудить никого, вышла во двор, отвязала Трезора, большого лохматого пса, и пошла с ним в город. Напротив дома Корчагиных остановилась на минуту в нерешительности. Затем, толкнув калитку, вошла во двор. Трезор бежал впереди, помахивая хвостом...

Этим же ранним утром возвратился из села Артем. Приехал на телеге с кузнецом, у которого работал. Взвалил на плечи мешок с заработанной мукой, пошел по двору. За ним кузнец нес остальные пожитки. У раскрытой двери Артем сбросил с плеч мешок, позвал:

— Павка!

Но ответа не получил.

— Тащи в дом, чего там! — сказал подошедший кузнец.

Положив пожитки на кухне, Артем вошел в комнату — и остолбенел. Все было перерыто, перевернуто, старое тряпье разбросано по полу.

— Что за черт! — недоумевающе буркнул Артем, оборачиваясь к кузнецу.

— Да, беспорядок,— поддакнул тот.

— Куда мальчишка девался? — начинал злиться Артем.

Но квартира была пуста, и спрашивать было не у кого.

Кузнец простился и уехал.

Артем вышел во двор и стал осматриваться кругом.

«Не пойму, что за буза такая! Квартира открыта, Павки нет».

Сзади него послышались шаги. Артем обернулся. Перед ним стоял, насторожив уши, громадный пес. От калитки к дому шла незнакомая девушка.

— Мне нужно видеть Павла Корчагина,— сказала она негромко, рассматривая Артема.

— Мне тоже его надо видеть. Черт его знает, где он подевался! Я вот приехал, квартира открытая, а его нету. А вы к нему, что ли? — обратился он к девушке.

В ответ услыхал вопрос:

— Вы брат Корчагина — Артем?

— Да, а что такое?

Но девушка, не отвечая ему, смотрела с тревогой на открытую дверь. «Почему я не пришла вчера? Неужели, неужели?..» И тяжесть в груди налегла еще сильнее.

— Вы застали квартиру открытой и Павла не было? — спросила она смотревшего на нее Артема.

— А вы что, собственно, имеете к Павлу?

Тоня подвинулась к нему ближе и, оглядываясь вокруг, порывисто заговорила:

— Я точно не знаю, но если Павла нет дома, то его арестовали.

— За что? — нервно вздрогнул Артем.

— Зайдемте в комнату,— сказала Тоня.

Артем слушал ее молча. Когда она передала ему все, что знала, он пришел в отчаяние.

— Эх, будь ты трижды проклята! Не хватало печали — черти накачали...— подавленно пробормотал он.— Теперь понятно, почему такой кавардак в квартире. Внесла же нечистая сила мальчишку в эту историю... Где его теперь искать? А вы, барышня, чья будете?

— Я дочь лесничего Туманова. Павла я знаю.

— А-а...— неопределенно протянул Артем.— Вот, муку вез подкормить мальчишку, а тут вот что...

Тоня и Артем молча смотрели друг на друга.

— Я ухожу. Вы, может быть, его найдете,— проговорила тихо Тоня, прощаясь с Артемом.— Вечером зайду к вам, вы мне расскажете.

Артем молча кивнул головой.

*

В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха. На краю старого, протертого дивана,

опершись руками о колени, сидела молодая крестьянка, уставившись бесцельным взглядом в грязный пол.

Комендант, закусив углом рта папироску, размашисто дописывал лист и под подписью «комендант города Шепетовки хорунжий» с удовольствием поставил витиеватую подпись с замысловатым крючком на конце. В дверях послышалось звяканье шпор. Комендант поднял голову.

Перед ним стоял с перевязанной рукой Саломыга.

— Каким ветром занесло? — приветствовал его комендант.

— Хорош ветер, руку разнес богунец до кости.

Саломыга, не обращая внимания на присутствие женщины, крепко выругался.

— Что же ты, поправляться сюда приехал?

— Поправляться будем на том свете. На фронте жмут, аж вода капает.

Комендант остановил его, указав головой на женщину.

— Поговорим потом.

Саломыга грузно сел на табурет и снял кепку с кокардой, на которой был вырезан эмалевый трезубец — государственный знак УНР.

— Меня Голуб прислал,— начал он негромко.— Скоро сюда дивизия сичевых стрельцов перейдет. Вообще здесь каша заварится, так я должен навести порядок. Возможно, головной приедет, с ним какой-нибудь заграничный гусь, так чтоб здесь никто не разговаривал насчет «облегчения». А ты что пишешь?

Комендант передвинул папиросу в другой угол рта.

— Тут один стервец у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался тот самый Жухрай, помнишь, который железнодорожников натравил на нас.

— Ну-ну? — заинтересованно придвинулся Саломыга.

— Ну, понимаешь, Омельченко, балда, станционный комендант, с одним казаком послал его к нам, а этот, что у меня сидит, отбил его середь бела дня. Разоружили казака, выбили ему зубы и — поминай как звали. Жухрая след простыл, а этот попался. Вот почитай-ка материал,— он подвинул Саломыге пачку исписанной бумаги.

Тот бегло просмотрел ее, перелистывая левой, здоровой рукой. Прочитав, уставился на коменданта:

— И ты от него ничего не добился?

Комендант нервно потянул козырек фуражки.

— Пять дней с ним бьюсь. Молчит. «Ничего,— говорит,— не знаю, я не освобождал». Выродок какой-то бандитский. Понимаешь, конвойный его опознал, чуть не задушил здесь, гаденыша. Я насилу оторвал. Омельченко казаку на станции двадцать пять шомполов вписал за арестанта, так он ему тут жару и дал. Держать больше нечего, я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход.

Саломыга презрительно сплюнул.

— Был бы он в моих руках, заговорил бы. Не тебе, попович, дознанья делать. Какой с семинариста комендант? Ты ему шомполов дал?

Комендант вскипел:

— Ты уж слишком себе позволяешь. Свои насмешки можешь оставить при себе. Я здесь комендант и прошу не вмешиваться.

Саломыга взглянул на петушившегося коменданта и захохотал:

— Ха-ха!.. Попович, не надувайся, а то лопнешь. Черт с тобой и с твоими делами, ты лучше скажи, где достать пару бутылок самогонки?

Комендант ухмыльнулся.

— Это можно.

— А этого,— ткнул Саломыга пальцем на бумаги,— если хочешь, чтобы к ногтю прижали, поставь ему вместо шестнадцати лет восемнадцать. Крючок загни вот здесь, а то могут не утвердить.

*

В кладовой их было трое. Бородатый старик в поношенном кафтане лежал бочком на нарах, подогнув худые ноги в широких полотняных штанах. Его посадили за то, что пропал из его сарая конь постояльца-петлюровца. На полу сидела пожилая женщина с хитрыми, вороватыми глазками, с острым подбородком, самогонщица, по обвинению в краже часов и других ценных вещей. В углу под окном, положив голову на смятую фуражку, в полузабытьи лежал Корчагин.

*

В кладовую ввели молодую женщину в повязанном по-крестьянски цветном платочке, с испуганными большими глазами. Женщина постояла с минутку и села рядом с самогонщицей.

Та, пытливо обследовав новенькую, бросила быстрым говорком:

— Сидишь, девонька?

Не получив ответа, не отставала:

— За что тебя сюда, а? Случай, не по самогонному делу?

Крестьянка, встав и посмотрев на назойливую бабу, ответила тихо:

— Нет, за брата меня взяли.

— А он что? — приставала баба.

Старик вмешался:

— Чего ты ее тревожишь? Человеку, может, на свет глядеть не мило, а ты трещишь.

Баба быстро повернулась к нарам.

— А ты что мне за указчик такой нашелся? Я с тобой, что ли, говорю?

Старик сплюнул.

— Не приставай, говорю, к человеку.

В кладовой стихло. Женщина разостлала большой платок, прилегла, положив голову на руку.

Самогонщица принялась за еду. Старик спустил ноги на пол, не спеша свернул козью ножку и закурил. По кладовой потянулись клубы вонючего дыма.

Чавкая набитым ртом, баба заворчала:

— Поесть бы дал спокойно, без вонищи, раскурился без перестану.

Старик язвительно хихикнул:

— Похудеть боишься? Вон в дверь не пролезешь скоро. Ты бы хлопцу дала поесть, а то в себя все толчешь.

Баба обидчиво отмахнулась:

— Я ему говорю: поешь,— не хочет. А насчет меня губы не распускай: не твое ем.

Молодая женщина повернулась к самогонщице и, кивнув головой в сторону Корчагина, спросила:

— Вы не знаете, за что он сидит?

Баба обрадовалась, что с ней заговорили, и охотно сообщила:

— Это здешний парняга, Корчагиной, кухарки, сын младший.

Нагнувшись к уху, самогонщица прошептала:

— Большевику освобожденье сделал. Матрос тут был один, у Зозулихи, соседки моей, квартировал.

Женщина вспомнила: «Я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход...»

*

Станцию один за другим наполняли эшелоны. Беспорядочной толпой оттуда вываливались курени (батальоны) сичевых стрельцов. По путям медленно полз заклепанный в сталь четырехвагонный бронепоезд «Запорожец». С платформ стаскивали орудия. Из товарных вагонов выводили лошадей. Тут же седлали, садились и, расталкивая бесформенные толпы пехотинцев, пробивались на станционный двор, где строился кавалерийский отряд.

Суетились старшины, выкрикивая номера своих подразделений.

Вокзал гудел, как осиный рой. Из бесформенной кучи разноголосых суматошных людей постепенно сколачивались квадраты взводов, и вскоре поток вооруженных людей влился в город. До самого вечера по шоссе дребезжали подводы и плелись тыловые охвостья вступившей в город дивизии сичевых стрельцов. И, наконец, замыкая шествие, прошагала штабная рота, горланя в сто двадцать глоток:

Шо за шум, шо за гам
Учинився?
То Петлюра на Вкраини
Появився...

Корчагин поднялся к окошку. Сквозь сумрак раннего вечера он услышал грохот колес на улице, топот множества ног, многоголосые песни.

Сзади тихо сказали:

— Видно, войска в город входят.

Корчагин обернулся.

Говорила девушка, которую привели вчера.

Он слышал ее рассказ. Самогонщица добилась своего. Она из деревни, что в семи верстах от городка. Старший ее братишка Грицко, красный партизан, при Советах верховодил в комбеде.

Когда ушли красные, ушел и Грицко, опоясав себя пулеметной лентой. А теперь семье житья нет. Лошадь одна была, и ту забрали. Отца в город возили: намучился, сидя под замком. Староста — из тех, кого прищемлял Грицко,— в отместку на постой к ним всегда приводит разных людей. Обнищала семья вконец. Вчера на село явился комендант для облавы. Привел его староста к ним. Пригляделся к девушке комендант, наутро забрал в город «для допроса».

Корчагину не спалось, бесследно исчез покой, и одна назойливая мысль, от которой не мог отмахнуться, мысль: «Что будет дальше?» — вертелась в голове.

Больно покалывало избитое тело. С животной злобой избил его конвоир.

Чтобы отвлечься от ненавистных мыслей, стал слушать шепот своих соседок.

Совсем тихо рассказывала девушка, как приставал к ней комендант, угрожал, уговаривал, а получив отпор, озверел. «Посажу,—говорит,—в подвал, ты у меня оттуда не выйдешь».

Чернота заволакивала углы. Впереди ночь, душная, неспокойная. Опять мысли о неизвестном завтра. Седьмая ночь, а кажется, будто месяцы прошли, жестко лежать, не утихла боль. В кладовой теперь лишь трое. Дедка на нарах храпит, как у себя на печи. Дедка мудро спокоен и спит ночами крепко. Самогонщицу выпустил хорунжий добывать водку. Христина и Павел на полу, почти рядом. Вчера в окошечке видел Сережку. Долго тот стоял на улице, смотрел тоскливо на окна дома.

«Видно, знает, что я здесь».

Три дня передавали куски черного кислого хлеба. Кто передавал, не сказали. Два дня тревожил допросами комендант. Что бы это могло значить?

На допросах ничего не сказал, от всего отрекался. Почему молчал, и сам не знал. Хотел быть смелым, хотел быть крепким, как те, о которых читал в книгах, а когда взяли, вели ночью и у громады паровой мельницы один из ведущих сказал: «Чего его таскать, пане хорун-

жий? Пулю в спину — и кончено», стало страшно. Да, страшно умирать в шестнадцать лет! Ведь смерть — это навсегда не жить.

Христина тоже думает. Она знает больше, чем этот парень. Он, наверное, еще не знает... А она слышала.

Не спит он, мечется ночами. Жалко, ой, как жалко Христине его, но у нее свое горе: не может забыть она страшные слова коменданта: «Я с тобой завтра расправлюсь. Не хочешь со мной — в караулку пойдешь. Казаки не откажутся. Выбирай».

«Ой, как тяжело, и неоткуда пощады ждать! Чем же она виновата, что Грицко в красные пошел? Ой, як на свити тяжко жити!»

Тупая боль сжимает горло, беспомощное отчаяние, страх захлестнули ее, и Христина глухо зарыдала.

Вздрагивает молодое тело от безумной тоски и отчаяния.

В углу у стены шевельнулась тень.

— Ты чего это?

Горячий шепот Христины — вылила она свою тоску молчаливому соседу. Он слушает, молчит, и только рука его легла на руки Христины.

— Замучают меня, проклятые,— глотая слезы, с неосознанным ужасом шептала она.— Пропала я: сила ихняя.

Что он, Павел, мог сказать этой дивчине? Нет слов. Нечего говорить. Жизнь давила обручем.

«Не пустить завтра ее, бороться! Изобьют до смерти, а то и рубанут саблей по голове — и кончено». И чтобы хоть чуть приласкать эту горем отравленную девушку, нежно по руке погладил. Рыданья девушки стихли. Изредка часовой у входа окликал прохожих обычным: «Кто идет?» — и опять тихо. Крепко спит дедка. Медленно ползли неощутимые минуты. Не понял, когда крепко обняли руки и притянули к себе.

— Слухай, голубе,—шепчут горячие губы,—мени все равно пропадать: як не офицер, так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивочисть забрала.

— Что ты говоришь, Христина?

Но крепкие руки не отпускали. Губы горячие, полные

губы, от них трудно уйти. Слова дивчины простые, нежные, ведь он знает, почему эти слова.

И вот убежало куда-то в сторону сегодняшнее. Забыт замок на двери, рыжий казак, комендант, звериные побои, семь душных бессонных ночей, и на миг остались только горячие губы и чуть влажное от слез лицо.

Вдруг вспомнилась Тоня.

«Как можно было ее забыть?.. Чудные, родные глаза».

Хватило сил оторваться. Как пьяный, поднялся и взялся рукой за решетку. Руки Христины нашли его.

— Чего же ты?

Сколько чувства в этом вопросе! Он нагибается к ней и, крепко сжимая руки, говорит:

— Я не могу, Христина. Ты—хорошая,—и еще что-то говорил, чего сам не понял.

Выпрямился, чтобы разорвать нестерпимую тишину, шагнул к нарам. Сев на краю, затормошил деда:

— Дедунь, дай закурить, пожалуйста.

В углу, закутавшись в платок, рыдала девушка.

Днем пришел комендант, и казаки увели Христину. Она попрощалась глазами с Павлом. В них был укор. И когда за ней захлопнулась дверь, в его душе стало еще тяжелее и непрогляднее.

Дедка до вечера не добился от юноши ни одного слова. Сменили караул и комендантскую команду. Вечером привели нового. Павел узнал в нем Долинника, столяра сахарного завода. Крепко скроенный, приземистый, в облинялой желтой рубашке под заношенным пиджаком. Внимательным взглядом обежал кладовку.

Павел видел его в 1917 году, в феврале, когда докатилась революция и до городка. На шумных демонстрациях он слышал только одного большевика. Это был Долинник. Он говорил солдатам речь, влезши на забор у дороги. Запомнилось его заключительное:

«Держитесь, солдаты, за большевиков: они не продадут!»

С тех пор столяра не встречал.

Старик обрадовался новому соседу. Ему, видно, было тяжело сидеть молча целый день. Долинник подсел к нему на нары, раскурил с ним папироску и расспросил обо всем.

Затем подсел к Корчагину.

— А у тебя что хорошего?—спросил он парня.— Каким образом сюда?

Получая односложные ответы, Долинник чувствовал, что его собеседник недоверчив, поэтому так скуп на слова. Но когда столяр узнал, какое обвинение предъявляют юноше, он удивленно уставился на Корчагина своими умными глазами. Сел рядом.

— Так ты, говоришь, Жухрая выручил? Вот оно что. Я и не знал, что тебя забрали.

Павел от неожиданности приподнялся на локте.

— Какого Жухрая? Я ничего не знаю. Мало ли чего мне пришьют.

Но Долинник, улыбаясь, подвинулся к нему ближе.

— Брось, дружок, передо мной не запирайся. Я больше твоего знаю.

И тихо, чтобы не слышал старик:

— Я сам Жухрая провожал, он, поди, на месте. Федор мне все рассказал про этот случай.

Помолчав немного, думая о чем-то, добавил:

— Парень ты, оказывается, что надо. Но вот то, что сидишь, что они знают про все,— это дело того, ни к черту, можно сказать, совсем дрянь.

Он сбросил пиджак, постелил его на полу, сел, опершись спиной о стенку, и снова стал крутить папироску.

Последние слова Долинника все сказали Павлу. Было ясно: Долинник свой человек. Раз провожал Жухрая — значит...

К вечеру он знал, что Долинник арестован за агитацию среди петлюровских казаков. Попался он с поличным, когда раздавал воззвания губернского ревкома с призывом сдаваться и переходить к красным.

Осторожный Долинник рассказал Павлу немногое.

«Кто знает,— думал он,— начнут бить парнишку шомполами. Молод еще».

Поздно вечером, укладываясь спать, высказал свои опасения в короткой общей фразе:

— Положение наше с тобой, Корчагин, можно сказать, хуже губернаторского. Посмотрим, что из этого получится.

На другой день в кладовой появился новый арестант, известный всему городу парикмахер Шлема Зельцер,

с огромными ушами, тонкой шеей. Он рассказывал Долиннику, горячась и жестикулируя:

— Ну, так вот, Фукс, Блувштейн, Трахтенберг хлеб-соль будут ему носить. Я говорю: хотите нести — несите, но кто им подпишет от всего еврейского населения? Извиняюсь, никто. Им есть расчет. У Фукса — магазин, у Трахтенберга — мельница, а у меня что? А у остальной голоты? У этих нищих — ничего. Ну, у меня длинный язык. Сегодня я брею одного старшину, из новых, что прислали недавно. «Скажите,— говорю,— атаман Петлюра знает про погромы или нет? Примет он эту делегацию?» Эх, сколько раз я неприятности имел за свой язык! Что, вы думаете, этот старшина сделал, когда я его побрил, попудрил, сделал все на первый сорт? Он себе встает, вместо того чтобы деньги мне заплатить, арестовывает меня за агитацию против власти.

Зельцер ударял себя по груди кулаком:

— Какая агитация? Что я такое сказал? Я только спросил у человека... И за это меня сажать...

Зельцер, горячась, крутил Долиннику пуговицу на рубашке, дергал его то за одну, то за другую руку.

Долинник невольно улыбнулся, слушая возмущенного Шлему. Когда парикмахер замолчал, Долинник сказал серьезно:

— Эх, Шлема, ты вот умный парень, а дурака свалял. Нашел время, когда языком молоть. Я б тебе не советовал попадаться сюда.

Зельцер понимающе посмотрел на него и в отчаянии махнул рукой. Дверь открылась, и в кладовую втолкнули знакомую Павлу самогонщицу. Она озлобленно ругала ведущего казака:

— Огонь бы вас спалил вместе с вашим комендантом! Чтоб ему от моей горилки околеть!

Часовой захлопнул за ней дверь, и было слышно, как он засовывал замок.

Баба села на нары; ее шутливо приветствовал старик:

— Что, опять к нам, трещотка? Что ж, садись, гостем будешь.

Самогонщица нелюбезно глянула на старика и, захватив узелок, пересела на пол рядом с Долинником.

Ее опять посадили, получив от нее несколько бутылок самогона.

За дверью в караулке послышались крики, движение. Чей-то резкий голос отдавал приказания. Все арестованные в кладовой повернули головы к двери.

*

На площади, у неказистой церквушки со старинной колокольней, происходило необычайное для городка событие. Охватывая площадь с трех сторон, правильными прямоугольниками разместились части дивизии сичевых стрельцов в полном боевом снаряжении.

Впереди, начиная от церковного подъезда, рядами, упираясь в забор школы, вытянулись шахматными квадратами три пехотных полка.

Серой, грязноватой массой, приставив ружья к ноге, в нелепых железных русских шлемах, похожих на расколотые пополам тыквы, густо обвешанные патронами, стояли петлюровские солдаты наиболее боеспособной дивизии «Директории».

Хорошо одетая и обутая из запасов бывшей царской армии, больше чем наполовину состоявшая из кулаков, сознательно боровшихся против Советов, эта дивизия была переброшена в городок для защиты важнейшего стратегического железнодорожного узла.

Из Шепетовки в пять разных сторон убегали блестящие полоски путей. Потерять этот пункт для Петлюры — значило потерять все. У «Директории» и так оставалась куцая территория. Столицей петлюровщины стал скромный городок Винница.

Головной атаман лично решил проверить части. Все было готово к его встрече.

В задних рядах, подальше от взглядов, в углу площади примостили полк новомобилизованных. Тут была босая, пестро одетая молодежь. Никто из этих молодых сельских парней, стащенных ночной облавой с печек или пойманных на улице, не думал идти воевать.

— Нема дурних,— говорили они.

Самое большее, что удавалось петлюровским офицерам,— это привести мобилизованных под конвоем в город, рассчитать их на роты и курени и выдать оружие.

Но на другой же день треть приведенных исчезала, и с каждым днем их становилось все меньше.

Выдавать им сапоги было более чем легкомысленно, да и сапог-то было не густо. Издан был приказ: явиться на призыв обутыми. Он дал изумительные результаты. Где только добывалась та невероятная рвань, которая держалась на ногах лишь при помощи проволоки или веревок?

На парад их привели босыми.

За пехотой растянулся кавалерийский полк Голуба.

Кавалеристы сдерживали густые толпы любопытных. Всем хотелось посмотреть парад.

Сам головной атаман приедет! В городе такие события были редкостью, и пропустить бесплатное зрелище никто не хотел.

На ступеньках церкви собрались полковники, есаулы, обе поповны, кучка украинских учителей, группа «вильных» казаков, слегка горбатый председатель управы — в общем, избранные, представляющие «общественность», и среди них, в черкеске, главный инспектор пехоты. Он командовал парадом.

В церкви облачался в пасхальное одеяние поп Василий.

Прием Петлюре готовился торжественный. Принесли и водрузили знамя: желтое с голубым. Ему должны были присягать мобилизованные.

Командир дивизии на тощем, облезлом форде отправился на вокзал за Петлюрой.

Инспектор пехоты подозвал к себе стройного, с щегольски закрученными усиками полковника Черняка.

— Берите с собой кого-нибудь, проверьте комендатуру и тыл, чтобы все было чисто и прибрано. Если есть арестованные, просмотрите, шваль выгоните.

Черняк щелкнул каблуками, захватил попавшегося под руку есаула и ускакал.

Инспектор любезно обратился к старшей поповне:

— А как у вас с обедом, все в порядке?

— О да, там комендант старается,— ответила поповна, впиваясь глазами в красивого инспектора.

Вдруг все зашевелилось: по шоссе летел, припав к шее коня, верховой. Он махал рукой и кричал:

— Едут!

— По мес-там! — гаркнул инспектор.

Старшины побежали в строй.

Когда форд зачихал у церковного подъезда, оркестр заиграл «Ще не вмерла Украина».

Из автомобиля вслед за командиром дивизии неуклюже вылез «сам головной атаман Петлюра», человек среднего роста, с крепко посаженной угловатой головой на багровой шее, в синем жупане из хорошего гвардейского сукна, затянутом желтым поясом с пристегнутым к нему крошечным браунингом в замшевой кобуре. На голове защитная «керенка», на ней кокарда с эмалевым трезубцем.

Ничего воинственного не было в фигуре Симона Петлюры. Выглядел он совсем не военным человеком.

Недовольный чем-то, выслушал он короткий рапорт инспектора. Затем к нему обратился с приветствием председатель управы.

Петлюра рассеянно слушал, глядя через его голову на выстроенные полки.

— Начнем смотр,— кивнул он инспектору.

Взойдя на небольшой помост у знамени, Петлюра обратился к солдатам с десятиминутной речью.

Речь была неубедительна. Произносил ее Петлюра без особого подъема, видимо устав с дороги. Окончил под казенные крики солдат: «Слава! Слава!» Слез с помоста и вытер платком вспотевший лоб. Затем с инспектором и командиром дивизии обошел части.

Проходя вдоль рядов мобилизованных, презрительно сощурил глаза, нервно покусывая губы.

К концу смотра, когда мобилизованные взвод за взводом, неровными рядами подходили к знамени, у которого стоял с евангелием поп Василий, и целовали сначала евангелие, потом угол знамени, произошло нечто неожиданное.

Невесть каким образом на площадь к Петлюре пробралась делегация. С хлебом и солью в руках выступал богатый лесопромышленник Блувштейн, за ним галантерейщик Фукс и еще трое солидных коммерсантов.

Блувштейн, лакейски изгибаясь, подал поднос Петлюре. Его взял стоявший рядом старшина.

— Еврейское население выражает свою искреннюю

признательность и уважение к вам, глава государства. Вот, пожалуйста, поздравительный лист.

— Добре,— буркнул Петлюра, бегло просматривая бумагу.

Но тут выступил Фукс.

— Мы нижайше просим вас, чтобы нам дали возможность открыть предприятия, и защитить от погрома,— выдавил Фукс трудное слово.

Петлюра злобно насупился.

— Моя армия погромами не занимается. Вы это должны запомнить.

Фукс беспомощно развел руками.

Петлюра нервно подернул плечом. Он был зол на так некстати подошедшую делегацию. Он обернулся. За его спиной стоял, покусывая черный ус, Голуб.

— Тут на ваших казаков жалуются, пане полковник. Разберитесь, в чем дело, и примите меры,— сказал Петлюра и, обращаясь к инспектору, приказал: — Начинаем парад.

Злополучная делегация никак не ожидала встречи с Голубом и поспешила улизнуть.

Все внимание зрителей было обращено на приготовление к церемониальному маршу. Раздались резкие слова команды.

Голуб, надвигаясь на Блувштейна с внешне спокойным лицом, говорил внятно, шепотом:

— Уносите ноги, некрещеные души, а то я из вас котлеты сделаю.

Гремел оркестр, и первые части стали проходить по площади. Подходя к месту, где стоял Петлюра, солдаты механически гаркали «слава» и заворачивали по шоссе в боковые улицы. Впереди рот, одетые в новенькие, цвета хаки костюмы, непринужденно шагали старшины, как на прогулке, помахивая тросточками. Эту моду маршировать с тросточкой, как и шомпола у солдат, сичевики ввели впервые.

В хвосте шли мобилизованные, шли недружной массой, сбиваясь с шага, натыкаясь друг на друга.

Шорох босых ног был тих. Старшины изо всех сил старались навести порядок, но это было невозможно. Когда подходила вторая рота, правофланговый, молодой парень в полотняной рубахе, засмотрелся на «головно-

го», разинув от удивления рот, и со всего размаха шлепнулся на шоссе, попав ногой в выбоину.

Винтовка, дребезжа, покатилась по камням. Парень пытался подняться, но его сейчас же сбивали с ног идущие сзади.

Среди зрителей послышался хохот. Взвод смешал строй. Площадь проходили уже как попало. Неудачливый парнишка, подхватив винтовку, догонял своих.

Петлюра отвернулся в сторону от этого неприятного зрелища; не ожидая конца прохождения колонны, пошел к автомобилю. Инспектор, следуя за ним, осторожно спросил:

— Пан атаман обедать не останется?

— Нет,— отрывисто бросил Петлюра.

За высокой церковной оградой, среди толпы зрителей, смотрели парад Сережа Брузжак, Валя и Климка.

Крепко обхватив руками прутья решетки, взглядом, полным ненависти, всматривался Сережа в лица стоявших внизу.

— Пойдем, Валя, лавочка закрывается,— вызывающе громко, так, чтобы слышали все, проговорил он, отрываясь от решетки. На него изумленно обернулись.

Не обращая ни на кого внимания, он пошел к калитке. За ним сестра и Климка.

*

Подскакав к комендантской, полковник Черняк с есаулом спрыгнули с лошадей. Передав их вестовому, быстро вошли в караулку.

— Где комендант? — резко спросил Черняк у вестового.

— Не знаю,— промямлил тот.— Куда-то пошел.

Черняк оглядывал грязную, неприбранную караулку, развороченные постели, на которых беспечно развалились комендантские казаки. Они и не думали даже встать при приходе старшин.

— Что за хлев развели? — заревел Черняк.— Вы что развалились, как поросные свиньи? — налетел он на лежавших.

Один из казаков, сев, сытно отрыгнул и недружелюбно промычал:

— Ты чего кричишь? У нас свое кричало есть.

— Что такое? — подскочил Черняк.— Ты с кем разговариваешь, коровья морда? Я — полковник Черняк! Слыхал, сукин сын? Вставать сейчас же, а то всыплю всем шомполов! — бегал по караулке разгоряченный полковник.— В одну минуту чтобы всю грязь вымести, кровати прибрать, морды свои привести в человеческий вид. На кого вы похожи? Не казаки, а банда с большой дороги.

Его ярости не было границ. Он с бешенством толкнул ногой бак с помоями, стоявший на дороге.

Есаул не отставал от него, обильно сыпля матерщину, и, убедительно помахивая плеткой-трехвосткой, сгонял лежебок с постелей.

— Головной атаман парад принимает, сюда зайти может. Живо шевелитесь!

Видя, что дело принимает серьезный оборот и что шомполы действительно можно заработать,— имя Черняка было всем прекрасно известно,— казаки забегали как ошпаренные.

Работа закипела.

— Надо посмотреть арестованных,— предложил есаул.— Кто их знает, кого они здесь держат? Заглянет головной — может получиться ерунда.

— У кого ключ? — спросил часового Черняк.— Откройте сейчас же.

Старшой торопливо подскочил и открыл замок.

— А где комендант? Что, я его долго ждать буду? Найти его сейчас же и прислать сюда,— командовал Черняк.— Охрану вывести во двор, выстроить в порядке... Почему винтовки без штыков?

— Мы вчера только сменились,— оправдывался старшой.

Он кинулся к двери искать коменданта.

Есаул толкнул ногой дверь кладовой. С полу привстало несколько человек, остальные остались лежать.

— Откройте двери,— командовал Черняк,— здесь мало света.

Он всматривался в лица арестованных.

— За что сидишь? — резко спросил он сидевшего на нарах старика.

Тот приподнялся, подтянул штаны и, немного заикаясь, напуганный резким криком, прошамкал:

— Я и сам не знаю. Посадили — вот и сижу. Коняга со двора пропала, так я же в этом не виноват.

— Чья коняга? — перебил есаул.

— Да казенная. Пропили ее мои постояльцы, а на меня сваливают.

Черняк окинул старика с головы до ног быстрым взглядом, нетерпеливо дернул плечом.

— Забери свои манатки— и марш отсюда! — крикнул он, поворачиваясь к самогонщице.

Старик не сразу поверил, что его отпускают, и, обращаясь к есаулу, заморгал подслеповатыми глазами:

— Значит, мне уйти дозволяется?

Тот кивнул головой: катись, катись поскорей.

Старик поспешно отвязал от нар свою торбу и бочком проскочил в дверь.

— А ты за что посажена? — уже допрашивал самогонщицу Черняк.

Та, доедая кусок пирога, затараторила:

— Меня, пане начальство, по несправедливости посадили. Вдова я, самогонку мою пили, а меня потом и посадили.

— Ты что, самогонкой торгуешь? — спросил Черняк.

— Да яка там торговля,— обиделась баба.— Он, комендант, взял четыре бутылки и ни гроша не заплатил. Вот так все: самогонку пьют, а денег не платят. Яка же это торговля?

— Довольно, сейчас убирайся к черту.

Баба не заставила дважды повторять приказание и, схватив корзинку, благодарно кланяясь, попятилась задом к двери.

— Дай вам боже здоровечко, господа начальство.

Долинник смотрел на эту комедию широко раскрытыми глазами. Никто из арестованных не понимал, в чем дело. Было ясно одно: пришедшие люди — какое-то начальство, имеющее власть над арестованными.

— А ты за что? — обратился к Долиннику Черняк.

— Встать перед паном полковником! — гаркнул есаул.

Долинник медленно и тяжело приподнялся с пола.

— За что сидишь, спрашиваю? — повторил вопрос Черняк.

Долинник несколько секунд смотрел на подкрученные усы полковника, на его гладко выбритое лицо, потом на козырек новенькой «керенки» с эмалевой кокардой, и вдруг мелькнула хмельная мысль: «А что, если выйдет?»

— Меня арестовали за то, что я шел по городу после восьми часов,— сказал он первое, что пришло ему на ум.

Ожидал весь в мучительном напряжении.

— А чего ночью шатаешься?

— Да не ночью, часов в одиннадцать.

Говорил и уже не верил в дикую удачу.

Колени дрогнули, когда услышал короткое: «Отправляйся».

Долинник, забыв свой пиджак, шагнул к двери, а есаул уже спрашивал следующего.

Корчагин был последним. Он сидел на полу, совершенно сбитый с толку всем тем, что видел, и даже не успел осознать, что Долинника отпустили. Понять, что происходит, он не мог. Всех отпускают. Но Долинник, Долинник... Он сказал, что арестован за ночное хождение... Наконец понял.

Полковник начал допрос худенького Зельцера с обычного:

— За что сидишь?

Бледный, волнующийся парикмахер ответил порывисто:

— Мне говорят, что я агитирую, но я не понимаю, в чем моя агитация заключается.

Черняк насторожился.

— Что? Агитация?! О чем агитируешь?

Зельцер недоуменно развел руками:

— Я не знаю, но я говорил только, что собирают подписи на прошение головному атаману от еврейского населения.

— На какое прошение? — продвинулись к Зельцеру есаул и Черняк.

— Прошение об отмене погромов. Вы знаете, у нас был страшный погром. Население боится.

— Понятно,— оборвал его Черняк.— Мы тебе пропишем прошение, жидовская морда.— И, оборачиваясь к есаулу, бросил: — Этого фрукта надо запрятать по-





дальше. Убрать его в штаб. Там я с ним побеседую лично. Узнаем, кто собирается подать прошение.

Зельцер пытался возразить, но есаул, резко махнув рукой, ударил его нагайкой по спине.

— Молчи, стерва!

Кривясь от боли, Зельцер отшатнулся в угол. Губы его задрожали, он едва сдерживал прорывающиеся рыдания.

При последней сцене Корчагин встал. В кладовой из арестованных оставались только он и Зельцер.

Черняк стоял перед юношей и ощупывал его черными глазами.

— Ну, а ты чего здесь?

На свой вопрос полковник услышал быстрый ответ:

— Я от седла крыло отрезал на подметки.

— От какого седла? — не понял полковник.

— У нас стоят два казака, так я от старого седла крыло отрезал для подметок, а казаки меня сюда и привели за это. — И, охваченный безумной надеждой выбраться на свободу, добавил: — Я кабы знал, что нельзя...

Полковник пренебрежительно глядел на Корчагина.

— И чем этот комендант занимался, черт его знает, тоже арестантов насбирал! — И, оборачиваясь к двери, закричал: — Можешь идти домой и скажи отцу, чтобы он тебя вздул, как полагается. Ну, вылетай!

Не веря себе, с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, схватив лежавший на полу пиджак Долинника, Корчагин кинулся к двери. Пробежал караулку и за спиной выходившего Черняка проскользнул во двор, оттуда в калитку и на улицу.

В кладовой остался одинокий, несчастный Зельцер. Он с мучительной тоской оглянулся, инстинктивно сделав несколько шагов к выходу, но в караулку вошел часовой, закрыл дверь, повесил замок и уселся на стоящий у двери табурет.

На крыльце Черняк, довольный, обратился к есаулу:

— Хорошо, что мы сюда заглянули. Смотри, сколько здесь швали набилось, а коменданта посадим недельки на две. Ну, поедем, что ли?

Во дворе выстраивал свой отряд старшой. Увидев полковника, он подбежал и отрапортовал:

— Все в порядке, пане полковник.

Черняк вложил ногу в стремя, легко вспрыгнул в седло. Есаул возился с норовистой лошадью. Подбирая поводья, Черняк сказал старшому:

— Скажи коменданту, что я выпустил всю дрянь, которую он тут напихал. Передай ему, что я посажу его на две недели за то, что он здесь развел. А того, что там сидит, перевести сейчас же в штаб. Караулу быть готовым.

— Слушаюсь, пане полковник,— откозырял старшой.

Дав лошадям шпоры, полковник с есаулом понеслись галопом к площади, где уже кончался парад.

*

Перемахнув седьмой забор, Корчагин остановился. Бежать дальше не было сил.

Голодные дни в душной, непроветриваемой кладовой обессилили его. Домой нельзя, а к Брузжакам идти — узнает кто, разгромят всю семью. Куда же?

Он не знал, что делать, и бежал, оставляя позади себя огороды и задворки усадеб. Опомнился, лишь наткнувшись грудью на чью-то ограду. Глянул и обомлел: за высоким дощатым забором начинался сад главного лесничего. Вот куда принесли его усталые вконец ноги. Разве думал он добежать сюда? Нет.

Но почему же очутился именно у усадьбы лесничего?

На это ответить не мог.

Надо где-нибудь передохнуть и потом подумать, куда дальше; в саду есть деревянная беседка, там его никто не увидит.

Корчагин подпрыгнул, захватив рукой край доски, забрался на забор и свалился в сад. Оглянувшись на чуть видневшийся за деревьями дом, он пошел к беседке. Она была открыта почти со всех сторон. Летом ее обвивал дикий виноград — сейчас все было голо.

Повернулся к забору, но было поздно: за спиной он услышал бешеный лай. От дома по засыпанной листь-

ями дорожке, оглашая сад грозным рычаньем, на него мчалась огромная собака.

Павел приготовился к защите.

Первое нападение было отбито ударом ноги. Но пес готовился ко второму. Кто знает, чем окончилась бы эта схватка, если бы знакомый Павлу звонкий голос не закричал:

— Трезор, назад!

По дорожке бежала Тоня. Оттащив за ошейник Трезора, она обратилась к стоящему у забора Павлу:

— Как вы сюда попали? Вас же могла искусать собака. Хорошо, что я...

Она запнулась. Ее глаза широко раскрылись. До чего же похож на Корчагина этот неизвестно как забредший сюда юноша!

Фигура у забора шевельнулась и тихо проговорила:

— Ты... Вы меня узнаете?

Тоня вскрикнула и порывисто шагнула к Корчагину.

— Павлуша, ты?

Трезор понял крик как сигнал к нападению и сильным прыжком бросился вперед.

— Пошел вон!

Трезор, получив несколько пинков от Тони, обиженно поджал хвост и поплелся к усадьбе.

Тоня, сжимая руки Корчагина, произнесла:

— Ты свободен?

— А ты разве знаешь?

Тоня, не справляясь со своим волнением, порывисто ответила:

— Я все знаю. Мне рассказала Лиза. Но каким образом ты здесь? Тебя освободили?

Корчагин устало ответил:

— Освободили по ошибке. Я убежал. Меня уже, наверное, ищут. Сюда попал нечаянно. Хотел отдохнуть в беседке.— И, как бы извиняясь, добавил: — Я очень устал.

Она несколько мгновений смотрела на него и, вся охваченная приливом жалости, горячей нежности, тревоги и радости, сжимала его руки.

— Павлуша, милый, милый Павка, мой родной, хороший... Я люблю тебя... Слышишь?.. Упрямый ты мой мальчишка, почему ты ушел тогда? Теперь ты пойдешь к

нам, ко мне. Я тебя ни за что не отпущу. У нас спокойно, ты пробудешь сколько нужно.

Корчагин отрицательно покачал головой.

— Если меня найдут у вас, что тогда будет? Не могу я к вам.

Руки еще сильнее сжали пальцы, ресницы дрогнули, глаза заблестели.

— Если ты не пойдешь, ты больше меня никогда не увидишь. Ведь Артема нет, его забрали под конвоем на паровоз. Всех железнодорожников мобилизуют. Куда же ты пойдешь?

Корчагин понимал ее тревогу, но боязнь поставить под удар дорогую ему девушку останавливала его. Все пережитое утомило, хотелось отдохнуть, мучил голод. Он сдался.

Когда он сидел на диване в комнате Тони, в кухне между дочерью и матерью происходил разговор:

— Послушай, мама. У меня в комнате сейчас сидит Корчагин, помнишь? Мой ученик. Я от тебя ничего не буду скрывать. Он был арестован за освобождение одного матроса-большевика. Он сбежал, и у него нет пристанища.— Голос ее задрожал.— Я прошу тебя, мама, согласиться на то, чтобы он сейчас остался у нас.

Глаза дочери умоляюще посмотрели на мать.

Та испытующе смотрела в глаза Тоне.

— Хорошо, я не возражаю. А где же ты устроишь его?

Тоня зарделась и смущенно, волнуясь, ответила:

— Я устрою его у себя в комнате на диване. Папе можно будет пока не говорить.

Мать прямо посмотрела в глаза Тоне.

— Это и было причиной твоих слез?

— Да.

— Он совсем еще мальчик.

Тоня нервно теребила рукав блузки.

— Да, но если бы он не ушел, его бы расстреляли, как взрослого.

Екатерина Михайловна была встревожена присутствием в доме Корчагина. Ее беспокоили и его арест, и несомненная симпатия Тони к этому мальчику, и то, что она его совершенно не знала.

А Тоню охватил хозяйственный азарт.

— Он должен выкупаться, мама. Я сейчас это устрою. Он грязен, как настоящий кочегар. Он столько времени не умывался.

Она бегала, суетилась, растапливала ванну, приготовляла белье. И с налету, избегая объяснений, схватив Павла за руку, потащила купаться.

— Ты должен все с себя снять. Вот тут костюм. Твою одежду нужно выстирать. Наденешь вот это,— сказала она, показывая на стул, где были аккуратно сложены синяя матросская блуза с полосатым белым воротничком и брюки клеш.

Павел удивленно оглядывался. Тоня улыбалась.

— Это мой маскарадный костюм. Он тебе будет хорош. Ну, хозяйничай, я тебя оставлю. Пока ты купаешься, я приготовлю кушать.

Она захлопнула дверь. Делать было нечего. Корчагин быстро разделся и забрался в ванну.

Через час все трое — мать, дочь и Корчагин — обедали на кухне.

Изголодавшись, Павел незаметно для себя опустошил третью тарелку. Сначала он стеснялся Екатерины Михайловны, но потом, видя ее дружеское отношение, освоился.

Когда после обеда они собрались в комнате Тони, Павел по просьбе Екатерины Михайловны рассказал о своих мытарствах.

— Что же вы думаете дальше делать? — спросила Екатерина Михайловна.

Павел задумался.

— Я хочу Артема повидать, а потом удрать отсюда.

— Куда?

— На Умань пробраться думаю или в Киев. Я сам еще не знаю, но отсюда надо убраться обязательно.

Павел не верил, что все так быстро переменилось. Еще утром каталажка, а сейчас Тоня рядом, чистая одежда, а главное — свобода.

Вот как иногда поворачивается жизнь: то темь беспросветная, то снова улыбается солнце. Если бы не нависающая угроза нового ареста, он был бы сейчас счастливым парнем. Но именно сейчас, пока он здесь, в этом большом и тихом доме, его могли накрыть.

Надо было уходить куда угодно, но не оставаться здесь.

Но ведь уходить отсюда совсем не хочется, черт возьми! Как интересно было читать о герое Гарибальди! Как он ему завидовал, а ведь жизнь у этого Гарибальди была тяжелая, его гоняли по всему свету. Вот он, Павел, всего только семь дней прожил в ужасных муках, а кажется, будто год прошел.

Герой из него, Павки, видно, получается неважный.

— О чем ты думаешь? — спросила, нагнувшись над ним, Тоня. Ее глаза кажутся ему бездонными в своей темной синеве.

— Тоня, хочешь, я расскажу тебе о Христинке?..

— Рассказывай,— оживленно сказала Тоня.

— ...и она больше не пришла.— Последние слова он договорил с трудом.

В комнате было слышно, как размеренно стучали часы. Тоня, склонив голову, готовая разрыдаться, до боли кусала губы.

Павел посмотрел на нее.

— Я должен уйти отсюда сегодня же,— решительно сказал Павел.

— Нет, нет, ты сегодня никуда не пойдешь!

Тонкие теплые пальцы ее тихо забрались в его непокорные волосы, ласково теребили их...

— Тоня, ты мне должна помочь. Надо узнать в депо об Артеме и отнести записку Сережке. В вороньем гнезде у меня лежит револьвер. Мне идти нельзя, а Сережка должен его достать. Ты можешь это сделать?

Тоня поднялась.

— Я сейчас пойду к Сухарько. С ней в депо. Ты напиши записку, я отнесу Сереже. Где он живет? А если он захочет прийти, сказать ему, где ты?

Подумав, Павел ответил:

— Пусть сам принесет в сад вечером.

Тоня вернулась домой поздно. Павел спал крепким сном. От прикосновения ее руки он проснулся. Она радостно улыбалась.

— Артем сейчас придет. Он только что приехал. Его под ручательство отца Лизы отпустят на час. Паровоз стоит в депо. Я ему не могла сказать, что ты здесь. Сказала, что передам что-то очень важное. Да вот он.

Тоня побежала к двери. Не веря своим глазам, Артем как вкопанный остановился в дверях. Тоня закрыла за ним дверь, чтобы не услыхал в кабинете больной тифом отец.

Когда руки Артема схватили Павла в свои объятия, у Павла хрустнули кости.

— Братишка! Павка!

*

Было решено: Павел едет завтра. Артем устроит его на паровоз к Брузжаку, который отправляется в Казатин.

Артем, обычно суровый, потерял равновесие, измучившись за брата, не зная о его участи. Он теперь был бесконечно счастлив.

— Значит, утром в пять часов ты приходишь на материальный склад. Дрова погрузят на паровоз, и ты сядешь. Хотелось бы с тобой поговорить, но пора возвращаться. Завтра провожу. Из нас формируют железнодорожный батальон. Как при немцах — под охраной ходим.

Артем попрощался и ушел.

Быстро спустились сумерки. Сережа должен был прийти к ограде сада. В ожидании Корчагин ходил по темной комнате из угла в угол. Тоня с матерью были у Туманова.

С Сережей встретились в темноте и крепко сжали друг другу руки. С ним пришла Валя. Говорили тихо.

— Я револьвера не принес. У тебя во дворе полно петлюровцев. Подводы стоят, огонь разложили. На дерево полезть никак нельзя было. Вот неудача какая,— оправдывался Сережа.

— Шут с ним,— успокаивал его Павел.— Может, это и лучше. В дороге могут нащупать — голову оторвут. Но ты его забери обязательно.

Валя придвинулась к нему.

— Ты когда едешь?

— Завтра, Валя, чуть свет.

— Но как ты выбрался, расскажи?

Павел быстро, шепотом рассказал о своих мытарствах.

Прощались тепло. Сережа не шутил, волновался.

— Счастливого пути, Павел, не забывай нас,— с трудом выговорила Валя.

Ушли, сразу растаяв в темноте.

Тишина в доме. Лишь часы шагают, четко чеканя шаг. Никому из двоих не приходит в голову мысль уснуть, когда через шесть часов они должны расстаться и, быть может, больше никогда не увидят друг друга. Разве можно рассказать за этот коротенький срок те миллионы мыслей и слов, которые носит в себе каждый из них!

Юность, безгранично прекрасная юность, когда страсть еще непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец; когда рука испуганно вздрагивает и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги, и когда дружба юности бережет от последнего шага! Что может быть роднее рук любимой, обхвативших шею, и — поцелуй, жгучий, как удар тока!

За всю дружбу это второй поцелуй. Корчагина, кроме матери, никто не ласкал, но зато били много. И тем сильнее чувствовалась ласка.

В жизни забитой, жестокой не знал, что есть такая радость. А эта девушка на пути — большое счастье.

Он чувствует запах ее волос и, кажется, видит ее глаза.

— Я так люблю тебя, Тоня! Не могу я тебе этого рассказать, не умею.

Прерываются его мысли. Как послушно гибкое тело!.. Но дружба юности выше всего.

— Тоня, когда закончится заваруха, я обязательно буду монтером. Если ты от меня не откажешься, если ты действительно серьезно, а не для игрушки, тогда я буду для тебя хорошим мужем. Никогда бить не буду, душа с меня вон, если я тебя чем обижу.

И, боясь заснуть обнявшись, чтобы не увидела мать и не подумала нехорошее, разошлись.

Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забывать друг друга.

Ранним утром Екатерина Михайловна разбудила Корчагина.

Он быстро вскочил на ноги.

Когда переодевался в ванной в свое платье, натягивал сапоги, пиджак Долинника, мать разбудила Тоню.

Быстро шли в сыром утреннем тумане к станции. Подошли обходом к дровяным складам. Их нетерпеливо ожидал Артем у нагруженного дровами паровоза.

Медленно подходил мощный паровоз «щука», окутанный клубами шипящего пара.

В окно паровозной кабинки смотрел Брузжак.

Быстро попрощались. Павел цепко схватился за железные поручни паровозных ступенек. Полез наверх. Обернулся. На переезде стояли две знакомые фигуры: высокая — Артема и рядом с ним стройная, маленькая — Тони.

Ветер сердито теребил воротник ее блузки, трепал локоны каштановых волос. Она махала рукой.

Артем, кинув вкось взгляд на сдерживавшую рыдания Тоню, вздохнул:

«Или я совсем дурак, или у этих гайка не на месте. Ну и Павка! Вот тебе и шкет!»

Когда поезд ушел за поворот, Артем повернулся к Тоне:

— Ну, что ж, будем друзьями? — И в его громадной руке спряталась крошечная рука Тони.

Издалека донесся грохот набиравшего ход поезда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клекот ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы: щупали друг друга секреты. А на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись с воем и свистом, заглушая все, и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли.

На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни.

Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия. Подтягивая потуже ремень с тяжелым маузером, прислушивался к по-

лету снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом:

— Досыпать завтра будем, товарищи. По-дыма-а-а-й-сь!

Батарейцы спали тут же, у орудий. Они вскочили так же быстро, как и военком. Один только Сидорчук медлил, он нехотя подымал заспанную голову.

— Ну и гады, чуть свет — уже гавкают. Что за подлый народ!

Замостин расхохотался:

— Несознательные элементы, Сидорчук. Не считаются с тем, что тебе поспать хочется.

Батареец подымался, недовольно ворча.

Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода примостились на настланных досках петлюровский офицер и телефонист.

Они взбирались по железным ступенькам, идущим внутри трубы.

Весь городок был как на ладони. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. Им было видно каждое движение осадивших город красных. Сегодня у большевиков большое оживление. В «цейсе» видно движение их частей. Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним виднелись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сичевики укрепились на подступах, окопались. И вскипали ураганным огнем окопы. Все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Он вырастал в сплошной рев, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атак. И, залитые свинцовым ливнем, не выдерживая нечеловеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела.

Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воздух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сичевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полные отчаянной ре-

шимости, большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей позиции — пригородных садов и огородов, петлюровцы третьего полка сичевых стрельцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно, разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы.

Никакая сила не могла удержать Сережу Бруздака в подвале, где собрались его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из прохладного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, пронесся бронеавтомобиль «Сагайдачный». Вслед за ним бежали врассыпную охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор Сережи забежал один из сичевиков. Он с лихорадочной поспешностью сбросил с себя патронташ, шлем и винтовку и, перемахнув через забор, скрылся в огородах. Сережа решил выглянуть на улицу. По дороге к Юго-западному вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе. За ним другой, третий... Сережа видит их: они пригибаются и стреляют на ходу. Не скрываясь, бежит загорелый, с воспаленными глазами китаец, в нижней рубашке, перепоясанный пулеметными лентами, с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив ручной пулемет, мчится совсем еще молодой красноармеец. Это первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал что было сил:

— Да здравствуют товарищи!

От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный вид юноши остановил его.

— Куда Петлюра бежала? — задыхаясь, кричал ему китаец.

Но Сережа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схватил брошенные сичевиком патронташ и винтовку и бросился догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на Юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами, амуницией,

отбросив противника в лес, остановились, чтобы отдохнуть и переформироваться. Юный пулеметчик подошел к Сереже и удивленно спросил:

— Ты откуда, товарищ?

— Я здешний, из городка, я только и ждал, чтобы вы пришли.

Сережу обступили красноармейцы.

— Моя его знает,— радостно улыбался китаец.— Его клицала: «Длавствуй, товалиса!» Его больсевика — наса, молодой, холосая,— добавил он восхищенно, хлопая Сережу по плечу.

А сердце Сережи радостно билось. Его сразу приняли, как своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал.

Городок ожил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам, посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в рядах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Сережу. Он шел без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за плечом.

Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками.

Сережа, ее сын, вмешался в драку. О, это ему даром не пройдет! Подумать только: перед всем городом с винтовкой ходит! А потом что будет?

И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала:

— Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу, мерзавцу. Ты у меня повоюешь! — И она направилась к сыну с намерением остановить его.

Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, сурово взглянул на мать и, заливаясь краской стыда и обиды, отрезал:

— Не кричи! Никуда отсюда я не пойду.— И, не останавливаясь, прошел мимо.

Антонина Васильевна вспыхнула:

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Ну, так не смей после этого домой возвращаться.

— И не вернусь! — не оборачиваясь, крикнул в ответ Сережа.

Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов.

— Не плачь, мамаша! Сынка комиссаром выберем,— раздался чей-то крепкий насмешливый голос.

Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные голоса дружно взмахнули песню:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре — звонкий голос Сережи. Он нашел новую семью. И в ней один штык его, Сережи.

*

На воротах усадьбы Лещинских — белый картон. На нем коротко: «Ревком».

Рядом огневой плакат. Прямо в грудь читающему направлен палец и глаза красноармейца. И подпись:

«Ты вступил в Красную Армию?»

Ночью расклеили работники подива [1] этих немых агитаторов. Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города Шепетовки:

Товарищи! Пролетарскими войсками взят город. Восстановлена Советская власть. Призываем население к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но чтоб они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона. Гражданская власть — революционному комитету.

Предревкома Долинник.

*

В усадьбе Лещинских появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ»!

Долинник забыл и сон и отдых.

Столяр налаживал революционную власть.

---

[1] Политический отдел дивизии. *(Ред.)*

На двери маленькой комнаты дачи — лоскуток бумаги. На нем карандашом: «Партийный комитет». Здесь товарищ Игнатьева, спокойная, выдержанная. Ей и Долиннику поручил подив организацию органов Советской власти.

Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники, стучит пишущая машинка, организован продкомиссариат. Комиссар Тыжицкий — подвижной, нервный. Тыжицкий работал на сахарном заводе помощником механика. С настойчивостью поляка начал он в первые же дни укрепления Советской власти громить аристократические верхушки фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам.

На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер трибуны, бросал он окружающим его рабочим жесткие, непримиримые слова по-польски.

— Кончено,— говорил он,— что было, того уже не будет. Достаточно наши отцы и мы сами целую жизнь пробатрачили на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это ясновельможный граф давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на работе не подохли.

Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть Советская всех их в железный кулак сожмет.

Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь.

Все пролетарии есть братья, но панов-то мы уж прижмем, будьте уверены.— Его рука описывает дугу и вновь обрушивается на барьер трибуны.— А кто нас поделил на народы, кто заставляет проливать кровь братьев? Короли и дворяне с давних веков посылали крестьян польских на турок, и всегда один народ нападал и громил другой — сколько народу уничтожено, каких только несчастий не произошло! И кому это было нужно, нам, что ли? Но вскоре все это закончится. Пришел конец этим гадам. Большевики кинули всему миру страшные для буржуев слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот в чем наше спасение, наша надежда на сча-

стливую жизнь, чтобы рабочий рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в Коммунистическую партию!

Будет и польская республика, только советская, без Потоцких, которых мы изничтожим под корень, а в Польше советской сами хозяевами станем. Кто из вас не знает Броника Пташинского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода. «Кто был ничем, тот станет всем». Будет и у нас праздник, товарищи, не слушайте только этих скрытых змей! И если наше рабочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во всем мире!

Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего простого, рабочего сердца.

Когда он сошел с трибуны, молодежь проводила его сочувственными взглядами. Только старшие боялись высказаться. Кто знает? Может быть, завтра большевики отступят, и тогда придется расплатиться за каждое свое слово. Если не попадешь на виселицу, то уж с завода прогонят наверняка.

Комиссар просвещения — худенький, стройный учитель Чернопысский. Это пока единственный человек среди местного учительства, преданный большевикам. Напротив ревкома разместилась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в ревкоме. Вечером в саду, перед входом, стоит настороженный «максим» со змеей-лентой, уползающей в приемник. Рядом двое с винтовками.

В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает:

— Сколько вам лет, товарищ?

— Пошел семнадцатый.

— Вы здешний?

Красноармеец улыбается.

— Да, я только позавчера во время боя в армию вступил.

Игнатьева всматривается в него.

— Кто ваш отец?

— Помощник машиниста.

В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к нему, говорит:

— Вот я и заправилу в райком комсомола подыскала, он местный.

Долинник окинул быстрым взглядом Сергея.

— Чей?

— А, Захара сын! Что ж, валяй, накручивай ребят.

Сережа удивленно взглянул на них:

— А как же с ротой?

Уже взбегая на ступеньки, Долинник бросил:

— Это мы уладим.

К вечеру второго дня был создан комитет Коммунистического союза молодежи Украины.

Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего. Закрутила в своем водовороте. Сережа забыл семью, хоть она и была где-то совсем близко.

Он, Сережа Брузжак,— большевик. И в десятый раз вытаскивал из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета КП(б)У было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то поверх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре, висел внушительный «манлихер», подарок дорогого Павки. Это убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки!

Сережа целыми днями бегал по поручениям ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию, в подив, где для ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот ревкома с автомашиной.

До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и политотдел первой советской украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов Сережи:

— Что ты сделал по своей отрасли? Создал организацию? Ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг; в общем я тебя познакомлю в подиве с Устинович. Она, кажется, ведет работу среди вашего брата.

Устинович оказалась восемнадцатилетней дивчиной с темными стрижеными волосами, в новенькой гимнастерке цвета хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал от нее очень много нового и получил обещание помогать в работе. На прощанье она нагрузила

его тюком литературы и, особо, маленькой книжечкой — программой и уставом комсомола.

Поздно вечером возвратились в ревком. В саду ожидала Валя. С упреками она набросилась на Сергея:

— Как тебе не стыдно! Ты что, совсем от дома отрекся? Мать из-за тебя каждый день плачет, отец сердится. Скандал будет.

— Ничего, Валя, не будет. Домой мне идти некогда. Честное слово, некогда. И сегодня не приду. А вот с тобой поговорить нужно. Идем ко мне.

Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его словно кто зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Сережа начал сразу, без обиняков:

— Дело такое. Вступай в комсомол. Не понятно? Коммунистический союз молодежи. Я в этом деле за председателя. Не веришь? На вот, почитай!

Валя прочла и смущенно смотрела на брата.

— Что я буду делать в комсомоле?

Сережа развел руками.

— Что? Делать нечего? Милая! Так я же ночами не сплю. Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит: соберем всех в театре и про Советскую власть рассказывать будем, а мне, говорит, речь надо произнести. Я думаю, зря, потому что я, понятно, не знаю, как ее говорить. И завалюсь я, что называется. Ну вот, так и говори: как насчет комсомола?

— Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится.

— Ты на мать не смотри, Валя,— возразил Сережа.— Она не разбирается в этом. Она только смотрит, чтобы ее дети при ней были. Она против Советской власти ничего не имеет. Наоборот, сочувствует. Но чтоб воевали на фронте другие, не ее сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как нам Жухрай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. А теперь нам право вышло жить на свете, как полагается. Что ж, Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы! Ты среди дивчат, а я среди ребят взялся бы. Рыжего чертяку Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по этому делу.

Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от брата, тихо спросила:

— А что будет, если опять придут петлюровцы?

Сережа впервые задумался над этим вопросом.

— Я-то, конечно, уйду со всеми. Но вот с тобой как быть? Мать действительно несчастная будет.— Он замолчал.

— Ты меня запишешь, Сережа, так, чтобы мать не знала и никто не знал, только я да ты. Я помогать буду во всем, так лучше будет.

— Верно, Валя.

В комнату вошла Игнатьева.

— Это моя сестренка, товарищ Игнатьева, Валя. Я с ней разговор имел насчет идеи. Она вполне подходящая, но вот, понимаете, мать у нас серьезная. Можно так ее принять, чтобы об этом никто не знал? Ежели нам, скажем, отступать придется, так я, конечно, за винтовку — и пошел, а ей вот мать жалко.

Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его.

— Хорошо. Так будет лучше.

*

Театр битком набит говорливой молодежью, созванной сюда развешанными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся — гимназисток, гимназистов, учеников высшего начального училища.

Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько спектаклем.

Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился только что приехавший из уезда секретарь укома товарищ Разин.

Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. Он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна, и призывал молодежь объединиться вокруг Коммунистической партии. Он говорил, как настоящий оратор, в его речи было слишком много таких слов, как «ортодоксальные марксисты», «социал-шовинизм» и так да-

лее, которых слушатели, конечно, не поняли. Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Сереже и уехал.

Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. «Что говорить, о чем?» — мучился он, подыскивая слова и не находя их.

Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола:

— Говори об организации ячейки.

Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям:

— Вы уже все слышали, товарищи, теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это?

В зале настала тишина.

Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущенный, стоял в стороне.

Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невнимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов, с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками, переговаривались между собой. В углу, у входа на сцену, находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью смотрел на щегольски одетых Лизу Сухарько и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами.

Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Игнатьевой утихомирила слушателей.

— Товарищи молодежь,— говорила она,— каждый из вас может продумать все то, что он слышал здесь, и я уверена, что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в революцию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы высказались сами. Приглашаем желающих это сделать.

В зале снова водворилась тишина. Но вот с задних рядов раздался голос:

— Я хочу сказать!

И к сцене пробрался похожий на медвежонка, с чуть косыми глазами Миша Левчуков.

— Ежели такое дело, надо большевикам подсоблять, я не отказываюсь. Сережка меня знает. Я записываюсь в комсомол.

Сережа радостно улыбнулся.

— Вот видите, товарищи! — рванулся он сразу на середину сцены.— Я же говорил, вот Мишка — свой парень, потому что у него отец — стрелочник, задавило его вагоном, от этого Мишка образования не получил. Но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил.

В зале послышался шум и выкрики. Слова попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал:

— Я извиняюсь, товарищи. Я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой? А учиться когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это. Извините. Я думаю, на это никто не согласится.

В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул:

— Смеетесь, гады?

Глаза его — как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил:

— Моя фамилия — Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери, беспризорный я был; нищим валялся под заборами. Голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть Советская, меня красноармейцы подобрали. Усыновили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное — понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет: за нас, за бедняков, за рабочую власть. Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом двести товарищей легло, навсегда погибло...— Голос Жаркого зазвенел, как натянутая струна.— Жизнь, не задумываясь, отдали за наше

счастье, за наше дело... По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи,— обернулся он вдруг к столу президиума,— вот к этим,— показал он пальцем на зал,— а разве они поймут? Нет! Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас,— яростно накинулся он на собрание,— просить не будем, на черта сдались нам такие! Таких только пулеметом прошить! — задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу.

Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал:

— Вот какая буза получилась! Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет.

— Нечего удивляться,— прервала его Игнатьева,— пролетарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватели. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи.

Устинович поддержала Игнатьеву:

— Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы проведем целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на станции открывает летний театр. На днях прибудет агитпоезд, и работу развернем вовсю. Помните, Ленин говорил: мы не победим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся.

Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. На прощанье крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась.

Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим.

Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери. Но когда выступил отец, Сережа сам перешел к активным действиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик:

— Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на паровозе часового убили, ты о семье думал? Думал. А все-таки пошел, потому что тебя твоя совесть

рабочая заставила. А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато, если мы победим, то наш верх будет. А дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет на меня кричать.— Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте.

Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы.

— На сознание нажимаешь, шельмец? Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею?

Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку:

— Двигай, Сережка, раз уже на подъеме, тормозить не стану, только ты от нас не отсовывайся, приходи.

*

Ночь. Полоска света от приоткрытой двери лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими, обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом — пятеро. Заседание ревкома. Долинник, Игнатьева, предчека Тимошенко, похожий на киргиза, в кубанке, и двое из ревкома — верзила-железнодорожник Шудик и Остапчук, с приплюснутым носом, деповский.

Долинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатьеву упрямым взглядом, охрипшим голосом выдалбливал слово за словом:

— Фронту нужно снабжение. Рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торгаши и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются. Торгуют или на старые, николаевские, или на керенки. Сегодня же выработаем твердые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твердой цене продавать не станет. Попрячут. Тогда мы произведем обыски и реквизируем у шкуродеров все товары. Тут разводить кисель

нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем. Товарищ Игнатьева предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это, я скажу, у нее интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя: я говорю то, что есть. Притом дело не в мелких торгашах. Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал еще до петлюровцев крупные магазинщики сложили громадные запасы товара.— Он выразительно, с ядовитой насмешкой посмотрел на Тимошенко.

— Откуда ты узнал? — спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долинник все сведения получил раньше его, в то время как об этом прежде всего должен был знать он, Тимошенко.

— Ге-ге! — смеялся Долинник.— Я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю,— продолжал он,— я и про то знаю, что ты вчера полбутылки самогона с шофером начдива выдул.

Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец.

— Ну и хвороба! — выдавил он восхищенно. Но, бросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. «Вот чертов столяр! У него своя Чека»,— думал Тимошенко, смотря на предревкома.

— Узнал я от Сергея Брузжака,— продолжал Долинник.—У него приятель есть, что ли, в буфете работал. Так он от поваров узнал, что их Зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Сережа добыл точные сведения: погреб есть, только надо его найти. Вот ты, Тимошенко, бери ребят, Сережу. Сегодня же чтоб все было найдено! В случае удачи мы снабдим рабочих и опродкомдив [1].

Через полчаса восемь вооруженных вошли в дом трактирщика, двое остались на улице, у входа.

Хозяин, приземистый, толстый, как десятиведерная бочка, заросший рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил:

— В чем дело, товарищи? Почему в такой поздний час?

---

[1] Особая продовольственная комиссия дивизиона. (*Ред.*)

За спиной Зона, накинув халаты, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери. А в соседней комнате, охая, одевалась дородная супруга.

Тимошенко объяснил в двух словах:

— Произведем обыск.

Каждый квадрат пола был обследован. Обширный сарай, заваленный пилеными дровами, кладовые, кухни и вместительный погреб — все подверглось тщательному обследованию. Однако никаких следов потайного погреба не обнаружили.

В маленькой комнатушке, у кухни, крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Сережа осторожно разбудил ее.

— Ты что, здесь служишь? — спросил он заспанную девушку.

Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивленно ответила:

— Служу. А вы кто такие?

Сережа объяснил и ушел, предложив ей одеться.

В просторной столовой Тимошенко расспрашивал хозяина. Трактирщик пыхтел, говорил возбужденно, брызгаясь слюной:

— Что вы хотите? У меня другого погреба нет. Вы напрасно время тратите. Уверяю вас, напрасно. У меня был трактир, но теперь я бедняк. Петлюровцы меня ограбили, чуть не убили. Я очень рад Советской власти, но что у меня есть, то вы видите,— и он растопыривал свои короткие толстые руки. А глаза с кровяными прожилками перебегали с лица предчека на Сережу, с Сережи куда-то в угол и на потолок.

Тимошенко нервно кусал губы.

— Значит, вы продолжаете скрывать? Последний раз предлагаю указать, где находится погреб.

— Ах, что вы, товарищ военный,— вмешалась супруга трактирщика,— мы сами прямо голодаем! У нас все забрали.— Она хотела было заплакать, но у нее ничего не получилось.

— Голодаете, а прислугу держите,— вставил Сережа.

— Ах, какая там прислуга! Просто бедная девушка у нас живет. Ей некуда деваться. Да пусть вам сама Христинка скажет.

— Ладно,— крикнул, теряя терпение, Тимошенко,— приступаем к делу!

На дворе уже был день, а в доме трактирщика все еще шел упорный обыск. Озлобленный неудачей тринадцатичасовых поисков, Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги уже собиравшийся уходить Сережа вдруг услышал тихий шепот девушки:

— Наверное, в кухне, в печи.

Через десять минут, развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя двухтонный грузовик, нагруженный бочками и мешками, отъезжал от дома трактирщика, окруженного толпой зевак.

*

Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паек.

Однажды под вечер быстрее обычного протопал под окном Артем. И, толкая дверь, с порога бросил:

— От Павки известия.

«Дорогой браток Артем,— писал Павка.— Извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнуло меня пулей в бедро, но я поправлюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверно, за свое геройство. Таких людей я еще не видал и большое уважение к комбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощения прошу за беспокойство. Твой брат.

Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо».

Много слез было пролито Марией Яковлевной. А сын непутевый даже адреса не написал, где лежит.

*

Частенько Сережа наведывался на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью «Агитпроп подива». Здесь в маленьком купе работают Устинович и Медведева. Последняя, с неизменной папироской в зубах, лукаво посмеивается уголками губ.

Незаметно сблизился с Устинович секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собою с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи.

Открытый театр подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленатый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью: работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович.

Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники подива, Сережа неожиданно для себя спросил:

— Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? — И добавил: — С тобой так хорошо! После встречи бодрости больше и работать хочется без конца.

Устинович остановилась.

— Вот что, товарищ Бруздак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю.

Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор.

— Я тебе, как другу, сказал,— ответил он,— а ты меня... Что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не буду!

И, быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город.

Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно он был очень занят.

*

Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно выс-

шие служащие сахарного завода, поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы союза пилсудчиков «Стрелец».

На совещание в ревком приехала Устинович. Отведя Сережу в сторону, она спокойно спросила:

— Ты что, в мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Это, товарищ, никуда не годится.

И опять при случае стал забегать Сережа в зеленый вагон.

Был на уездной конференции. Два дня вел жаркие споры. На третий — вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки гонял в заречных лесах банду Зарудного, недобитого петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьевой Устинович. Провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку.

Устинович сердито руку отдернула. И опять долгое время в агитпроповский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой даже тогда, когда надо было. А на ее настойчивое требование объяснить свое поведение с размаху отрубил:

— Что мне с тобой говорить? Опять пришьешь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу.

*

На станцию прибыли эшелоны Кавказской краснознаменной дивизии. В ревком приехали трое смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на Долинника:

— Ты мне ничего не говори. Давай сто подвод сена. Лошадь дохнет.

Сережа был послан с двумя красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сереже попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город комбедовцы.

В село был послан отряд. Сена достали на другой день.

Сережа отлеживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый

раз в этот вечер он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился.

*

В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище. Уходя, бросил:

— Пойду в лес, искупаюсь в озере.

Устинович, отрываясь от работы, задержала:

— Подожди. Пойдем вместе.

У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды.

— Ты иди к выходу на дорогу и подожди. Я буду купаться,— командовала Устинович.

Сережа присел на камне у мостика и подставил лицо солнцу.

За его спиной плескалась вода.

Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах, он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал.

Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него,— видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню:

— На минуточку, товарищ. Я имею письмо, которое отчасти относится и к вам.

Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила:

— Вы больше ничего не знаете о нем?

— Нет,— ответил Сергей.

Сзади под ногами Устинович хрустнула галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал:

— Пойдемте.

Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его:

— Товарищ Чужанин! Вас там в поезде целый день ищут.

Чужанин недружелюбно покосился на нее:

— Ничего. Обойдутся и без меня.

Смотря вслед Тоне и военкому, Устинович сказала:

— Когда только прогонят этого прощелыгу!

Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережу потянуло искупаться.

После купанья он нашел Устинович недалеко от просеки на сваленном дубе.

Пошли, разговаривая, в глубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо. О чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые, заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайный взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся.

— Чего ты?

Сережа показал сапог:

— Как мы в таких сапогах воевать будем?

Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом.

— Чужанин — плохой коммунист,— сказала она наконец.— У нас все политработники в тряпье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии... А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои.— И, помолчав, добавила: — Нам, Сергей, придется действовать и словом и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся.

Сережа слушал ее, с удивлением улавливая в ее голосе какие-то необычные ноты! Ее черные, отсвечивающие влагой глаза были устремлены на него.

Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у нее, как зеркало, в них все видно, но вовремя удержался.

Рита приподнялась на локте.

— Где твой револьвер?

Сергей огорченно пощупал пустой пояс.

— На селе кулацкая шайка отобрала.

Рита засунула руку в карман гимнастерки и вынула блестящий браунинг.

— Видишь тот дуб, Сергей? — указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол, шагах в двадцати пяти от них. И, вскинув руку на уровень глаз, почти не целясь, выстрелила. Посыпалась отбитая кора.

— Видишь? — удовлетворенно проговорила она и снова выстрелила. Опять зашуршала о траву кора.

— На,— передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо,— посмотрим, как ты стреляешь.

Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась.

— Я думала, у тебя будет хуже.

Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки вырисовывалась ее упругая грудь.

— Сергей, иди сюда,— проговорила она тихо.

Он придвинулся к ней.

— Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые — это что-то чересчур нежное.

И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы.

*

Прошло два месяца. Наступала осень.

Ночь подобралась незаметно, окутав в черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь «морзе», подхватывал ленту, узенькой змейкой выползавшую из-под пальцев.

Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире:

Начштадиву 1-й копия предревкома города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через десять часов после получения настоящей телеграммы. Городе оставить батальон, которому влиться распоряжение командира N-ского полка, командующего боевым участком. Штадиву, подиву, всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести начдиву.

Подпись.

Через десять минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом ацетиленового фонаря, мотоциклет. Пыхтя, остановился у ворот ревкома. Мотоци-

клист передал телеграмму предревкома Долиннику. И забегали люди. Выстраивалась особая рота. Час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны.

Сережа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом.

— Товарищ, можно с вами на станцию? — спросил он шофера.

— Садись сзади, только держись крепче.

Шагах в десяти от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал:

— Прощай, Рита, товарищ мой дорогой! Мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня.— Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли жал ее руки.

*

Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда, и за станцию по обе стороны путей залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе.

Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал свернутые листочки и тихонько катил по дороге.

Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками, с десятком красноармейцев занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков.

Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, еще не одетый, выглянул в раскрытую дверь:

— Что случилось?

Указывая на идущих с винтовками наперевес красноармейцев, Автоном Петрович подмигнул приятелю:

— Уходят.

Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него:

— Вы не знаете, у поляков какие знаки?

— Кажется, орел одноглавый.

— Где же достать?

Автоном Петрович озлобленно почесал затылок.

— Им ничего,— сказал он после некоторого раздумья,— взяли и ушли. А ты здесь голову ломай, как к новой власти прилаживаться.

Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз, и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудие. Завывая, со стоном, высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, молча отходили нахмуренные красноармейские цепи.

У Сережи легким холодком катилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел.

Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его — на курке винтовки. Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли:

— Преследовать наших будут, особенно моих. «Поляк,— скажут,— а против польских легионов пошел». Выгонят старика с лесопилки и всыпят ему плетей. Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее! — И Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем.

...Прощай, родной городишко, неказистый, грязный, с некрасивыми домиками, корявым шоссе! Прощайте, близкие, прощай, Валя, прощайте, товарищи, ушедшие в подполье! Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белополяцкие легионы.

Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазутом рубашках.

— Мы еще придем, товарищи! — взволнованно крикнул Сережа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Смутно поблескивает река в предрассветной дымке; журчит по прибрежным камешкам-голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется непо-

движной, а цвет ее серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная, видно глазу, движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное «Чуден Днепр...». Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега.

У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у тупоносого «максимки». Это передовой секрет 7-й стрелковой дивизии. У пулемета, лицом к реке, прилег на боку Сережа Бруздак.

Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились.

Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. 7-я дивизия героически пробивалась сквозь окружения, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев.

Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны.

Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы.

Но продвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками.

Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне.

Вчера, в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой; вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг — и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону.

Поляк упал.

Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он будет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут.

За плечо трогает Парамонов:

— Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят.

*

Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадке. Возмужал, окреп. Вырастал в страданиях и невзгодах.

Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки.

Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана.

Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном феврале двадцатого заметался в липком, жарком тифу.

Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть.

Сейчас полк занимал позицию у станции Фронтовки, на ветке, отходящей от Казатина на Умань.

Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела Фронтовка за это время!

Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар.

С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й Конной армии. Четвертая, шестая, одиннадцатая и четырнадцатая кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды,— шестнадцать с половиной тысяч сабель, шестнадцать с половиной тысяч опаленных степным зноем бойцов.

Все внимание высшего красного командования и командования Юго-западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб республики и фронтов.

На уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта — Харькову, отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали «морзянки» шифрованные приказы: «Не дать привлечь внимание поляков к группировке Конной армии». Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии буденновской конницы.

Шевелится рыжими лохмами костер. Бурыми кольцами, спиралью вверх уходит дым. Не любит дыма мошкара, носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица.

У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки. В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув:

— Тьфу, черт!

Вокруг засмеялись.

Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке, с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дуло винтовки, пробасил:

— Вот парень в науку ударился — и огня не чует.

— Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал.

Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался.

— Действительно, книжка — что называется, товарищ Андрощук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу.

Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил:

— А про кого там пишут? — И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: — Очень интересуюсь, ежели про любовь.

Кругом загоготали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щуря плутоватый глаз, обратился к юноше:

— Что ж, любовь — вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка! От тебя, куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дехвект у тебя, нос — пятачком. Да это исправить можно. На край носа десятифунтовку Новицкого[1] подвесить, за ночь оттянет книзу.

От хохота испуганно всхрапнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади.

Середа лениво повернулся.

— Не в красоте дело, а в котелке,— выразительно стукнул он себя по лбу.— Вот язык у тебя крапивяной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные.

Готовых сцепиться товарищей розняли отделенный Татаринов.

— Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что стоящее.

— Сыпь, Павлушка, сыпь! — раздалось со всех сторон.

---

[1] Ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов, для разрыва проволочных заграждений.

Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку.

— Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать.

— Жарь! Чего там! Никто мешать не будет.

Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел одиннадцать пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца.

Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу:

— Вот половина разведки полка. У меня там четверо, совсем зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вон тот, другой — видишь? — глаза, как у волчонка,— это Корчагин и Жаркий. Они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано — «молодая гвардия».

— Это политрук разведки читает?— спросил комиссар.

— Нет. Политрук Крамер.

Пузыревский двинул лошадь вперед.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул он громко.

Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим.

— Греемся, друзья? — спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими узенькими глазами потеряло суровость.

Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше.

Пузыревский, откинув назад кобуру с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил:

— Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся.

Закурив папироску, он обратился к комиссару:

— Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать.

Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил:

— Читай дальше, я тоже послушаю.

Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя.

Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овода.

Пузыревский, дымя цигаркой, ожидал обмена мнений.

— Тяжелая история,— прервал молчание Середа.— Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается.

Он говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление.

Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул:

— Попался бы мне ксендз, что ему крестом в зубы залезал, я б его, проклятого, сразу прикончил!

Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес:

— Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.

Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал:

— А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе, глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под седлами.

Ну, мы, понятное дело, думаем: застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворик кинулись. Впереди с маузерищем прет командир роты ихней, латышской.

До дому дорвались, дверь открыта. Мы — туда. Думали — поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы,— говорит,— к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернется, так я пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберешь: «Кровью знамя крашено, а эти — позор всей армии. Бандит смертью платит».

Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.

Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.

— Замотается меж нас такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду,— закончил он, принимаясь за чай.

Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувший Середа. Спал, положив голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер.

На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай:

— Слушай, политрук, как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте.

Крамер посмотрел на него с удивлением.

— Как это перемахнуть? Что тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела!

— Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера.— Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл.

Крамер категорически запротестовал:

— А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии, это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит — точка.

Высокий тонкий Крамер, с желтоватым лицом, закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких, часто горел на щеках его нездоровый румянец.

Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо:

— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт.

На другой день вечером Павла у костра уже не было.

*

В соседней деревушке, на бугорке, у школы, в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденновец. И она у него рявкала, сби-

ваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гопака разудалый кавалерист в необъятных красных галифе.

На тачанку и соседние плетни влезли любопытные дивчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров из только что вступившей в их село кавалерийской бригады.

— Жми, Топтало! Дави землю. Эх, жарь, братишка! Гармонист, давай огня!

Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго подвигались по клавишам.

— Срубал Махно Кулябку Афанасия,— с сожалением сказал загорелый кавалерист,— гармонист первой статьи был. Правофланговым в эскадроне шел. Жаль парня. Хороший был боец, а гармонист лучший.

В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руку на мехи. Гармонь смолкла.

— Что тебе? — скосил глаз гармонист.

Топтало остановился. Кругом раздались недовольные голоса:

— Чего там? Что застопорил?

Павел протянул к ремню руку:

— Дай, наверну маленько.

Буденновец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень.

Павел привычным жестом вскинул гармонь на колено. Веером вывернул волнистые мехи и рванул с переборами, с перехватами во весь гармоний дух:

Эх, яблочко,
Куда котишься?
В Губчека попадешь,
Не воротишься.

На лету подхватил знакомый мотив Топтало. И, взмахнув руками, словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухарски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью по подошве и, наконец, по раскрытому рту.

А гармонь подхлестывала, подгоняла в буйном, хмельном ритме, и Топтало завертелся, словно волчок по кругу, выкидывая ноги, задыхаясь:

— Их, ах, их, ах!

*

Пятого июня 1920 года после нескольких коротких ожесточенных схваток 1-я Конная армия Буденного прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого, и двинулась по направлению Ружин.

Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. Пять бронированных гусениц-танков, только что снятых с платформы станции Погребище, спешили к месту схватки.

Но Конная армия обошла Зарудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий.

По пятам 1-й Конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл 1-й Конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков — Казатин. Но это не облегчило положения белополяков. Хотя на другой день они и зашили дыру, пробитую на фронте, и за Конной армией сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков путей отступления.

Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии,— на самом деле там был даже штаб фронта,— командарм Конной решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры — Житомир и Бердичев. Седьмого июня на рассвете на Житомир уже мчалась четвертая кавалерийская дивизия.

В одном из эскадронов на месте погибшего Кулябко правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в

эскадрон по коллективной просьбе бойцов, не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста.

Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель.

Застонала земля, задышали кони, привстали на стремена бойцы.

Быстро-быстро бежала под ногами земля. И большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, «даешь!» потрясло воздух.

Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен.

Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом на вороном тонконогом коне — Топтало.

На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденновец не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера.

Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг на перекрестке — пулемет, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый, с золотым жгутом змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с маузером.

Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина... Мимо... Воробьем чиркнула пуля у щеки, и, отброшенный грудью лошади, поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь.

В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша, пулемет. И упал Топтало вместе с вороным, ужаленный десятком шмелей.

Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенес седока через упавших, прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки.

Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову. Но горячий конь отпрянул в сторону.

Словно бешеная горная река, вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе.

*

Длинные узкие коридоры тюрьмы огласились криками.

В камерах, до отказа наполненных людьми с измученными, изможденными лицами, волнение. В городе бой — разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои?

Выстрелы уже во дворе. По коридорам бегут люди. И вдруг родное, непередаваемо родное: «Товарищи, выходи!»

Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз. Яростно ударил по замку прикладом. Еще и еще!

— Подожди, я в него бонбой,— остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату.

Взводный Цыгарченко вырвал гранату.

— Стоп, психа, что ты, очумел? Сейчас ключи принесут. Где нельзя взломать, ключами откроем.

По коридору уже вели сторожей, подталкивая их наганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми.

Распахнув широкую дверь, Павел вбежал в камеру.

— Товарищи, вы свободны! Мы — буденновцы, наша дивизия взяла город.

Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала.

Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение пяти тысяч семидесяти одного большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и двух тысяч политработников Красной Армии. Для семи тысяч революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня.

Один из заключенных, с желтым, как лимонная корка, лицом, радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки.

*

Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой траге-

дии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла.

— Забрали нас ночью всех сразу, выдал негодяй-провокатор. Очутились все мы в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других: после первых же ударов свалился замертво на пол, но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг.

Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель! Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих: Валю Бруздпак, Розу Грицман из уездного города, совсем девочка, семнадцати лет, хорошая дивчина, глаза у нее доверчивые такие были, потом Сашу Буншафта, знаешь, наш же наборщик, веселый такой парнишка, он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он, потом двое гимназистов — Новосельский и Тужиц. Ну, ты этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано двадцать девять человек, среди них шесть женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались, гады, как кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка.

В ее сумасшествие не верили, считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие, безумные — старуха.

Валя Бруздпак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов... Бруздпак была замешана в самом опасном: это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба, и ее посылали в уезд для связи, и у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб.

Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но раз ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил: Валю и двух других — к повешению, остальных товарищей — к расстрелу.

Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили за два дня раньше нас.

Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурко, который до войны работал электромонтером в Лодзи, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через двадцать четыре часа после приговора.

Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинение в измене родине. «Мое отечество,— сказал он,— это Польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши, солдатом меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я, солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет,— я в этом глубоко уверен,— никто меня изменником не назовет».

После приговора нас всех уже держали вместе. А перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы; у самого леса, немного поодаль, у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела; там и общий ров вырыли для нас.

В городе приговор был вывешен, всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе, днем, чтобы всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства,— хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же, у тюрьмы, поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили, конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли тут же, у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное

в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов, из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь, настойчиво требовал от сестер: «Не надо слез, товарищи! Плачьте здесь, чтобы не плакать там. Нечего собак кровавых радовать. Все равно нам пощады не будет, все равно погибать приходится, так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползает на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо».

И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки,— садист, бешеная собака. Он если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. И стояли эти «канарики», как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо.

Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы, по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей, а потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая. На ней три петли из толстой крученой веревки, подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется. Все глаза на нас устремлены. Узнаем своих.

На крыльце, поодаль, собралась польская шляхта с биноклями, офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут.

Снег под ногами мягкий, лес от него седой, деревья словно ватой обсыпаны, снежинки кружатся, опускаются медленно, на лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует, а Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках.

У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине, сил у нее идти не было, товарищи поддерживали, а она прямо идти старается, помня Степанова сло-

ва: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке.

Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу нагайкой конный жандарм.

Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумном, рвалась сквозь цепь к идущим, но ее схватили, уволокли куда-то. Наверно, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса — с такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела «Варшавянку»; ее товарищи тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; их били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы:

Вставай, проклятьем заклейменный...

К нам кинулись со всех сторон; я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задергались в петлях...

Нам, десяти, уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью — двадцатилетней каторгой. Остальных шестнадцать расстреляли.

Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил.

— Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали: «На четвертый день оборвался товарищ Тобольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же».

Но виселица стояла все время. И когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв.

Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен.

В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела, безмолвно покачивающихся, со страшными, запрокинутыми набок головами.

На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал:

— Пойдем отсюда, Самуил!

По улице, оцепленные кавалерией, шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ.

— Возьмите, товарищ Антипов,— передал он записку коренастому комэскадрона.— Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новоград-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за двадцать от города — и пусть катятся. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было.

Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу:

— Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей! Где взять силы?

Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя:

— За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые!

И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком:

«Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна».

— Ни одного пятна,— шепчут губы Павла.

*

В то время, когда четвертая кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Окуниново форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова.

Группе, состоявшей из двадцать пятой стрелковой дивизии и Башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев—Коростень у станции Ирша. Этим маневром отрезался единственный путь отступления полякам из Киева. Здесь при переправе погиб член шепетовской комсомольской организации Миша Левчуков.

Когда бежали по шаткому понтону, оттуда, из-за горы, злобно шипя, пролетел над головами снаряд и рванул воду в клочья. И в тот же миг юркнул под лодку понтона Миша. Глотнула его вода, назад не отдала, только белобрысый, в фуражке с оторванным козырьком красноармеец Якименко удивленно вскрикнул:

— Чи ты не сгоришь? То це ж Мишка пид воду пишов, пропав хлопец, як корова злызнула! — Он было остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади на него набежали, затолкали.

— Чего рот разинул, дурень? Пошел вперед!

Некогда было раздумывать о товарище. Бригада и так отстала от других, уже занявших правый берег.

И о гибели Миши Сережа узнал спустя четыре дня, когда бригада с боем захватила станцию Буча и, поворачиваясь фронтом к Киеву, выдерживала ожесточенные атаки поляков, пытавшихся прорваться на Коростень.

В цепи рядом с Сережей залег Якименко. Прекратив бешеную стрельбу, с трудом открыл затвор раскаленной винтовки и, пригибая голову к земле, повернулся к Сереже:

— Винтовка передышки требует, як огонь!

Сергей едва расслышал его за грохотом выстрелов. Когда немного утихло, Якименко как-то вскользь сообщил:

— А твой товарищ утонул в Днепре. Я и недосмотрел, як вин нырнув в воду,— закончил он свою речь и, потрогав рукой затвор, вынув из подсумка обойму, стал деловито заправлять ее в магазинную коробку.

*

Одиннадцатая дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточенное сопротивление поляков.

На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу коннице, строчили пулеметы. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снаря-

дов — огневой базы польского фронта. В городе стекла сыпались мелким щебнем, и дома, как картонные, дрожали от взрывов.

Удар по Житомиру и Бердичеву был для поляков ударом с тыла, и они двумя потоками поспешно отхлынули от Киева, отчаянно пробивая себе дорогу из железного кольца.

Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада.

А события мчались с ураганной быстротой. Каждый день приносил новое.

Конная лавина буденновцев, не переставая, наносила удар за ударом, исковеркав и изломав весь польский тыл. Напоенные хмелем побед, со страстной яростью кидались кавалерийские дивизии в атаки на Новоград-Волынский — сердце польского тыла.

Откатываясь назад, как волна от крутого берега, отходили и снова бросались вперед со страшным: «Даешь!»

Ничто не помогло полякам: ни сети проволочных заграждений, ни отчаянное сопротивление гарнизона, засевшего в городе. Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, буденновцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению местечка Корец. В это же время сорок пятая дивизия Якира перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любар.

Радиостанция 1-й Конной принимала приказ командующего фронтом направить всю конницу на захват Ровно. Непреодолимое наступление красных дивизий гнало поляков разрозненными, деморализованными, ищущими спасенья группами.

Однажды, посланный комбригом на станцию, где стоял бронепоезд, Павел встретился с тем, с кем встретиться никак не ожидал. Конь с разбегу взял насыпь. Павел натянул поводья у переднего вагона, закрашенного серым цветом. Грозный своей неприступностью, с черными жерлами орудий, запрятанных в башни, стоял бронепо-

езд. Возле него возилось несколько замасленных фигур, приподымая тяжелую стальную завесу у колес.

— Где можно найти командира бронепоезда?—спросил Павел красноармейца в кожанке, несущего ведро с водой.

— Вот там,— махнул тот рукой к паровозу.

Останавливаясь у паровоза, Корчагин спросил:

— Кто командир?

Затянутый в кожу с головы до ног человек с рябинкой оспы на лице повернулся к нему.

— Я!

Павел вытащил из кармана пакет.

— Вот приказ комбрига. Распишитесь на конверте.

Командир, прилаживая на колене конверт, расписывался. У среднего паровозного колеса возилась с масленкой чья-то фигура. Павел видел лишь широкую спину, из кармана кожаных брюк торчала рукоятка нагана.

— Вот, получи расписку,— протянул Павлу конверт человек в кожаном.

Павел подбирал поводья, готовясь к отъезду. Человек у паровоза выпрямился во весь рост и обернулся. В ту же минуту Павел соскочил с лошади, словно его ветром сдуло.

— Артем, братишка!

Весь измазанный в мазуте машинист быстро поставил масленку и схватил в медвежьи объятия молодого красноармейца.

— Павка! Мерзавец! Ведь это же ты! — крикнул он, не веря своим глазам.

Командир бронепоезда с удивлением смотрел на эту сцену. Красноармейцы-артиллеристы рассмеялись:

— Видишь, братки встретились.

*

Девятнадцатого августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже срезались эскадроны с польскими цепями. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича:

— Начдива убили!

Павел вздрогнул. Погиб Летунов, героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла.

Полоснув тупым концом сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в самую гущу схватки.

— Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили!—И сослепу не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров.

Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея; рвала воздух, брызгая смертью, шрапнель.

Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок.

Как соломинку, вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю.

И сразу наступила ночь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

У спрута глаз выпуклый, с кошачью голову, тускло-красный, середина зеленая, горит-переливается живым светом. Спрут копошится десятками щупалец; они, словно клубок змей, извиваются, отвратительно шурша чешуей кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самых глаз. Щупальца поползли по телу, они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя его кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухающее туловище спрута. А жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль.

Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса:

— Какой у него сейчас пульс?

И еще тише отвечает другой голос, женский:

— Пульс у него сто тридцать восемь. Температура тридцать девять и пять. Все время бред.

Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять. Отчего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди:

— Пульс сейчас сто двадцать два.

Он пытается открыть веки. А внутри огонь. Душно.

Пить, как хочется пить! Он сейчас встанет, напьется. Но почему он не встает? Только хотел шевельнуться, но тело чужое, непослушное, не его тело. Мать сейчас принесет воды. Он ей скажет: «Я хочу воды». Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он, вот красный цвет его глаза...

Издали слышится тихий голос:

— Фрося, принесите воды!

«Чье это имя?» — силится вспомнить Павел, но от усилия погружается в темноту. Выплыл оттуда и снова вспомнил: «Хочу пить».

Слышит голоса:

— Он, кажется, приходит в себя.

И уже отчетливее, ближе нежный голос:

— Вы хотите пить, больной?

«Неужели я больной, или это не мне говорят? Да ведь я болею тифом, вот оно что». И в третий раз пытается открыть веки. Наконец удается. В узкую щель открывшегося глаза первое, что ощутил,— это красный шар над головой, но его закрывает что-то темное; это темное нагибается к нему, и губы ощущают твердый край стакана и влагу, живительную влагу. Огонь внутри потухает.

Прошептал удовлетворенно:

— Вот теперь хорошо.

— Больной, вы меня видите?

Это спрашивает то темное, стоящее над ним, и, уже засыпая, все же успел ответить:

— Не вижу, а слышу...

— Кто бы мог сказать, что он выживет? А он, смотрите, выцарапался в жизнь. Удивительно крепкий организм. Вы, Нина Владимировна, можете гордиться. Вы его буквально выходили.

И голос женский, волнуясь:

— О, я очень рада!

После тринадцатидневного беспамятства к Корчагину возвратилось сознание.

Молодое тело не захотело умереть, и силы медленно приливали к нему. Это было второе рождение, все казалось новым, необычным. Только голова тяжестью непреодолимой лежала неподвижно в гипсовой коробке, и не было сил сдвинуть ее с места. Но вернулось ощущение тела, и уже сжимались и разжимались пальцы рук.

*

Нина Владимировна, младший врач клинического военного госпиталя, за маленьким столиком в своей квадратной комнате перелистывала толстую, в сиреневой обложке тетрадь. В ней мелким, с наклоном почерком были нанесены короткие записи:

«26 августа 1920 года

Сегодня к нам из санитарного поезда привезли группу тяжелораненых. На койку в углу у окна положили красноармейца с разбитой головой. Ему лишь семнадцать лет. Мне передали пачку его документов, найденных в карманах, положенных в конверт вместе с врачебными записями. Его фамилия Корчагин, Павел Андреевич. Там были: затрепанный билетик № 967 Коммунистического союза молодежи Украины, изорванная красноармейская книжка и выписка из приказа по полку. В ней говорилось, что красноармейцу Корчагину за боевое выполнение разведки объявляется благодарность. И записка, сделанная, видно, рукою хозяина:

«Прошу товарищей в случае моей смерти написать моим родным: город Шепетовка, депо, слесарю Артему Корчагину».

Раненый в беспамятстве с момента удара осколком, с 19 августа. Завтра его будет смотреть Анатолий Степанович.

27 августа

Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока, пробита черепная коробка, от этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние. Глаз вздулся.

Анатолий Степанович хотел глаз вынуть, чтобы избежать воспаления, но я уговорила его не делать этого, пока есть надежда на уменьшение опухоли. Он согласился.

Мною руководило исключительно эстетическое чувство. Если юноша выживет, зачем его уродовать, вынимая глаз.

Раненый все время бредит, мечется, около него приходится постоянно дежурить. Я отдаю ему много времени. Мне очень жаль его юность, и я хочу отвоевать ее у смерти, если мне удастся.

Вчера я пробыла несколько часов в палате после смены; он самый тяжелый. Вслушиваюсь в его бред. Иногда он бредит, словно рассказывает. Я узнаю многое из его жизни, но иногда он жутко ругается. Брань эта ужасна. Мне почему-то больно слышать от него такие страшные ругательства. Анатолий Степанович говорит, что он не выживет. Старик бурчит сердито: «Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию? Это возмутительно».

30 августа

Корчагин все еще в сознание не пришел. Он лежит в особой палате, там лежат умирающие. Около него, почти не отходя, сидит санитарка Фрося. Она, оказывается, знает его. Они когда-то давно работали вместе. С каким теплым вниманием она относится к этому больному! Теперь и я чувствую, что его положение безнадежно.

2 сентября

Одиннадцать часов вечера. Сегодня у меня замечательный день. Мой больной, Корчагин, пришел в себя, ожил. Перевал пройден. Последние два дня я не уходила домой.

Сейчас не могу передать своей радости, что спасен еще один. В нашей палате одной смертью меньше. В моей изнуряющей работе самое радостное — это выздоровление больных. Они привязываются ко мне, как дети.

Их дружба искренна и проста, и когда расстаемся, иногда даже плачу. Это немного смешно, но это правда.

10 сентября

Я написала сегодня первое письмо Корчагина к родным. Он пишет, что легко ранен, скоро выздоровеет и приедет; он потерял много крови, бледен, как вата, еще очень слаб.

14 сентября

Корчагин первый раз улыбнулся. Улыбка у него хорошая. Обычно он не по годам суров. Поправляется с поразительной быстротой. С Фросей они друзья. Я ее часто вижу у его постели. Она ему, видно, рассказала обо мне, конечно, перехвалила, и больной встречает мой приход чуть заметной улыбкой. Вчера он спросил:

— Что это у вас, доктор, на руке черные пятна?

Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда.

17 сентября

Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки.

Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и, когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается, как струна. Часто теряет сознание, но вообще, за весь период ни одного стона.

Уже все знают: если Корчагин стонет, значит, потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю.

21 сентября

Корчагина на коляске вывезли первый раз на большой балкон госпиталя. Каким глазом он смотрел в сад, с какой жадностью дышал свежим воздухом! В его окутанной марлей голове открыт лишь один глаз. Этот глаз, блестящий, подвижной, смотрел на мир, как будто первый раз его видел.

26 сентября

Сегодня меня вызвали вниз в приемную, там меня встретили две девушки. Одна из них очень красивая.

Они просили свидания с Корчагиным. Их фамилии: Тоня Туманова и Татьяна Бурановская. Имя Тони мне известно. Его иногда в бреду повторял Корчагин. Я разрешила свидание.

8 октября

Корчагин первый раз самостоятельно гуляет по саду. Он неоднократно спрашивал у меня, когда может выписаться. Я ответила, что скоро. Обе подруги приходят к больному каждый приемный день. Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил:

— Читайте роман «Овод», тогда узнаете.

14 октября

Корчагин выписался. Мы с ним расстались очень тепло. Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный. Мне было очень грустно расставаться с этим хорошим товарищем.

Так всегда: вылечиваются и уходят от нас, чтобы, возможно, больше не встретиться. Прощаясь, сказал:

— Лучше бы ослеп левый,— как же я стрелять теперь буду?

Он еще думает о фронте».

*

Первое время после лазарета Павел жил у Бурановского, где остановилась Тоня.

Он сразу сделал попытку втянуть Тоню в общую работу. Пригласил ее на городское собрание комсомола. Тоня согласилась, но когда она вышла из комнаты, где одевалась, Павел закусил губы. Она была одета очень изящно, нарочито изысканно, и он не решался вести ее к своей братве.

Тогда же произошло первое столкновение. На его вопрос, зачем она так оделась, она обиделась:

— Я никогда не подлаживаюсь под общий тон; если тебе неудобно со мною идти, то я останусь.

Тогда же в клубе ему было тяжело видеть ее расфранченной среди выцветших гимнастерок и кофточек.

Ребята приняли Тоню, как чужую. Она, чувствуя это, смотрела на всех презрительно и вызывающе.

Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал:

— Это ты, что ль, привел эту кралю сюда?

— Да, я,— жестко ответил ему Корчагин.

— М-да...— протянул Панкратов.— Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как ее пропустили сюда?

У Павла застучало в висках.

— Это мой товарищ, и я ее привел сюда. Понимаешь? Она человек нам не враждебный, только вот у нее насчет нарядов — так это правда, но ведь не всегда по одежде ярлык надо припаивать. Я тоже понимаю, кого сюда привести можно, и нацеливаться, товарищ, нечего.

Он хотел сказать еще что-то грубое, но сдержался, понимая, что Панкратов высказывает общее мнение, и все свое возмущение перенес на Тоню.

«Я же ей говорил! Какому черту нужен этот форс?»

Этот вечер был началом развала дружбы. С чувством горечи и удивления следил Павел, как ломается, казалось, так крепко сколоченная дружба.

Прошло еще несколько дней, и каждая встреча, каждая беседа вносила все большее отчуждение и глухую неприязнь в их отношения. Дешевый индивидуализм Тони становился непереносимым Павлу.

Необходимость разрыва была ясна обоим.

Сегодня они пришли оба в застланный умершими бурыми листьями Купеческий сад, чтобы сказать друг другу последнее слово. Стояли у балюстрады над обрывом; внизу серой массой воды поблескивал Днепр; против течения, из-за громадины моста полз буксирный пароход, устало шлепая по воде крыльями колес, таща за собой две пузатые баржи. Заходящее солнце красило золотыми мазками Труханов остров и ярким полымем стекла домиков.

Тоня смотрела на золотые лучи и проговорила с глубокой грустью:

— Неужели наша дружба угаснет, как угасает сейчас солнце?

Он смотрел на нее не отрываясь; крепко сдвинув брови, тихо ответил:

— Тоня, мы уже говорили об этом. Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил и сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким.

Тоня с тоской глядела на синеву реки, и глаза ее наполнились слезами.

Павел смотрел на ее знакомый профиль, на густые каштановые волосы, и к сердцу прилила волна жалости к девушке, когда-то такой дорогой и близкой.

Он осторожно положил свою руку на ее плечо.

— Бросай все, что тебя вяжет. Идем к нам. Будем вместе добивать господ. У нас есть много девушек хороших, вместе с нами они несут всю тяжесть борьбы ожесточенной, вместе с нами переносят все лишения. Они, может, не такие образованные, как ты, но почему, почему ты не хочешь быть с нами? Ты говоришь, что тебя Чужанин силком взять хотел, но это же выродок, а не боец. Говоришь, встретили тебя недружелюбно, а зачем же ты оделась, словно на буржуйский бал? Гордость зашибла: не буду, мол, подлаживаться под грязные гимнастерки. У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь. Мне жаль с тобой расстаться, и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо.

Он замолчал.

На другой день на улице Павел увидел приказ за подписью председателя губернской ЧК Жухрая. Сердце у него дрогнуло. Насилу добился он до матроса — не пускали. Такую «волынку» завел, что часовые арестовать собрались. Все же добился.

Встретились с Федором хорошо. Руку у Федора отбил снаряд. Тут же сговорились о работе.

— Будем с тобой контру здесь душить, пока на фронт у тебя сил нет. Завтра же и приходи,— сказал Жухрай.

*

Борьба с белополяками закончилась. Красные армии, бывшие почти у стен Варшавы, израсходовав все матери-

альные и физические силы, оторванные от своих баз, не могли взять последнего рубежа, отошли обратно. Случилось «чудо на Висле», как поляки называют отход красных от Варшавы. Белопанская Польша осталась жить. Мечту о Польской советской социалистической республике пока не удалось осуществить.

Страна, залитая кровью, требовала передышки.

Павлу не пришлось увидеться со своими, так как городок Шепетовка опять был занят белополяками и стал временной границей фронта. Шли мирные переговоры. Дни и ночи Павел проводил в Чрезвычайной комиссии, выполняя разные поручения. Жил он в комнате Федора. Узнав о занятии городка поляками, Павел загрустил.

— Что же, Федор, значит, мать за границей останется, если перемирие на этом закончится?

Но Федор его успокаивал:

— Наверное, граница через Горынь по реке пойдет. Так что город за нами останется. Скоро узнаем.

С польского фронта на юг перебрасывались дивизии. Пользуясь передышкой, из Крыма выполз Врангель. И в то время, когда республика напрягала все силы на польском фронте, врангелевцы продвинулись с юга на север, вдоль Днепра, пробираясь к Екатеринославской губернии.

Для ликвидации этого последнего контрреволюционного гнезда, пользуясь окончанием войны с поляками, страна бросила на Крым свои армии.

Через Киев на юг проходили эшелоны, груженные людьми, повозками, кухнями, орудиями. В участковой транспортной ЧК шла лихорадочная работа. Весь этот поток составов создавал «пробки», и тогда вокзалы забивались до отказа, и движение срывалось, так как не было ни одного свободного пути. А аппараты выбрасывали полосочки лент с ультимативными телеграммами. В них приказывалось освободить путь для такой-то дивизии. Ползли бесконечные полосочки, крапленные черточками ленты, и в каждой из них было «вне всякой очереди... в порядке боевого приказа... немедленно освободить путь...». И почти в каждой из них упоминалось, что за неисполнение виновные будут преданы суду революционного военного трибунала.

А ответственной за «пробки» была УТЧК [1].

Сюда врывались, размахивая наганом, командиры частей, требуя немедленного продвижения их эшелонов вперед согласно вот такой-то телеграмме командарма, за номером таким-то.

Никто из них не хотел слушать, что этого сделать невозможно. «Душа вон, а пропускай вперед!» И начиналась страшная ругань. В особо сложных случаях срочно вызывали Жухрая. И тогда готовые перестрелять друг друга, разгоряченные люди утихали.

Железная фигура Жухрая, холодно-спокойная, и голос тугой, не допускающий возражений, заставляли засовывать в кобуры вынутые наганы.

Выбирался Павел на перрон из комнаты с колючей болью в голове. Разрушающе действовала на нервы чекистская работа.

Однажды на поездной платформе, наполненной зарядными ящиками, Павел увидел Сережу. Бруззжак свалился на него с платформы, чуть не сшиб на землю и крепко тискал в объятиях:

— Павка! Чертяка, я тебя сразу узнал.

Друзья не знали, о чем спрашивать друг друга, о чем рассказывать. Ведь так много было пережито за это время. Спрашивали и, не дожидаясь ответа, отвечали сами. И не заметили гудков. Лишь когда медленно поползли вагоны, разорвали объятия.

Что было делать? Встреча прервалась, поезд все прибавлял ход. И, чтобы не отстать, Сережа, последний раз крикнув что-то другу, побежал по перрону, цепляясь за открытую дверь теплушки; его подхватили несколько рук, втянули внутрь. А Павел стоял и смотрел вслед и только теперь вспомнил, что Сережа не знает о гибели Вали. Сережа ведь не был в родном городе. А он, Павел, ему этого не сказал, ошеломленный встречей.

«Пусть едет спокойно, хорошо, что не знает»,— думал Павел. Он не знал, что видит друга в последний раз. Не знал и Сергей, стоя на крыше вагона, подставляя под напор осеннего ветра грудь, что движется навстречу смерти.

---

[1] Участковая транспортная чрезвычайная комиссия. *(Ред.)*

— Сядь, Сережа,— уговаривал его Дорошенко, красноармеец с прогорелой на спине шинелью.

— Ничего, мы с ветром друзья. Пусть продувает,— отвечал, смеясь, Сережа.

И через неделю погиб в первом бою в осенней украинской степи.

Издалека примчалась слепая пуля.

Вздрогнул от удара. Шагнул навстречу жгучей боли, разорвавшей грудь, покачнулся, не закричал, обнял воздух, горячо прижал к груди руки и, наклонившись, будто готовился к прыжку, ударился оземь очугуневшим телом, и в степную безгрань устремились недвижно голубые глаза его.

*

Нервная обстановка работы в ЧК сказалась на неокрепшем здоровье Павла. Участились контузионные боли, и, наконец, после двух бессонных ночей он потерял сознание.

Тогда он обратился к Жухраю:

— Как ты думаешь, Федор, будет ли правильно, если я перейду на другую работу? У меня большое желание идти в главные мастерские, по своей профессии, а то я чувствую, что у меня гайка здесь слаба. Мне в комиссии сказали, что я к военной службе не пригоден. Но тут хуже фронта. Вот эти два дня, когда ликвидировали банду Сутыря, меня совсем подрезали. Я должен отдохнуть от перестрелок. Ты, Федор, понимаешь, что из меня плохой чекист, если я на ногах едва держусь.

Жухрай озабоченно посмотрел на Павла:

— Да, выглядишь ты неважно. Надо было еще раньше тебя освободить, но это я виноват, за работой недосмотрел.

В результате этого разговора Павел очутился в губкомоле [1] с бумажкой, в которой значилось, что он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета.

Вертлявый мальчишка в озорно надвинутой на нос кепке, стрельнув глазами по бумажке, весело подмигнул Павлу:

[1] Губернский комитет молодежи. *(Ред.)*

— Из Чека? Приятное учреждение. Пожалуйста, мы тебе работенку в два счета смастерим. У нас на ребят голодуха. Куда тебя? В губпродком[1] хочешь? Нет? Не надо. На пристаня в агитбазу поедешь? Нет? Ну, напрасно. Хорошее местечко, ударный паек.

Павел перебил паренька:

— Я на железную дорогу, в главные мастерские хочу.

Тот удивленно посмотрел на него:

— В главные мастерские? Гм... там у нас людей не требуется. В общем, иди к Устинович. Она тебя куда-нибудь пристроит.

После короткой беседы со смуглой дивчиной было решено: Павел идет секретарем комсомольского коллектива в мастерские без отрыва от производства.

*

А в это время у ворот Крыма, в узеньком горлышке полуострова, у старинных рубежей, отделявших когда-то крымских татар от запорожских куреней, стояла обновленная и страшная своими укреплениями белогвардейская твердыня — Перекоп.

За Перекопом, в Крыму, чувствуя себя в полной безопасности, захлебывался в винной гари загнанный сюда со всех концов страны обреченный на гибель старый мир.

И осенней, промозглой ночью десятки тысяч сынов трудового народа вошли в холодную воду пролива, чтобы в ночь пройти Сиваш и ударить в спину врага, зарывшегося в укреплениях. В числе тысяч шел и Жаркий Иван, бережно неся на голове свой пулемет.

И когда с рассветом вскипел в безумной лихорадке Перекоп, когда прямо в лоб через заграждения ринулись тысячи, в тылу у белых, на Литовском полуострове, взбирались на берег первые колонны перешедших Сиваш. И одним из первых, выползших на кремнистый берег, был Жаркий.

Загорелся невиданный по жестокости бой. Конница белых кидалась в диком, зверином порыве на людей, вы-

---

[1] Губернский продовольственный комитет. *(Ред.)*

ползавших из воды. Пулемет Жаркого брызгал смертью, ни разу не останавливая свой бег. И ложились груды людей и лошадей под свинцовым дождем. С лихорадочной быстротой вставлял Жаркий все новые и новые диски.

Перекоп клокотал сотнями орудий. Казалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть, и, бороздя с диким визгом небо, метались, неся смерть, тысячи снарядов, рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая, израненная, вскидывалась вверх, черными глыбами застилая солнце.

Голова гадины была раздавлена, и в Крым хлынул красный поток, хлынули страшные в своем последнем ударе дивизии 1-й Конной. Охваченные судорожным страхом, белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристаней пароходы.

Республика прикрепляла к истрепанным гимнастеркам, там, где стучит сердце, золотые кружочки орденов Красного Знамени, среди них была гимнастерка пулеметчика-комсомольца Жаркого Ивана.

*

Мир с поляками был заключен, и городок, как надеялся Жухрай, остался за Советской Украиной. Границей стала река в тридцати пяти километрах от города. В декабре 1920 года памятным утром подъезжал Павел к знакомым местам.

Вышел на запорошенный снегом перрон, мельком взглянул на вывеску «Шепетовка 1-я», свернул сразу влево, в депо. Спросил Артема, но слесаря не было. Запахнул плотнее шинель, быстро пошел через лес в городок.

Мария Яковлевна обернулась на стук в дверь, приглашая войти. И когда в дверь просунулся засыпанный снегом, узнала родное лицо сына, схватилась руками за сердце, не могла говорить от радости неизмеримой.

Прижалась всем худеньким телом к груди сына и, осыпая бесчисленными поцелуями его лицо, плакала счастливыми слезами.

А Павел, обнимая ее, смотрел на измученное тоской и ожиданием лицо матери с бороздками морщинок и ничего не говорил, ожидая, пока она успокоится.

Счастье опять заблестело в глазах измученной женщины, и мать все эти дни не могла наговориться, насмотреться на сына, увидеть которого она уже и не чаяла. Радость ее была безгранична, когда дня через три, ночью, в комнатушку ввалился и Артем с походной сумкой за плечами.

В маленькую квартирку Корчагиных возвращались ее обитатели. После тяжелых испытаний и невзгод сошлись братья, уцелев от гибели...

— Что же вы делать теперь будете? — спрашивала Мария Яковлевна сыновей.

— Опять за подшипники примемся, мамаша,— ответил Артем.

А Павел, пробыв две недели дома, уезжал обратно в Киев, где его ждала работа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Полночь. Уже давно проволок свое разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник. Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную часть комнаты. В углу на столе — кружок света из-под абажура настольной лампы.

Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью — своим дневником.

«24 мая» — начеркал острый кончик ее карандаша.

«Я опять пытаюсь записать свои впечатления. Опять пустое место. Полтора месяца прошло, и не записано ни слова. Приходится согласиться с этим обрывком.

Когда же находить время для дневника? Вот сейчас ночь, а я пишу. Убегает сон. Уезжает на работу в ЦК товарищ Сегал. Это известие всех нас огорчило. Прекрасная личность наш Лазарь Александрович. Только теперь понимаю, каким богатством была для всех нас дружба с ним. Конечно, с отъездом Сегала развалится кружок диамата. Вчера были до поздней ночи у него, проверяли достижения наших «подшефных». Пришел секретарь губкомола Аким, противный завучетом Туфта. Не терплю этого всезнайку! Сегал сиял. Его ученик Корчагин блестяще срезал Туфту по истории партии. Да, эти два месяца не пропали даром. Не жалко сил, если они дают такие результаты. По слухам, Жухрай переходит на работу в Особый отдел военного округа. Почему это, не знаю.

Лазарь Александрович передал мне своего ученика.

— Довершайте начатое,— сказал он,— не останавливайтесь на полдороге. И вам, Рита, и ему есть чему друг у друга поучиться. Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководом. Желаю вам успеха. Не забывайте писать мне в Москву,— говорил мне Сегал на прощание.

Сегодня из ЦК прислали нового секретаря Соломенского райкома, Жаркого. Я его знаю по армии.

Завтра Дмитрий приведет Корчагина. Опишу Дубаву. Среднего роста. Сильный, мускулистый. В комсомоле он с восемнадцатого, в партии с двадцатого. Это один из трех исключенных из губкомола за принадлежность к «рабочей оппозиции». Учеба с ним была нелегкая. Каждый день он срывал план, засыпая меня вопросами, отвлекая от темы. Между Юреневой, моей второй ученицей, и Дубавой были частые размолвки. В первый же вечер, оглядев Ольгу с ног до головы, он заметил:

— У тебя неполное обмундирование, старуха. Нужны штаны с кожей, шпоры, буденовка и шашка, а то ни рыба ни мясо.

Ольга не осталась в долгу, и мне пришлось разнимать. Дубава, кажется, друг Корчагина. На сегодня довольно. Спать».

*

Зной истомил землю. Накалило до обжога железные перила надвокзального моста. На мост поднимались вялые, изнемогающие от жары люди. Это не были пассажиры. По мосту шли преимущественно из железнодорожного района в город.

С верхней ступени Павел увидел Риту. Она пришла к поезду раньше его и смотрела на сходящих вниз людей.

Шагах в трех сбоку от Устинович Корчагин остановился. Она не замечала его. Павел рассматривал ее с каким-то странным любопытством. Рита была в полосатой блузке, в синей недлинной юбке из простой ткани, куртка мягкого хрома была переброшена через плечо. Шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо. Она стояла, слегка запрокинув голову и щурясь от яркого света.

В первый раз Корчагин смотрел на своего друга и учителя такими глазами, и в первый раз ему пришла в голову мысль, что Рита не только член бюро губкома, а... И, поймав себя на таких «грешных» мыслях, раздосадованный, окликнул ее:

— Я уже целый час смотрю на тебя, а ты меня не видишь. Пора идти, поезд уже стоит.

Они подошли к служебному проходу на перрон.

Вчера губком назначил Риту своим представителем на одну из уездных конференций. В помощь ей дали Корчагина. Сегодня им необходимо сесть в поезд, что было далеко не легкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятерки, без пропуска посадкома никто не имел права выйти на перрон. Все подступы и выходы занимал заградительный отряд комиссии. Поезд, до отказа набитый людьми, мог увезти лишь десятую долю стремившихся уехать. Никто не желал оставаться, ждать днями случайного поезда. Тысячи людей штурмовали проходы, пытаясь прорваться к недоступным зеленым вагонам. Вокзал в те дни переживал настоящую осаду, и дело иногда доходило до рукопашной.

Павел и Рита тщетно пытались пройти на перрон.

Зная все ходы и выходы, Павел провел свою спутницу через багажную. С трудом пробрались они к вагону № 4. У дверей вагона, сдерживая густую толпу, стоял распаренный жарой чекист, повторяя в сотый раз:

— Говорю вам, вагон переполнен, а на буфера и крышу, согласно приказу, никого не пустим.

На него напирали взбешенные люди, тыча в нос билетами посадкома, выданными на четвертый номер. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном. Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо, иначе срывалась конференция.

Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.

— Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата.

Павел взял у нее кожанку, надел, переложил в карман куртки свой наган, нарочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумку с припасами у ног Риты, по-

шел к вагону. Бесцеремонно растолкав пассажиров, взялся рукой за поручень.

— Эй, товарищ, куда?

Павел оглянулся на коренастого чекиста.

— Я из Особого отдела округа. Вот сейчас проверим, все ли у вас погружены с билетами посадкома,— сказал Павел тоном, не допускавшим сомнения в его полномочиях.

Чекист посмотрел на его карман, вытер рукавом пот со лба и сказал безразличным тоном:

— Что ж, проверяй, если влезешь.

Работая руками, плечами и кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, подтягиваясь на руках, хватаясь за верхние полки, осыпаемый градом ругани, Павел все же пробрался в середину вагона.

— Куда тебя черт несет, будь ты трижды проклят!— кричала на него жирная тетка, когда он, спускаясь сверху, ступил ногой на ее колено. Тетка втиснулась своей семипудовой махиной на край нижней полки, держа между ног бидон для масла. Такие бидоны, ящики, мешки и корзины стояли на всех полках. В вагоне нельзя было продохнуть.

На ругань тетки Павел ответил вопросом:

— Ваш посадочный билет, гражданка?

— Чиво? — окрысилась та на незваного контролера.

С самой верхней полки свесилась чья-то «блатная» башка и загудела контрабасом:

— Васька, что это за фрукт явился сюда? Дай ему путевку на «евбаз» [1].

Прямо над головой Корчагина появилось то, что, повидимому, было Васькой. Здоровенный парень с волосатой грудью уставился на Корчагина бычьими глазищами.

— Чего к женщине пристал? Какой тебе билет?

С боковой полки свешивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично щелкая семечки. Здесь, видно, ехала спетая компания матерых мешочников, видавших виды железнодорожных мародеров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту.

---

[1] «Евбаз» — «Еврейский базар», известный в Киеве рынок. *(Ред.)*.

— Чей это ящик? — спросил он пожилого железнодорожника, указывая на деревянную коробку у окна.

— Да вон той девахи,— показал тот на толстые ноги в коричневых чулках.

Надо было открыть окно. Ящик мешал. Положить его было некуда. Взяв ящик на руки, Павел подал его хозяйке, сидевшей на верхней полке.

— Подержите, гражданка, минутку, я открою окно.

— Ты что чужие вещи трогаешь! — заверещала плосконосая деваха, когда он на ее колени поставил ящик.

— Мотька, чтой-то за гражданин шум подымает? — обратилась она за помощью к своему соседу. Тот, не слезая с полки, толкнул Павла в спину ногой, одетой в сандалию.

— Эй ты, плешь водяная! Смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил.

Павел молча снес пинок в спину. Закусив губу, открывал окно.

— Товарищ, отодвинься маленько,—попросил он железнодорожника.

Освобождая место, отодвинул чей-то бидон и встал вплотную к окну. Рита была у вагона, быстро подала ему сумку. Бросив сумку на колени тетки с бидоном, Павел нагнулся вниз и, захватив руки Риты, потянул ее к себе. Не успел красноармеец заградотряда заметить это нарушение правил и воспрепятствовать ему, как Рита была уже в вагоне. Неповоротливому красноармейцу ничего не оставалось, как выругаться и отойти от окна. Появление Риты в вагоне всей мешочной компанией было встречено таким галдежом, что Рита смутилась и затревожилась. Ей негде было встать, и она стояла на краешке нижней полки, держась за поручень верхней. Со всех сторон неслась ругань. Сверху контрабас изрыгнул:

— Вот гад, сам влез и девку за собой тащит!

А кто-то невидимый сверху пискнул:

— Мотька, засвети ему промеж глаз!

Деваха норовила деревянный ящик поставить на голову Корчагина. Кругом были чужие, похабные лица. Павел пожалел, что Рита здесь, но надо было как-то устраиваться.

— Гражданин, забери свои мешки с прохода, здесь товарищ станет,— обратился он к тому, кого звали

Мотькой, но в ответ получил такую циничную фразу, от которой весь вскипел. Над правой бровью часто и больно закололо.

— Подожди, подлец, ты мне еще ответишь за это,— едва сдерживаясь, сказал он хулигану, но тут же получил удар сверху ногой по голове.

— Васька, ставь ему еще фитиля! — улюлюкали со всех сторон.

Все, что долго сдерживал в себе Павел, прорвалось наружу, и, как всегда в такие моменты, стали стремительны и жестки движения.

— Что же вы, гадье спекулянтское, издеваться думаете? — Подымаясь на руках, как на пружинах, Павел выбрался на вторую полку и с силой ударил кулаком по наглой роже Мотьки. Ударил с такой силой, что спекулянт свалился в проход на чьи-то головы.

— Слезайте с полки, гады, а то перестреляю, как собак! — бешено кричал Корчагин, размахивая наганом перед носами четверки.

Дело оборачивалось совсем по-другому. Рита внимательно наблюдала за всем, готовая стрелять в каждого, кто попытался бы схватить Корчагина. Верхняя полка быстро была очищена. «Блатная» башка поспешно эвакуировалась в соседнее отделение вагона.

Усадив Риту на свободной полке, он шепнул ей:

— Ты сиди здесь, а я разделаюсь с этими.

Рита остановила его:

— Неужели ты еще будешь драться?

— Нет, я сейчас вернусь,— успокоил он.

Окно опять было открыто, и Павел через него выбрался на перрон. Несколько минут спустя он уже был у стола перед УТЧК Бурмейстером — старым своим начальником. Латыш, выслушав его, отдал распоряжение выгрузить весь вагон, проверить у всех документы.

— Я же говорил, поезда подаются к посадке уже с мешочниками,— ворчал Бурмейстер.

Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел по старой привычке помогал проверять весь поезд. Уйдя из ЧК, он не порвал связи со своими друзьями, а в бытность секретарем молодежного коллектива послал на работу в УТЧК немало лучших комсомольцев. Окончив проверку, Павел вернулся к Рите. Ва-

гон наполнили новые пассажиры — командированные и красноармейцы.

На третьем ярусе в углу оставалось лишь место для Риты, все остальное было завалено тюками газет.

— Ничего, как-нибудь поместимся,— сказала Рита.

Поезд двинулся.

За окном проплыла тетка, восседавшая на ворохе мешков.

— Манька, где мой бидон? — донесся ее крик.

Сидя в узеньком пространстве, отгороженные тюками от соседей, Рита и Павел уписывали за обе щеки хлеб с яблоками, весело вспоминая недавний не совсем веселый эпизод.

Медленно полз поезд. Перегруженные, расхлябанные вагоны, скрипя и потрескивая сухими кузовами, вздрагивали на стыках. Вечер глянул в вагон густой синевой. За ним ночь затянула чернотой открытые окна. Темно в вагоне.

Рита, утомленная, задремала, положив голову на сумку. Павел сидел на краю полки, свесив ноги, и курил. Он тоже устал, но негде было прилечь. Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила огонек папироски Павла. «Он так до утра просидеть может. Ясно, не хочет меня стеснять»,— подумала Рита.

— Товарищ Корчагин! Отбросьте буржуазные условности, ложитесь-ка вы отдыхать,— шутливо сказала она.

Павел лег рядом с ней и с наслаждением вытянул затекшие ноги.

— Завтра нам работы уйма. Спи, забияка.— Ее рука доверчиво обняла друга, и у самой щеки он почувствовал прикосновение ее волос.

Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое ровное дыхание, где-то совсем близко ее губы. От близости родилось непреодолимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание.

Рита, как бы угадывая его чувства, в темноте улыбнулась. Она уже пережила и радость страсти и ужас потери. Двум большевикам отдала она свою любовь. И обо-

их забрали у нее белогвардейские пули. Один — мужественный великан, комбриг, другой — юноша с ясными глазами.

Скоро перестук колес убаюкал Павла. Лишь утром его разбудил рев паровоза.

*

Поздно стала возвращаться в свою комнату Рита. В редко открываемой тетради появилось еще несколько коротких записей:

«11 августа

Закончили губконференцию. Аким, Михайло и другие уехали в Харьков на всеукраинскую. На меня свалилась вся техника. Дубава и Павел получили мандаты в губком [1]. С тех пор как Дмитрия послали секретарем Печерского райкомола [2], он не приходит больше вечерами на учебу. Завалили его работой. Павел еще пытается заниматься, но то у меня нет времени, то его ушлют куда-нибудь. В связи с обостренным положением на желдороге у них постоянная мобилизация. Жаркий был вчера у меня, недоволен, что мы забрали у него ребят, говорит, что они ему самому до зарезу нужны.

23 августа

Сегодня иду по коридору, смотрю — стоят у двери управления делами Панкратов, Корчагин и еще незнакомый. Подхожу. Слышу — Павел рассказывает: «Да там такие типы сидят — пули не жалко. «Вы,— говорит,— не имеете права вмешиваться в наши распоряжения. Здесь хозяин Желлеском, а не какой-то комсомол». А морда, братишки, у него... Вот где позасели паразиты!..» И я услыхала отборную матерщину. Панкратов, заметив меня, толкнул Павла. Тот обернулся и, увидев меня, побледнел. Не смотря мне в глаза, сейчас же ушел. Я его теперь у себя долго не увижу. Он ведь знает, что я никому не прощаю ругань.

---

[1] Губернский исполнительный комитет партии. (*Ред.*)

[2] Районный комитет молодежи (комсомола). (*Ред.*)

27 августа

Было закрытое бюро. Положение осложняется. Не могу пока полностью все записать — нельзя. Аким приехал из уезда хмурый. Вчера у Тетерева опять пустили под откос продмаршрут. Кажется, брошу записывать, все как-то клочками. Жду Корчагина. Видела его — создают с Жарким коммуну из пяти».

*

Днем в мастерских Павла вызвали к телефону. Рита сообщила о свободном вечере и о незаконченной проработке темы: причины разгрома Парижской коммуны.

Вечером, подходя к подъезду дома на Кругло-Университетской, Павел посмотрел вверх. Окно Риты освещено. Взбежал по лестнице, как всегда, стукнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел.

На кровати, на которую никто из ребят не имел права даже присесть, лежал мужчина в военном. Револьвер, походная сумка и фуражка со звездой лежали на столе. Рядом с ним, крепко обняв его, сидела Рита. Они о чем-то оживленно разговаривали... Рита повернула к Павлу свое радостное лицо.

Освобождаясь от объятий, военный встал.

— Знакомьтесь,— сказала Рита, здороваясь с Павлом,— это...

— Давид Устинович,— простецки сказал за нее военный, крепко сжимая руку Корчагина.

— Свалился, как снег на голову,— смеялась Рита.

Холодное было рукопожатие Корчагина. Метнулась кремневой искрой в глазах несказанная обида. Успел заметить на рукаве Давида четыре квадрата.

Рита хотела говорить — Корчагин перебил ее:

— Я забежал тебе сказать, что сегодня работаю по разгрузке дров на пристанях. Чтобы не ждала... А у тебя, кстати, гость. Ну, я пошел, ребята внизу ждут.

Павел исчез за дверью так же внезапно, как и появился. Простучали на лестнице быстрые шаги. Глухо внизу стукнула дверь. Стихло.

— С ним что-то неладное,— неуверенно ответила Рита на недоумевающий взгляд Давида.

...Внизу, под мостом, глубоко вздохнул паровоз, выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввысь и погас в дыму.

Прислонясь к перилам, Павел смотрел на мерцание разноцветных огней сигнальных фонариков на стрелках. Зажмурил глаза.

«Все же непонятно, товарищ Корчагин, почему вам так больно оттого, что у Риты оказался муж? Разве когда-нибудь она говорила, что его нет? Ну, а если даже говорила, что из этого? Почему это вдруг так заело? А вы же считали, товарищ дорогой, что, кроме идейной дружбы, ничего нет... Как же это вы просмотрели? А? — иронически допрашивал себя Корчагин.— А что, если это не муж? Давид Устинович может быть и брат и дядька... Тогда ты, чудила, зря на человека освирепел. Такая же ты, видно, сволочь, как любой мужик. Насчет брата это узнать можно. Допустим, это брат или дядя, так что же ты ей скажешь об этом самом? Нет, ты не пойдешь к ней больше!»

Мысли оборвал рев гудка.

«Поздно, пора домой, хватит муру разводить».

*

На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный район) пятеро создали маленькую коммуну. Это были — Жаркий, Павел, веселый белокурый чех Клавичек, Окунев Николай — секретарь деповской комсы, Степа Артюхин — агент железнодорожной ЧК, недавно еще котельщик среднего ремонта.

Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на четвертый день, украшенная портретом Петровского и огромной картой, сияла комната еще не тронутой белизной.

Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитых картоном,— это стулья. Ящик побольше — шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать Клавичека. Снесли сюда

свое имущество. Хозяйственный Клавичек составил опись всего добра коммуны и хотел прибить ее на стенке, но после дружного протеста отказался от этого. Все стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посылки — все делилось поровну. Личной собственностью осталось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Клавичек настояли на добавлении: и выселяется.

На открытие коммуны собрался весь актив районной комсы. В соседнем дворе был одолжен здоровенный самоварище, и на чай ухлопали весь запас сахарина, а покончив с самоваром, грянули хором:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный...

Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачовая повязка чуть сбита набок, глаза — как у озорного мальчишки. Близко в них всматриваться никому еще не удавалось. Смеется заразительно Таля Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит эта картонажница на мир с восемнадцатой ступеньки. Взлетает вверх ее рука, и запев, как сигнал фанфары:

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом —
Над миром наше знамя реет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем...

Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой голосов.

⁂

Жаркий протянул руку к телефону.

— Потише, ребята, ничего не слышно! — крикнул он голосистой комсе, набившейся в комнату отсекра.

Голоса сбавили на два тона.

— Я слушаю. А, это ты! Да, да, сейчас. Повестка? Все та же — доставка дров с пристаней. Что? Нет, никуда не послан. Здесь. Позвать? Ладно.

Жаркий поманил пальцем Корчагина.

— Тебя товарищ Устинович.— И передал ему трубку.

— Я думала, что тебя нет. У меня вечер не занят случайно. Приходи. Брат проездом заехал, мы с ним два года не виделись.

Брат!

Павел не слушал ее слов. Вспомнились и тот вечер и то, о чем решил тогда же ночью на мосту. Да, надо пойти к ней сегодня и сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней?

Голос в трубке:

— Ты что, не слышишь меня?

— Нет, нет, я слушаю. Хорошо. Да, после бюро.

Положил трубку.

*

Он прямо смотрел в ее глаза и, сжимая дубовый край стола, сказал:

— Я, наверное, не смогу дальше приходить к тебе.

Сказал и увидел, как вскинулись густые ресницы. Карандаш ее остановил свой бег по листу и неподвижно лег на развернутой тетради.

— Почему?

— Все труднее становится выкраивать часы. Сама знаешь, дни пошли у нас тяжеловатые. Жаль, но приходится отложить...

Прислушался к последним словам и почувствовал их нетвердость.

«Для чего вертишь мельницу? Не находишь, значит, мужества ударить по сердцу кулаком!»

И Павел настойчиво продолжал:

— Кроме этого, давно хотел тебе сказать, плохо я тебя понимаю. Вот когда с Сегалом занимался, у меня в голове все задерживалось, а с тобой у меня никак не выходит. От тебя каждый раз к Токареву ходил, чтобы разобраться. Коробка моя не варит. Тебе надо взять когонибудь помозговитей.

И отвернулся от ее внимательного взгляда.

Закрывая для себя возврат к девушке, упрямо договорил:

— И вот выходит, что нам с тобой нельзя время зря тратить.

Встал, осторожно отодвинул ногой стул и посмотрел сверху вниз на склоненную голову, на побледневшее в свете лампы лицо. Надел фуражку.

— Что же, прощай, товарищ Рита. Жаль, что я тебе столько дней голову морочил. Надо было сразу сказать. Это уж моя вина.

Рита механически подала ему руку и, ошеломленная его неожиданной холодностью, смогла лишь произнести:

— Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла подойти к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее.

Тяжело переступали ноги. Без стука прикрыл дверь. У подъезда задержался — можно еще вернуться, рассказать... Для чего? Для того, чтобы получить в лицо удар презрительным словом и опять очутиться здесь, у подъезда? Нет!

*

В тупиках росли кладбища расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер вихрил мелкие опилки на пустых дровяных складах.

А вокруг города, по лесным тропам, по глубоким балкам хищной рысью ходила банда Орлика. Днями отсиживалась она в окрестных хуторах, в лесных богатых пасеках, а ночью выползала на пути, разрывала их когтистой лапой и, совершив страшную работу, уползала в свое убежище.

И часто рушились под откос стальные кони. Разбивались в щепки коробки-вагоны, плющило в лепешку сонных людей, и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно.

Налетала банда на тихие волостные местечки. Испуганно кудахча, разбегались с улицы куры. Хлопал шальной выстрел. Трещала, словно сухой хворост под ногами, недолгая перестрелка у белого домика волсовета. Бандиты метались по деревне на сытых конях и рубили схваченных людей. Рубили с присвистом, как колют дрова. Редко стреляли — берегли патроны.

Так же быстро исчезали, как и появлялись. Везде имела банда свои глаза, свои уши. Сверлили эти глаза белый волсоветский домик, подсматривали за ним из по-

повского двора и из добротной кулацкой хаты. И туда, в лесные заросли, тянулись невидимые нити. Туда текли патроны, куски свежей свинины, бутылки сизоватого «первача» и еще то, что передавалось тихо на ухо меньшим атаманам, а затем, через сложнейшую сеть,— самому Орлику.

Банда имела всего две-три сотни головорезов, но поймать банду не удавалось. Разбиваясь на несколько частей, банда оперировала в двух-трех уездах сразу. Нащупать всех нельзя было. Бандит ночью — днем мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, подкладывая корм коню, и с ухмылкой посасывал свою люльку у ворот, провожая мутным взглядом кавалерийские разъезды.

Потеряв покой и сон, носился стремительно со своим полком по трем уездам Александр Пузыревский. Неутомимый в своем упорстве преследования, настигал он иногда бандитский хвост.

А через месяц оттянул свои шайки Орлик из двух уездов. Заметался в узком кольце.

*

Жизнь в городе плелась обыденным ходом. На пяти базарах копошились в гомоне людские скопища. Властвовали здесь два стремления: одно — содрать побольше, другое — дать поменьше. Тут орудовало во всю ширь своих сил и способностей разнокалиберное жулье. Как блохи, сновали сотни юрких людишек с глазами, в которых можно было прочесть все, кроме совести. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся городская нечисть в едином стремлении «облапошить» серенького новичка. Редкие поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей. Весь этот люд направлялся к базарам.

Вечером пустели базары, и одичалыми казались торговые переулки, черные ряды рундуков и лавок.

Не всякий смельчак рискнет ночью углубиться в этот мертвый квартал, где за каждой будкой — немая угроза. И нередко ночью ударит, словно молотком по жести, револьверный выстрел, захлебнется кровью чья-то глотка. А пока сюда доберется горсть милиционеров с соседних постов (в одиночку не ходили), то, кроме скорченного трупа, уже никого не найти. Шпана невесть где от

«мокрого» места, а поднятый шум сдунул ветром всех ночных обитателей базарного квартала. Тут же напротив — кино «Орион». Улица и тротуар в электрическом свете. Толпятся люди.

А в зале трещал киноаппарат. На экране убивали друг друга неудачливые любовники, и диким воем отвечали зрители на обрыв картины. В центре и на окраинах жизнь, казалось, не выходила из проложенного русла, и даже там, где был мозг революционной власти — в губкоме,— все шло обычным чередом. Но это было лишь внешнее спокойствие.

В городе назревала буря.

О ее приближении знали многие из тех, кто входил в город со всех концов, плохо пряча строевую винтовку под мужицкой «свиткой». Знали и те, кто под видом мешочников приезжал на крышах поездов и держал путь не на базар, а нес мешки до записанных в своей памяти улиц и домов.

Если эти знали, то рабочие кварталы, даже большевики, не знали о приближении грозы.

Было в городе лишь пять большевиков, знавших все эти приготовления.

Остатки петлюровщины, загнанные Красной Армией в белую Польшу, в тесном сотрудничестве с иностранными миссиями в Варшаве готовились принять участие в предполагаемом восстании.

Из остатков петлюровских полков тайно формировалась рейдовая группа.

В Шепетовке центральный повстанческий комитет тоже имел свою организацию. В нее вошло сорок семь человек, из коих большинство — активные контрреволюционеры в прошлом, доверчиво оставленные местной ЧК на свободе.

Руководили организацией поп Василий, прапорщик Винник, петлюровский офицер Кузьменко. А поповны, брат и отец Винника и затершийся в деловоды исполкома Самотыя вели разведку.

В ночь восстания решено было забросать пограничный Особый отдел ручными гранатами, выпустить арестованных и, если удастся, захватить вокзал.

В большом городе — центре будущего восстания — в глубочайшей конспирации шло сосредоточение офицер-

ских сил, а в пригородные леса стягивались бандитские шайки. Отсюда рассылались проверенные «зубры» в Румынию и к самому Петлюре.

*

Матрос в Особом отделе округа не засыпал ни на минуту уже шестую ночь. Он был одним из тех большевиков, которые знали все. Федор Жухрай переживал ощущение человека, выследившего хищника, уже готового к прыжку.

Нельзя крикнуть, поднять тревогу. Кровожадная тварь должна быть убита. Лишь тогда возможен спокойный труд, без оглядки на каждый куст. Зверя нельзя спугнуть. Тут, в этой смертельной борьбе, дает победу лишь выдержка бойца и твердость его руки.

Наступали сроки.

Где-то здесь, в городе, в лабиринте явок и конспирации, решили: завтра ночью.

Те пятеро большевиков, что знали, предупредили. Нет, сегодня ночью.

Вечером из депо тихо, без гудков, вышел бронепоезд, и так же тихо закрылись за ним деповские огромные ворота.

Прямые провода спешили передать шифрованные телеграммы, и везде, куда прилетали они, забывая про сон, сторожевые республики обезвреживали осиные гнезда.

Жаркого вызвал к телефону Аким.

— Ячейковые собрания обеспечены? Да? Хорошо. Сам сейчас приезжай с секретарем райкомпарта на совещание. Вопрос с дровами хуже, чем мы думали. Приедешь — поговорим.— слушал Жаркий твердую скороговорку Акима.

— Ну, мы все скоро на дровах помешаемся,— проворчал он, кладя трубку.

Оба секретаря вышли из автомобиля, на котором их примчал Литке. Поднявшись на второй этаж, они сразу поняли, что дело не в дровах.

На столе управделами стоял «максим», около него возились пулеметчики из ЧОН [1]. В коридорах — молчаливые часовые из горактива партии и комсомола. За

[1] Части особого назначения. *(Ред.)*

широкой дверью кабинета секретаря губкома заканчивалось экстренное заседание бюро губкома партии.

Через форточку с улицы шли провода к двум полевым телефонам.

Приглушенный разговор. Жаркий нашел в комнате Акима, Риту и Михайлу. Не сразу узнал Школенко в длиннополой шинели под поясом с портупеей и кобурой нагана. Рита, как когда-то в свою бытность политруком роты,— в красноармейском шлеме, в защитной юбке, поверх кожанки ремень к тяжелому маузеру.

— Как это все понимать надо? — с удивлением спросил ее Жаркий.

— Опытная тревога, Ваня. Сейчас поедем к вам в район. Сбор по тревоге в пятой пехотной школе. Прямо с ячейковых собраний ребята двигаются туда. Главное— это проделать незаметно,— рассказывала Рита Жаркому.

Тихо в «кадетской» роще.

Высокие молчаливые дубы — столетние великаны. Спящий пруд в покрове лопухов и водяной крапивы, широкие запущенные аллеи. Среди рощи, за высокой белой стеной — этажи кадетского корпуса. Сейчас здесь пятая пехотная школа краскомов. Глубокий вечер. Верхний этаж не освещен. Внешне здесь все спокойно. Всякий, проходя мимо, подумает, что за этой стеной спят. Но тогда зачем открыты чугунные ворота и что это, похожее на две громадные лягушки у ворот? Но люди, шедшие сюда с разных концов железнодорожного района, знали, что в школе не могут спать, раз поднята ночная тревога. Сюда шли прямо с ячейковых собраний, после краткого извещения, шли, не разговаривая, в одиночку и парами, но не больше трех человек, в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку.

В актовом зале уже много людей. Здесь светло. Окна завешены брезентовыми палатками. Собранные здесь большевики, подшучивая над этими условностями тревоги, спокойно раскуривали козьи ножки. Никто никакой тревоги не ощущал. Просто так собирают, на всякий случай, чтобы чувствовалась дисциплина частей особого назначения. Но опытные фронтовики, входя во двор шко-

лы, чувствовали что-то не совсем похожее на условную тревогу. Очень уж тихо делалось все. Молча строились под полушепот команды взводы курсантов. На руках выносились пулеметы, и снаружи ни одного огонька во всех корпусах.

— Что-нибудь серьезное ожидается, Митяй?— тихо спросил Корчагин, подходя к Дубаве.

Митяй сидел на подоконнике рядом с незнакомой девушкой. Корчагин мельком видел ее третьего дня у Жаркого.

Дубава шутливо похлопал Павла по плечу.

— Что, сердце в пятки ушло, говоришь? Ничего, мы вас научим воевать. Ты что, с ней незнаком? — кивнул он на девушку.— Зовут Анной, фамилии не знаю, а чин ее — заведующая агитационной базой.

Девушка, слушая шутливое представление Дубавы, рассматривала Корчагина. Поправила выбившийся из-под сиреневой повязки виток волос.

С глазами Корчагина встретилась—несколько секунд длилось немое состязание. Глаза ее, иссиня-черные, вызывающе искрились. Пушистые ресницы. Павел отвел взгляд на Дубаву. Почувствовав, что краснеет, недовольно нахмурился.

— Кто же кого из вас агитирует? — силясь улыбнуться, спросил Павел.

В зале послышался шум. Михайло Школенко, взобравшись на стул, крикнул:

— Коммунары первой роты, строиться в этом зале! Быстрее, быстрее, товарищи!

В зал входили Жухрай, предгубисполкома [1] и Аким. Они только что приехали.

Зал набит людьми, построенными в ряды.

Предгубисполкома стал на площадку учебного пулемета и, подняв руку, произнес:

— Товарищи, мы собрали вас сюда для серьезного и ответственного дела. Сейчас можно сказать то, чего нельзя было сказать еще вчера, так как это было глубокой военной тайной. Завтра в ночь в городе, как и по всей Украине, должно вспыхнуть контрреволюционное

---

[1] Председатель губернского исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся. *(Ред.)*

восстание. Город наполнен офицерьем. Вокруг города концентрируются бандитские шайки. Часть заговорщиков проникла в бронедивизион и работает там шоферами. Но Чрезвычайной комиссией заговор открыт, и мы сейчас ставим под ружье всю парторганизацию и комсомол. Совместно с испытанными частями из курсантов и отрядов Чека будут действовать первый и второй коммунистические батальоны. Курсанты уже выступили, теперь ваша очередь, товарищи. Пятнадцать минут на получение оружия и построение. Операцией будет руководить товарищ Жухрай. От него командиры получат точные указания. Я считаю излишним указывать коммунистическому батальону на серьезность настоящего момента. Завтрашний мятеж мы должны предотвратить сегодня.

Через четверть часа вооруженный батальон выстроился во дворе школы.

Жухрай обвел взглядом недвижные ряды батальона.

В трех шагах впереди строя двое в ремнях: комбат Меняйло — богатырь, уральский литейщик, и рядом — комиссар Аким. Налево — взводы первой роты. В двух шагах впереди — двое: комроты Школенко и политрук Устинович. За их спинами — молчаливые ряды коммунистического батальона. Триста штыков.

Федор подал знак.

— Пора выступать.

*

Шли триста по безлюдным улицам.

Город спал.

На Львовской, против Дикой улицы, батальон оборвал шаг. Здесь начинались его действия.

Бесшумно оцеплялись кварталы. Штаб разместился на ступеньках магазина.

Сверху по Львовской, из центра, осветив шоссе прожектором, скатился автомобиль. У штаба застопорил.

Литке на этот раз привез своего отца. Комендант соскочил на мостовую и бросил несколько отрывистых фраз сыну по-латышски. Машина рванула вперед и мигом исчезла за поворотом на Дмитриевскую. Гуго Литке — весь в зрении. Руки слились с рулевым колесом — вправо-влево.

Ага, вот где понадобилась его, Литке, отчаянная езда! Никому в голову не придет припаять ему две ночи ареста за сумасшедшие виражи.

И Гуго летал по улицам, как метеор.

Жухрай, которого молодой Литке перебросил в мгновенье ока из одного конца города в другой, не мог не выразить своего одобрения:

— Если ты, Гуго, при такой езде сегодня никого не угробишь, завтра получишь золотые часы.

Гуго торжествовал.

— А я думаль — сутка десять ареста получаль за вираж...

Первые удары были направлены на штаб-квартиру заговорщиков. В Особый отдел были доставлены первые арестованные и забранные документы.

На Дикой улице, в переулке с таким же странным названием, в доме № 11, жил некто под фамилией Цюрберт. По данным ЧК, он играл немалую роль в белом заговоре. У него хранились списки офицерских дружин, которые должны были оперировать в районе Подола.

Сам Литке приехал на Дикую для ареста Цюрберта. В квартире, выходящей окнами в сад, отделенный стеной от бывшего женского монастыря, Цюрберта не нашли. Он в этот день, по словам соседей, не возвращался. Произведен был обыск, вместе с ящиком ручных гранат нашли списки и адреса. Приказав устроить засаду, на минуту Литке задержался у стола, просматривая найденные материалы.

Часовым в саду стоял молодой курсант. Ему видно освещенное окно. Неприятно стоять здесь одному в углу. Жутковато. Ему приказано наблюдать за стеной. Но отсюда далеко до успокаивающего света окна. А тут еще чертов месяц так редко светит. В темноте кусты кажутся живыми. Курсант щупает штыком вокруг — пусто.

«Зачем меня поставили здесь? Все равно на стену никому не взобраться — высокая. Подойти, что ли, к окну, поглядеть?» — подумал курсант. Еще раз оглядев гребень стены, вышел из пахнущего плесенным грибом угла. Остановился на момент у окна. Литке быстро собирал бумаги и готовился уйти из комнаты. В этот момент на гребне стены появилась тень. Человеку с гребня виден часовой у окна и тот, другой, в комнате. С кошачьей лов-

костью тень перебралась на дерево, потом на землю. По-кошачьи подкралась к жертве, замахнулась и — рухнул курсант. По рукоять вогнано ему в шею лезвие морского кортика.

Выстрел в саду ударил током по людям, оцепившим квартал.

Гремя сапогами, к дому бежали шестеро.

Упав залитой кровью головой на стол, сидел в кресле мертвый Литке. Стекло окна разбито. Документов враг так и не выручил.

У монастырской стены заспешили выстрелы. Это убийца, спрыгнув на улицу, бросился бежать на Лукьяновские пустыри, отстреливаясь. Не ушел: догнала чья-то пуля.

Всю ночь шли повальные обыски. Сотни непрописанных в домовых книгах людей с подозрительными документами и оружием были отправлены в ЧК. Там работала отборочная комиссия — сортировала.

В некоторых местах заговорщики оказали вооруженное сопротивление. На Жилянской улице при обыске в одном доме был убит наповал Лебедев Антоша.

Соломенский батальон потерял в эту ночь пятерых, а в ЧК не стало Яна Литке, старого большевика, верного сторожевого республики.

Восстание предотвращено.

В эту же ночь в Шепетовке взяли попа Василия с дочерьми и всю остальную братию.

Улеглась тревога.

Но новый враг угрожал городу — паралич на стальных путях, а за ним голод и холод.

Хлеб и дрова решали все.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Федор в раздумье вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла.

Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов, над креслом предгубисполкома. Как

в легком тумане, видны лица сидящих за столом, в углах кабинета.

Рядом с предгубисполкома грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косился на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами.

Аким поймал косой взгляд слесаря, и вспомнилось детство: был у них в доме драчун-петух «Выбей глаз». Он точно так же посматривал перед наскоком.

Второй час продолжалось заседание губисполкома. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета.

Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил:

— ...И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше четырехсот кубометров дров. Ну, а задание в сто восемьдесят тысяч кубометров — это... — лысый подбирал слово,— утопия! — Сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ.

Молчание казалось долгим.

Федор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса:

— Тут и жевать нечего. В Желлескоме дров не было, нет, и впредь не надейтесь... Так, что ли?

Лысый дернул плечом.

— Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...— Человек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель.

— Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней,— сказал из угла Денекко.

Лысый обернулся к нему:

— Я трижды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта...

Токарев остановил его.

— Это мы уже слыхали,— язвительно хмыкнул слесарь, кольнув лысого враждебным взглядом.— Вы что же, нас за дураков считаете?

От этого вопроса у лысого по спине заходили мурашки.

— Я за действия контрреволюционеров не отвечаю,— уже тихо отвечал лысый.

— Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги? — спросил Аким.

— Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке.

— Сколько у вас служащих? — задал лысому вопрос председатель совпрофа.

— Около двухсот.

— По кубометру на дармоеда в год! — бешено сплюнул Токарев.

— Мы всему Желлескому даем ударный паек, отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь? Куда вы дели два вагона муки, данные вам для рабочих? — продолжал председатель совпрофа.

Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей.

Угрем ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного: поскорее уйти отсюда, туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом Поль де Кока.

Не переставая вслушиваться в ответы лысого, Федор писал на блокноте: «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже: здесь не простое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем... Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу».

Предгубисполкома прочел переданную ему записку и кивнул Федору.

Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, предгубисполкома читал конец резолюции:

«...снять руководство Желлескома за явный саботаж. Дело о разработке передать следственным органам».

Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но

это пустяк, а дело о Боярке — ну, за это он спокоен, это не на его участке. «Фу, черт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь...»

Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный, сказал:

— Что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то, значит, не мог.

Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу.

— Ваша фамилия, гражданин? — спросил его человек в шинели.

С обрывающимся сердцем лысый проикал:

— Чер... винский...

В кабинете предгубисполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились тринадцать.

— Вот видите...—надавил пальцем развернутую карту Жухрай.— Вот станция Боярка, в шести верстах — лесоразработка. Здесь сложено в штабеля двести десять тысяч кубометров дров. Восемь месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате — предательство, дорога и город без дров. Их надо подвозить за шесть верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня — в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой... Понимаете, что это значит?.. Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу, а эти негодяи повели ее в глубь леса. Расчет верный: не сможем подвезти заготовленных дров к путям. И действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили!.. Это не меньше повстанкома [1].

Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу.

Каждому из тринадцати ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей. Больницы, школы, учреждения и сотни тысяч

---

[1] Имеется в виду петлюровский повстанческий комитет. *(Ред.)*

людей во власти стужи, а на вокзалах — человеческий муравейник, и поезд один раз в неделю.

Каждый глубоко задумался.

Федор разжал кулак.

— Есть один выход, товарищи: построить в три месяца узкоколейку от станции до лесоразработок — шесть верст — с таким расчетом, чтобы уже через полтора месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно,— голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел,— триста пятьдесят рабочих и два инженера. «Рельсы и семь паровозов есть в Пуще-Водице. Их там комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить, одна развалина — школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на две недели, больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев, Аким? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Комсомол кинет туда все, что только сможет: во-первых, соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают.

Начальник дороги недоверчиво покачал головой.

— Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте шесть верст проложить при теперешней обстановке: осень, дожди, потом морозы,— устало сказал он.

Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал:

— За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим. Не замерзать же сложа руки.

*

Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурке Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли.

Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала:

— Желаем удачи.

Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей.

— Да, задали нам мороку, язви их в сердце! — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли.— Вы тут посмат-

ривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите, где надо. Ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седать, доченька.

Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы невзначай спросила:

— Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно.

— Он с техноруком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду.

По перрону к ним торопливо шли Жаркий, Дубава, а с ними, в небрежно накинутом жакете, с потухшей папиросой меж тонких пальцев, Анна Борхарт.

Всматриваясь в подходящих, Рита задала последний вопрос:

— Как ваша учеба с Корчагиным?

Токарев удивленно взглянул на нее.

— Какая учеба, ведь паренек под твоей опекой? Парень мне не раз говорил о тебе. Не нахвалится.

Рита недоверчиво прислушивалась к его словам.

— Так ли это, товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил переучиваться.

Старик рассмеялся:

— Ко мне?.. Я его и в глаза не видал.

Паровоз заревел. Клавичек из вагона кричал:

— Товарищ Устинович, отпускай нам папашу, нельзя же так! Что мы без него делать будем?

Чех еще что-то хотел сказать, но, заметив троих подошедших, замолчал. Мельком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил ее прощальную улыбку Дубаве и порывисто отошел от окна.

*

Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темно-серые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища, хмуро стояли старики грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеянья, и стояли они голые и чахлые.

Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди.

Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты.

А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи.

Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда, но люди с работы уходили только поздно вечером. И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес.

Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать,— все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей — дыры; вместо печных дверок — черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил.

Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложилось четыреста человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. А сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер.

Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, полтора фунта черного, как антрацит, хлеба.

Это было все, что мог дать город.

Технорук, сухой высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках, Валериан Никодимович Патошкин и техник Вакуленко, коренастый, с мясистым носом на грубо скроенном лице, поместились в квартире начальника станции.

Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Холявы, коротконогого, подвижного, как ртуть.

Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения.

Насыпь с каждым днем углублялась в лес.

Отряд насчитывал уже девять дезертиров. Через несколько дней сбежало еще пять.

Первый удар стройка получила на второй неделе: с вечерним поездом не пришел из города хлеб.

Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом.

Секретарь партколлектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя под мышкой.

— Начинаются игрушки! — буркнул он себе под нос, быстро одеваясь.

В комнату вкатился шарообразный Холява.

— Сыпь к телефону и достучись до Особого отдела,— приказал ему Токарев.— А ты никому о хлебе ни звука,— предупредил он Дубаву.

После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый Холява добился связи с замнач Особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что? Хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал,— угрожающе загудел в трубку Жухрай.

— Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем? — сердито кричал в трубку Токарев.

Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлектива услыхал:

— Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литке, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас.

Чуть свет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литке-сын.

Борьба за стройку обострялась. Из правления дороги сообщили: нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку, и сами паровозики, оказалось, требовали значительного ремонта. Первая партия заканчивала работу, а смены не было, задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности.

В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив.

Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные — в Пущу-Водицу.

А дождь все лил.

Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью; сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще-холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово не ругаться. С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу.

На кухонном столе резала свеклу Одарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего вволю: по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми, могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей.

Одарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила:

— Ты что, к обеду мостишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня,— брала она в оборот Корчагина.

Вошел пожилой повар.

— Сапог порвался вдребезги,— объяснил свое присутствие на кухне Павел.

Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на Одарку:

— У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель.

Слушая повара, Одарка пригляделась к Павлу и немного смутилась.

— А я вас за лодыря приняла,— призналась она.

Павел прощающе улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог.

— Латать его мой мужик не будет — не к чему, а чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу, на горище у нас такая валяется. Где ж это видано так мучиться! Не сегодня-завтра мороз ударит, пропаде-

те,— уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла.

Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху.

*

Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату Холявы актив и передал ему невеселые новости.

— Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и все на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили, на наш век их хватит,— докладывал старик собравшимся.— Я, ребятки, скажу открыто: дело ни к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют — неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну, так вот, ребятки, в городе возьмут в «штосс» всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем — одна слякоть,— говорил Токарев не обычным для него хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве.

— Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром беспартийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома,— передал он Панкратову сложенный вчетверо лист.

Через плечо грузчика Корчагин прочел:

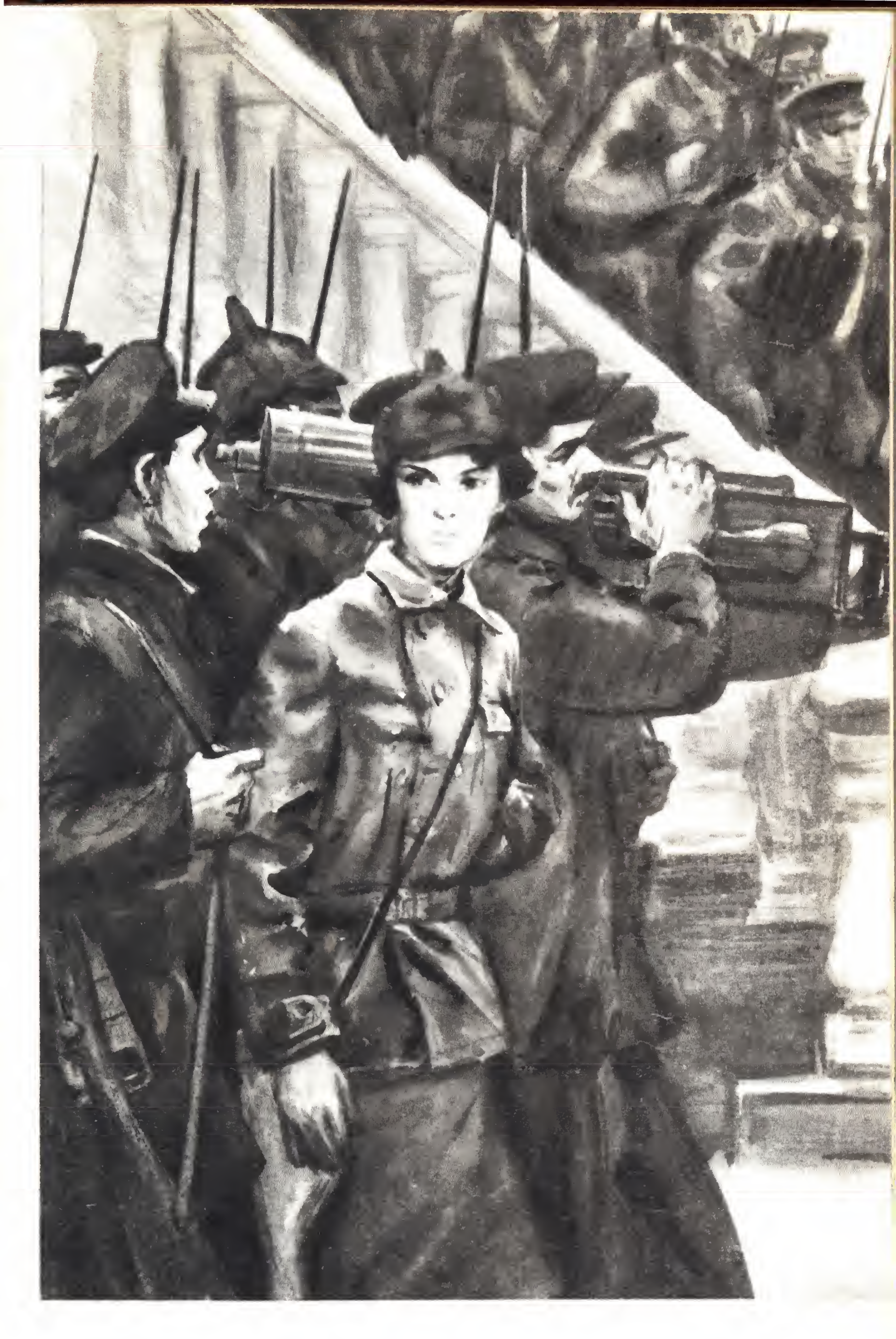
Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкомола

Р. Устинович.

В тесном бараке не пройти. Сто двадцать человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню.

Открывал собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех:

— Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут.





Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о «домашнем уюте», другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемежку с бранью:

— К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас две недели — хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.

Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал: сын бухгалтера из губпродкома.

— Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор.

Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост.

— Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание — каторга? — глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих.— Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим деру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся, а тикать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина.

Грузчик не любил больших речей, но и эту, короткую, перебил все тот же голос:

— А беспартийные уезжают?

— Да,— отрубил Панкратов.

К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром.

— Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!

Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:

— Чем швыряешься?

— Ах ты, шкура продажная!

— В комсомол втерся, на теплое местечко целился!

— Гони его отсюда!

— Мы тебя погреем, вошь тифозная!

Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь, как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.

*

В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли:

«Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи».

И подписано:

«Атаман Чеснок».

Чеснок был из банды Орлика.

*

В комнате Риты на столе незакрытый дневник.

«2 декабря

Утром выпал первый снег. Крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Ольшинским. Шли вместе.

— Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? — сказал Ольшинский.

Я вспомнила о Боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала, почему.

— Это субъективно. Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедии там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же: смех, слезы, горе и радость, жажда зрелищ и наслаждений, волненье, любовь...

В словах Ольшинского трудно отличить иронию. Ольшинский — уполномоченный Наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме, в квартире Сегала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить, знает Запад, долго жил в Париже, но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому: во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей,— он достаточно мужествен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится.

Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Ольшинского.

Из Боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего двести сорок человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе?.. Дубава уже неделю там. В Пуще-Водице из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей.

На Дмитрия создано Управлением трамвая уголовное дело: он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из Пущи-Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли девятнадцать площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю.

На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в Боярку.

Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в Управлении трамвая. Там наотрез отказа-

лись дать больше двух площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение:

— Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата?

Я еще не видела Дубаву таким свирепым.

— Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, и языком брешет. Мне без рельсов на Боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, Токареву на пересушку! — гремел Дмитрий на весь губком.

Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта от Акима выскочил красный и злой.

3 декабря

В губкоме новое дело, уже из Трансчека. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и, лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада двадцати пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с лесоразработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал.

Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется: «Все эти дела мы поломаем».

На стройке положение крайне напряженное, и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Ребята на стройке все чаще выходят за рамки формалистики.

Ольшинский принес мне маленькую электрическую печку. Мы с Олей Юреневой греем над ней руки. Но в комнате от нее теплее не становится. Как-то там, в лесу, пройдет эта ночь? Ольга рассказывает: в больнице очень холодно, и больные не вылезают из-под одеял. Топят через два дня.

Нет, товарищ Ольшинский, трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу!

4 декабря

Всю ночь валил снег. В Боярке, пишут, все засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение, стройку первой очереди, до границы лесоразработки, закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в Боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передохнем, то выполним».

О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет «дела» вроде панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться.

5 декабря

Вчера банда обстреляла стройку».

*

Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит — тогда всхрапывает конь. Метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних.

Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не устланной снегом земли.

Здесь всадники задержали коней. Звякнули, встретясь, стремена. Шумно встряхнулся всем телом вспотевший от далекого пробега жеребец переднего.

— Их до биса наихало сюды,— говорил передний.— Ось мы им холоду нагоним. Батько сказав, щоб цеи саранчи тут завтра не було, бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина доберется...

К станции подъезжали гуськом, по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы; не выезжая на поляну, остались за деревьями.

Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз снежный ком с ветки серебристой при лунном свете березы. А меж деревьев высекали искры куцые обрезы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон.

Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги, но, когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол.

Падали друг на друга.

— Ты куда? — схватил за шинель Павла Дубава.

— На двор.

— Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись,— порывисто шептал Дмитрий.

Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них пять патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан.

Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла.

— Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда,— шепотом командовал лежащим Дубава.

Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки.

А в лесу десять всадников нахлестывали лошадей.

*

В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Холява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет «максим», несколько коробок с пулеметными лентами и два десятка винтовок.

К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, вперевалку — все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще качающаяся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками: высокий Аким шел в ногу с Федором.

— Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его! Много земли вынимать придется.

Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой, и, пыхнув дымком раздругой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шага, уходил дальше.

Аким спросил Токарева:

— Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?

Токарев ответил не сразу.

— Знаешь, сынок,— сказал он наконец,— если говорить вообще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается.

Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно:

— Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут — Патошкин и я — знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить — нельзя. И вот почему я смог сказать: «Если не перемерзнем, то будет сделано». Сами поглядите, второй месяц, как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной состав — без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает. Цены им нет... Не одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба.

*

В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка.

Дальше, километра на полтора, на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, шла лишь ровная дорога.

Здесь работала первая строительная группа Панкратова. Сорок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвальней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов, под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты.

*

Кропотливое и медленное это дело — прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать в земле шпа-

лы и так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них.

Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои пятьдесят четыре года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой — дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный (отец Тали) всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки.

— Ну, как же мне вас кидать, скажите на милость? Напутаете без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по Расее натыкал за свою жизнь...— добродушно говорил он при каждой смене — и оставался.

Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы.

Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, и плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось.

— А, губерния приехала! — проговорил он и подал Акиму горячую влажную руку.

Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же, прямо на снегу.

Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором.

— Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? — серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика.

Панкратов смущенно улыбнулся.

— Мы его по согласию разоружили, он нас сам просил. Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все, как есть, он и говорит: «Я, ребята, не имею права позволить вам увезти окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах, во-

рует, мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас — он на меня обязательно донесет по службе, и меня в Ревтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесет, то на этом и кончится». Мы так и сделали. Двери и окна ведь не себе же везли!

Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил:

— Пусть же нам одним попадет, вы уже парня-то не жмите, товарищ Жухрай.

— Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя — это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном.— И Федор начал расспрашивать о подробностях налета.

*

В четырех с половиной километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути.

А по сторонам стояло семеро, вооруженных карабином Холявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда.

Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город.

— На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая,— негромко сказал Патошкин стоявшему перед ним Хомутову, всегда хмурому увальню, скуповатому на слова.

— Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вы на выемку пятнадцать кладете,— ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса.

— Этот срок не реален, правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало.

В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На косогоре их заметили.

— Глянь, кто это? — толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере, Петька Трофимов, болторез из мастерских, указы-

вая пальцем под косогор. В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал его руку.

— Здорово, Павел. Поди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке.

Панкратов криво усмехнулся:

— Ничего себе комбинация из пяти пальцев, и все пять наружу. К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна: тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает, а потом «сыграет в ящик»,— невесело говорил Акиму грузчик.

Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил:

— Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем — и на кухню его в повара, к Одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест и погреется — хоть у печки, хоть у Одарки.

Дружный смех покрыл его слова.

В этот день смеялись первый раз.

*

Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мельканье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму:

— Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется.

Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств — источника тепла и жизни.

*

Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше двух недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал.

— Снимите людей с косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе.

На станции Жухрай долго сидел у телефона. Холява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора:

— Позвони сейчас же от моего имени начштаокру [1], пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к двенадцати Литке с машиной.

В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенный на первое января.

— Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в роту ЧОН. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть равных частей. Каждая группа получает свою часть. К первому января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, президиум губисполкома возбудит ходатайство перед ВУЦИК [2] о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы.

Начальниками стройгрупп были утверждены: первой — товарищ Панкратов, второй — товарищ Дубава, третьей — товарищ Хомутов, четвертой — товарищ Лагутин, пятой — товарищ Корчагин, шестой — товарищ Окунев.

— Начальником стройки,— заканчивал свою речь Жухрай,— ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев.

Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица, и дружески-шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха.

---

[1] Начальник штаба округа. *(Ред.)*

[2] Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет. *(Ред.)*

Человек двадцать гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезины.

Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко:

— Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?

— Что-то похоже на это — припухать стали,— ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав: — Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только три.

Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер.

— Вот тебе мой подарок.

Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень.

— Бери, бери! Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй. Вот тебе еще три полные обоймы к нему.

На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул:

— Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу.

Панкратов озорно толкнул Павла в спину:

— Меняй, черт, на валенки. Все равно в калоше не доживешь до рождества Христова.

Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разрешение на подаренный револьвер.

*

Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов трое подрывников из бронепоезда глубоко забили в косогор две огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальный выстрел. Тогда от страшного теперь косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком.

У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания — и... вздрогнула земля, страшная сила разнесла вершину холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора.

Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля.

В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами.

*

С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание — борьба за первенство.

Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу.

Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло.

В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протискался Панкратов.

— Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, саженей десять уже проложили. Ребята говорят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те решили двадцать пятого закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим! — возмущенно говорил он Дубаве.

Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул: не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду.

— Дружба дружбой, а табачок врозь — тут «кто кого»,— сказал Панкратов.

Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел.

— В ружье, братва! Банда! — крикнул Павка и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер.

Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул:

— Стой, товарищи! Свои!

Полсотни конных в буденовках с алыми звездами подъезжали по дороге.

Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лысиной на лбу не стояла на месте, «играла» под всадником. Она испуганно попятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил ее под уздцы.

— Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! Уцелела от пули, красавица моя одноухая.

Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой ее вздрагивавшие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивленно ахнул:

— Да это же Корчагин!.. Коня узнал, а Середу недосмотрел. Здравствуй, братенек!

*

В городе «нажали на все рычаги». Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в Боярку. На Соломенке остались одни дивчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов.

Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал:

— Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На дверях напишем: «Женотдел», и покачу-ка я на Боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки подозрительно. Наверно, меж собой говорят, сороки: «Всех разослал, а сам остался, гусь лапчатый», или еще пообиднее что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать.

Аким, смеясь, отказал.

В Боярку прибывал народ. Прибыло и шестьдесят студентов-путейцев.

Жухрай добился у Управления дороги посылки в Боярку четырех классных вагонов для жилья вновь посланным рабочим.

Группа Дубавы была снята с работы и послана в Пущу-Водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики и шестьдесят пять узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке.

Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать Клавичека на стройку и дать ему вновь организованную группу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании чеха. А причиной была записка Анны, переданная приезжими соломенцами.

«Дмитрий! —писала Анна.— Мы с Клавичеком отобрали вам гору литературы. Шлем тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы все молодчаги! Желаем вам сил и энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. Клавичек просил передать вам привет. Чудный парень! Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам машиной месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши: Лагутина, Артюхин, Клавичек и иногда Жаркий. Понемногу подвигаем учебу, но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишения наравне со всеми. Таля говорит: «Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане, пусть попробует меня оттуда выпереть».

Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черноглазому.

Анна».

*

Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом.

Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи: не держала тепла станционная развалина.

Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на сине-голубом небе ни единого облачка.

Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег.

На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его едва приволок сюда выдыхающийся паровоз; на тендере ни одного полена, в топке догорали остатки.

— Дадите дров — поедем, а нет — переведите поезд на запасный, пока есть чем двигать! — кричал машинист начальнику станции.

Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались.

— Поговорите со стариком — вон идет по перрону. Это начстройки. Он может приказать подвезти к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут,— посоветовал начальник станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву.

— Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы. В поезде шестьсот — семьсот пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным лопаты в руки — и до вечера греби снег. За это получат дрова. Если откажутся — пусть сидят до Нового года,— сказал Токарев кондукторам.

*

— Смотри, ребята, народу-то валит сколько! Гляди, и женщины! — удивленно заговорили за спиной Корчагина.

Павел обернулся.

— Вот тебе сто человек, дай им работу и присматривай, чтобы не сидели,— сказал, подходя. Токарев.

Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина, в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, возмущенно вертел в руках лопату и, обращаясь к стоявшей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, протестовал:

— Я грести снег не буду, меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я, как инженер-путеец, смогу распорядиться работой, но ворочать снег ни ты, ни я не должны, это инструкцией не предусматривается. Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник? — спросил он ближайшего к нему рабочего.

Подошел Корчагин.

— Почему вы не работаете, гражданин?

Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом.

— А вы что из себя представляете?

— Я рабочий.

— Тогда мне не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне десятника или кто тут у вас...

Корчагин исподлобья посмотрел на него.

— Не хотите работать — не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки.

— А вы, гражданка, тоже отказываетесь? — повернулся Павел к женщине — и на миг остолбенел: перед ним стояла Тоня Туманова.

Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно не мытым лицом стоял перед ней Павел. Только одни глаза с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось!

Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в правлении дороги на ответственном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни не продвинулся.

Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбесило наглое, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне.

— Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого лаццарони.

Корчагин знал из романа «Джузеппе Гарибальди», кто такой лаццарони.

— Если я лаццарони, то ты просто недорезанный буржуй,— глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил: — Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится.

Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони, и добавил вскользь:

— Оставаться не советую. На днях банда наведывалась.

Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей.

Последние слова возымели действие и на путейца. Тоня уговорила его остаться работать.

Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошел вперед, спеша занять места в поезде. Тоня остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на лопату, утомленный Корчагин.

— Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидала увидеть тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась...— заговорила Тоня, идя рядом с ним.

Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом.

— Я тоже не ожидал встретить тебя такой... замаринованной,— нашел, наконец, Павел подходящее слово помягче.

Кончики ушей Тони загорелись.

— Ты все так же грубишь!

Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя несколько шагов, ответил:

— Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с позволения сказать, вежливости. О моей жизни

беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем.

*

Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало.

Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, потеряв свое обычное спокойствие, поджигал своих «пристанских» на сумасшедшие темпы.

Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя: «Что это за люди? Что это за непонятная сила? Ведь если погода продержится еще хотя бы дней восемь, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит: век живи, век учись, и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы».

Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал:

— Это тебе. Не ведаешь, от кого?.. Хо! Ну и глуп же ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Ольшинский ей подарил, она из рук его взяла и мне передала — вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Ольшинский немного нос скривил. «Я,— говорит,— этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась: ничего, в куртке ему лучше работать! Получай!

Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь.

*

Рита записывала:

«20 декабря

Полоса вьюг. Снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюга остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего три четверти километра, но самые трудные.

Токарев сообщает: на стройке появился тиф, трое заболело.

22 декабря

На пленум губкомола из Боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в семнадцати километрах от Боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда.

23 декабря

В город из Боярки привезли еще семерых в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больницах холодно. Проклятая вьюга! Когда она кончится?

24 декабря

Только что от Жухрая. Оказывается, верно: Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на Боярку. Два часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Жухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь навылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но, отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено одиннадцать. Сейчас там бронепоезд и два эскадрона кавалерии.

Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до единого. Часть кадровиков-беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам.

25 декабря

Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности.

Из Боярки губкомпарт и мы получили телеграмму: «В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге, совместно с командой бронепоезда «За власть Советов» и красноармейцами кавполка заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к первому января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует Коммунистическая партия, пославшая нас! Председатель митинга Корчагин. Секретарь Берзин».

На Соломенке с военными почестями похоронили Клавичека».

*

Заветные дрова уже близки. Но к ним продвигались томительно медленно: каждый день тиф вырывал десятки нужных рук.

Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного.

Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и пять дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и валенки, присланные Федором, надетые на уже обмороженные ноги.

При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель.

Едва добрался до станции. Необычный шум поразил его. Вгляделся: длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы — их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую щеку.

На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вызванный с бронепоезда фельдшер заявил: «Крупозное воспаление легких и брюшной тиф. Температура 41,5. О воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится — мелочь. Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет».

Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла.

Земляку Корчагина — Алеше Коханскому — было поручено отвезти больного в родной город.

Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском Холявы Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алешу в набитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом, сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге.

Холява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке больного, кричал:

— Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого вас всех выкидывать пришлось бы! Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет — я сообщу по линии: всех снимем с поезда и посадим за решетку. Вот тебе, Алеша, Павкин маузер, бей в упор всякого, кто его вздумает снимать,— подбросил Холява для острастки.

Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошел к Дубаве.

— Как ты думаешь, выживет?

И не получил ответа.

— Пойдем, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется, а утром попробуем их разогреть.

Холява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного Корчагина и, только получив твердое обещание «не допустить», пошел спать.

*

На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого

парня. Кто он и отчего умер — никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу Холявы, побежали к вагону, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую эвакоприемника.

Холяве же тотчас позвонили в Боярку, сообщая о смерти того, за жизнь которого он так беспокоился.

Краткая телеграмма из Боярки извещала губком о гибели Корчагина.

Алеша Коханский доставил больного Корчагина родным и сам свалился в жарком тифу.

*

«9 января

Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог думать, что и Рита может рыдать, и еще как больно! Разве слезы всегда признак слабости воли? Сегодня причина их — жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня, в день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом, когда я только что была на торжестве победы, на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев-строителей? Это победа, но за нее двое отдали свою жизнь: Клавичек и Корчагин.

Гибель Павла открыла мне истину: он мне дорог больше, чем я думала.

На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-либо к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК комсомола Украины».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел перевалил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. Только через месяц, худой и бледный, поднялся он на неустойчивые ноги и, цепляясь за стены, попытался пройти по комнате. Поддерживаемый матерью, он дошел до окна и долго смотрел на дорогу. По-

блескивали лужицы от тающего снега. На дворе была первая предвесенняя оттепель.

Прямо перед окном, на ветке вишни, хорохорился серопузый воробей, беспокойно посматривая вороватыми глазками на Павла.

— Что, пережили зиму с тобой? — тихо проговорил Павел, постучав пальцем в окно.

Мать испуганно посмотрела на него.

— Ты с кем там?

— Это я воробью... Улетел, жуликоватый такой,— и слабо улыбнулся.

Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но в его организме творилось что-то неладное. Однажды, гуляя в саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в позвоночнике. С трудом приплелся в комнату. На другой день его внимательно осматривал врач. Нащупав в позвонке глубокую впадину, удивленно хмыкнул:

— Откуда у вас это?

— Это, доктор, след от камня из мостовой. Под городом Ровно трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули...

— Как же вы ходили? Вас это не тревожило?

— Нет. Тогда полежал часа два — и на лошадь. Вот только сейчас первый раз напомнило.

Врач, нахмурясь, осматривал впадину.

— Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он о себе не заявит. Оденьтесь, товарищ Корчагин.

И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смотрел на своего пациента.

*

Артем жил в семье своей жены, неприглядной молодухи Стеши. Семья была захудалая крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком грязном дворике бегал замазюканный раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазенками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил:

— Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? Уходи лучше, а то у нас мамка сердитая!

В старой низкой избенке открылось крошечное окно, и Артем позвал:

— Заходи, Павлуша!

У печи возилась с ухватом старуха с пожелтелым, как пергамент, лицом. Она на миг коснулась Павла нелюбезным взглядом и, пропустив гостя, загремела чугунами.

Две девочки-подростка с куцыми косичками быстро взобрались на печь и с любопытством дикарей выглядывали оттуда.

За столом сидел Артем, немного смущенный. Его женитьбу не одобряли ни мать, ни брат. Потомственный пролетарий Артем неизвестно почему порвал свою трехлетнюю дружбу с красавицей Галей, дочерью каменотеса, работницей-портнихой, и пошел в «примаки» к серенькой Стеше, в семью из пяти ртов, без единого работника. Здесь он после деповской работы всю свою силу вкладывал в плуг, обновляя захирелое хозяйство.

*

Артем знал, что Павел не одобрял его отхода, как он выражался, в «мелкобуржуазную стихию», и теперь наблюдал, как воспринимает брат все окружающее его здесь.

Посидели, перебросились малозначащими, обычными при встрече фразами, и Павел собрался уходить. Артем задержал его.

— Погодь, покушаешь с нами, сейчас Стеша молока принесет. Значит, завтра едешь? Слабоват ты еще, Павка.

В комнату вошла Стеша, поздоровалась, позвала Артема на гумно помочь что-то перенести. Павел остался один со старухой, не щедрой на слова. В окно донесся церковный звон. Старуха поставила ухват и недовольно забормотала:

— Осподи сусе, за чертовой работой и помолиться некогда! — И, сняв с шеи платок, подошла, косясь на пришельца, к углу, уставленному потемневшими от времени унылыми ликами святых. Сложив щепоткой три костлявых пальца, закрестилась.

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...— зашептала она высохшими губами.

На дворе мальчонка с наскока оседлал черную вислоухую свинью. Крепко шпоря ее босыми ногами, вцепив-

шись ручонками в щетину, кричал на вертящееся и хрюкающее животное:

— Но-о-о, пошла, поехала! Тпру! Не балуй!

Свинья носилась с мальчишкой по двору, пытаясь его сбросить, но раскосый сорванец держался крепко.

Старуха прервала молитву и высунулась в окно:

— Я тебе поезжу, трясця твоему батькові! Слезь со свиньи, холера тебе в бок, а провались ты, таке дитя скаженне!

Свинье удалось, наконец, сбросить наездника, и удовлетворенная старуха опять повернулась к иконам. Сделав набожное лицо, она продолжала:

— Да приидет царствие твое...

В дверях показался заплаканный мальчишка. Рукавом утирая ушибленный нос, всхлипывая от боли, он заныл:

— Мамка-а-а, дай вареник!

Старуха злобно повернулась.

— Помолиться не даст, черт косоокий. Я тебя, сукиного сына, сейчас накормлю!.. — И она схватила с лавки кнут. Мальчик моментально исчез. За печкой девочки тихонько прыснули.

Старуха в третий раз принялась за молитву.

Павел встал и вышел, не дождавшись брата. Закрывая калитку, приметил в крайнем оконце голову старухи. Она следила за ним.

«Какая нелегкая затянула сюда Артема? Теперь ему до смерти не выбраться. Будет Стеша рожать каждый год. Закопается, как жук в навозе. Еще, чего доброго, депо бросит,— размышлял удрученный Павел, шагая по безлюдной улице городка.— А я было думал в политическую жизнь втянуть его».

Он радовался, что завтра уедет туда, в большой город, где остались его друзья и дорогие его сердцу люди. Большой город притягивал своей мощью, жизненностью, суетой непрерывных человеческих потоков, грохотом трамваев и криком сирен автомобилей. А главное, тянуло в огромные каменные корпуса, закопченные цехи, к машинам, к тихому шороху шкивов. Тянуло туда, где в стремительном разбеге кружились великаны-маховики и пахло машинным маслом, к тому, с чем сроднился. Здесь же, в тихом городке, бродя по улицам, Павел ощущал ка-

кую-то подавленность. Не удивляло, что городок стал ему чужим и скучным. Неприятно даже было выходить днем гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крылечках, Павел слышал их торопливый переговор:

— Дывысь, бабы, откуда цей страхополох?

— Видать, беркулезный, чихотка у него.

— А тужурка на ем богатая, не иначе — краденая... И многое другое, от чего становилось противно.

Давно уже оторвался корнями отсюда. Стал ближе и роднее большой город. Братва, крепкая и жизнерадостная, и труд.

Корчагин незаметно дошел до сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо — отгороженная от леса высоким, заостренным частоколом угрюмая старая тюрьма, за ней белые корпуса больницы.

Вот здесь, на этой просторной площади, задыхались в петлях Валя и ее товарищи. Молча постоял он на том месте, где была виселица, затем пошел к обрыву. Спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища.

Чьи-то заботливые руки убрали ряд могил венками из ели, оградив маленькое кладбище зеленой изгородью. Над обрывом высились стройные сосны. Зеленый шелк молодой травы устлал склоны оврага.

Здесь край городка. Тихо и грустно. Легкий лесной шелест и весенняя прель возрожденной земли. Здесь мужественно умирали братья, для того чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом рабства.

Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть заполнила сердце.

Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее.

Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища.

*

Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за ней, Павел видел: скрывает от него слезы.

— Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут — разбегутся. Чего тебя в город-то тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмотрел себе перепелку стриженую? Ведь никто мне, старухе, ничего не расскажет. Артем женился — слова не сказал, а ты уж и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь,— тихонько говорила мать, укладывая в чистую сумку небогатые сыновьи пожитки.

Павел взял ее за плечи, притянул к себе.

— Нет, маманя, перепелки! А знаешь ли ты, старенькая, что птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, перепел?

Заставил мать улыбнуться.

— Я, маманя, слово дал себе дивчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя, долго буржуй не продержится... Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящие,— в Италию, страна такая теплая по-над морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем.

— Не дожить мне, сынок, до твоей сказки... Таким заскочистым твой дед был, в моряках плавал. Настоящий разбойник, прости господи! Довоевался в севастопольскую войну, что без ноги и руки домой вернулся. На груди ему два креста навесили и два полтинника царских на ленточках, а помер старый в страшной бедности. Строптивый был, ударил какую-то власть по голове клюшкой, в тюрьме мало не год просидел. Закупорили его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя, не иначе как в деда вдался.

— Что же мы, маманя, прощание таким невеселым делаем? Дай-ка мне гармонь, давно в руках не держал.

Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Дивилась мать новым тонам его музыки.

Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной

залихватистости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы, стала какой-то более глубокой.

*

На вокзал пришел один.

Уговорил мать остаться дома: не хотел ее слез при прощанье.

В поезд набились все нахрапом. Павел занял свободную полку на самом верху и оттуда наблюдал за крикливыми и возбужденными людьми в проходах.

Все так же тащили мешки и пихали их под лавку.

Когда поезд тронулся, поугомонились и, как всегда в этих случаях, жадно принялись за еду.

Павел скоро уснул.

*

Первый дом, который он хотел посетить, был в центре города, на Крещатике. Медленно взбирался по ступенькам. Все кругом знакомо, ничто не изменилось. Шел по мосту, рукой скользил по гладким перилам. Подошел к спуску. Остановился — на мосту ни души. В бескрайной вышине ночь открывала завороженным глазам величественное зрелище. Черным бархатом застилала темь горизонт, перегибаясь, мерцали фосфористым светом, жглись звездные множества. А ниже, там, где сливалась на невидимой грани с небосклоном земля, город рассыпал в темноте миллионы огней...

Навстречу Корчагину по лестнице поднималось несколько человек. Резкие голоса увлеченных спором людей нарушили тишину ночи, и Павел, оторвав взгляд от огней города, стал спускаться с лестницы.

На Крещатике, в бюро пропусков Особого отдела округа, дежурный комендант сообщил Корчагину, что Жухрая в городе уже давно нет.

Он долго прощупывал Павла вопросами и, лишь убедившись, что парень лично знаком с Жухраем, рассказал: Федор уже два месяца как отозван на работу в Ташкент, на туркестанский фронт. Огорчение Корчагина было так велико, что он не стал даже спрашивать подробностей, а молча повернулся и вышел на улицу. Усталость

навалилась на него и заставила присесть на ступеньки подъезда.

Прошел трамвай, наполняя улицу грохотом и лязгом. На тротуарах бесконечный людской поток. Оживленный город — то счастливый смех женщин, то обрывки мужского баса, то тенор юноши, то клокочущая хрипотца старика. Людской поток бесконечен, шаг всегда тороплив. Ярко освещенные трамваи, вспышки автомобильных фар и пожар электроламп вокруг рекламы соседнего кино. И везде люди, наполняющие несмолкаемым говором улицу. Это вечер большого города.

Шум и суета проспекта скрадывали остроту горечи, вызванной известием об отъезде Федора. Куда идти? Возвращаться на Соломенку, где были друзья,— далеко. И сам собой всплыл дом на недалекой отсюда Кругло-Университетской улице. Конечно, он сейчас пойдет туда. Ведь после Федора первым товарищем, которого он хотел бы видеть, была Рита. Там, у Акима или Михайлы, можно и заночевать.

Еще издали наверху в угловом окне увидел свет. Стараясь быть спокойным, потянул к себе дубовую дверь. На площадке постоял несколько секунд. За дверью в комнате Риты слышны голоса, кто-то играл на гитаре.

«Ого, разрешена, значит, и гитара? Режим смягчен»,— заключил Корчагин и легонько стукнул кулаком в дверь. Чувствуя, что волнуется, зажал зубами губу.

Дверь открыла незнакомая женщина, молодая, с завитушками на висках. Вопросительно оглядела Корчагина.

— Вам кого?

Она не закрывала двери, и беглый взгляд на незнакомую обстановку уже подсказал ответ.

— Устинович можно видеть?

— Ее нет, она еще в январе уехала в Харьков, а оттуда, как я слышала, в Москву.

— А товарищ Аким здесь живет или тоже уехал?

— Товарища Акима тоже нет. Он сейчас секретарь Одесского губкомола.

Павлу ничего не оставалось, как повернуть назад. Радость возвращения в город поблекла.

Теперь надо было серьезно подумать о ночлеге.

— Так по друзьям ходить, все ноги отобьешь и никого не увидишь,— угрюмо ворчал Корчагин, пересили-

вая горечь. Но все же решил еще раз попытать счастья— найти Панкратова. Грузчик жил вблизи пристани, и к нему было ближе, чем на Соломенку.

Совсем усталый, добрался, наконец, до квартиры Панкратова и, стуча в когда-то крашенную охрой дверь, решил: «Если и этого нет, больше бродить не буду. Заберусь под лодку и переночую».

Дверь открыла старушка в простеньком, подвязанном под подбородок платочке — мать Панкратова.

— Игнат дома, мамаша?

— Только что пришедши. А вы к нему?

Она не узнала Павла и, оборачиваясь назад, крикнула:

— Генька, тут к тебе!

Павел вошел с ней в комнату, положил на пол мешок. Панкратов, доедая кусок, повернулся к нему из-за стола.

— Ежели ко мне, садись и рассказывай, а я пока борща умну миску, а то с утра на одной воде.— И Панкратов взял в руку огромную деревянную ложку.

Павел сел сбоку на продавленный стул. Сняв с головы фуражку, по старой привычке вытер ею лоб.

«Неужели я так изменился, что и Генька меня не узнал?»

Панкратов отправил ложки две борща в рот и, не получив от гостя ответа, повернул к нему голову:

— Ну, давай, что там у тебя?

Рука с куском хлеба на полдороге ко рту остановилась. Панкратов растерянно замигал.

— Э... постой... Тьфу ты, буза какая!

Видя его красное от натуги лицо, Корчагин не вытерпел и расхохотался.

— Павка! Ведь мы тебя за пропащего считали!.. Стой! Как тебя зовут?

На крики Панкратова из соседней комнаты выбежали старшая сестра и мать. Все втроем, наконец, удостоверились, что перед ними настоящий Корчагин.

В доме уже давно спали, а Панкратов все еще рассказывал о событиях за четыре месяца:

— Еще зимой в Харьков уехали Жаркий, Митяй и Михайло. И не куда-нибудь, стервецы, а в Коммунистический университет. Ванька и Митяй — на подготовительный, Михайло — на первый. Нас человек пятна-

дцать собралось. С горячки и я нашпарил заявление. Надо, думаю, в мозгах начинку подгустить, а то жидковато. Но, понимаешь, в комиссии меня посадили на песок.

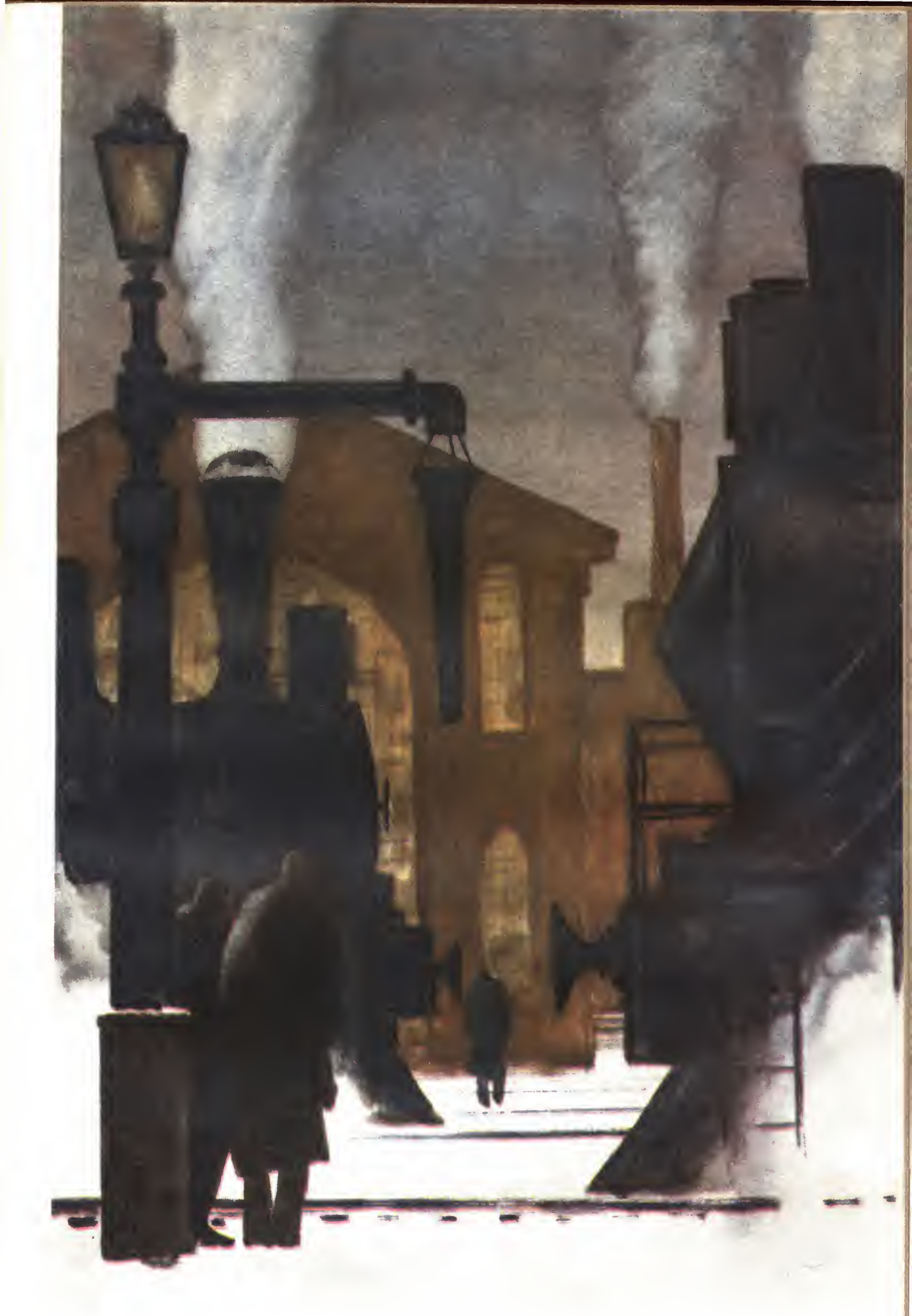
Сердито посопев, Панкратов продолжал:

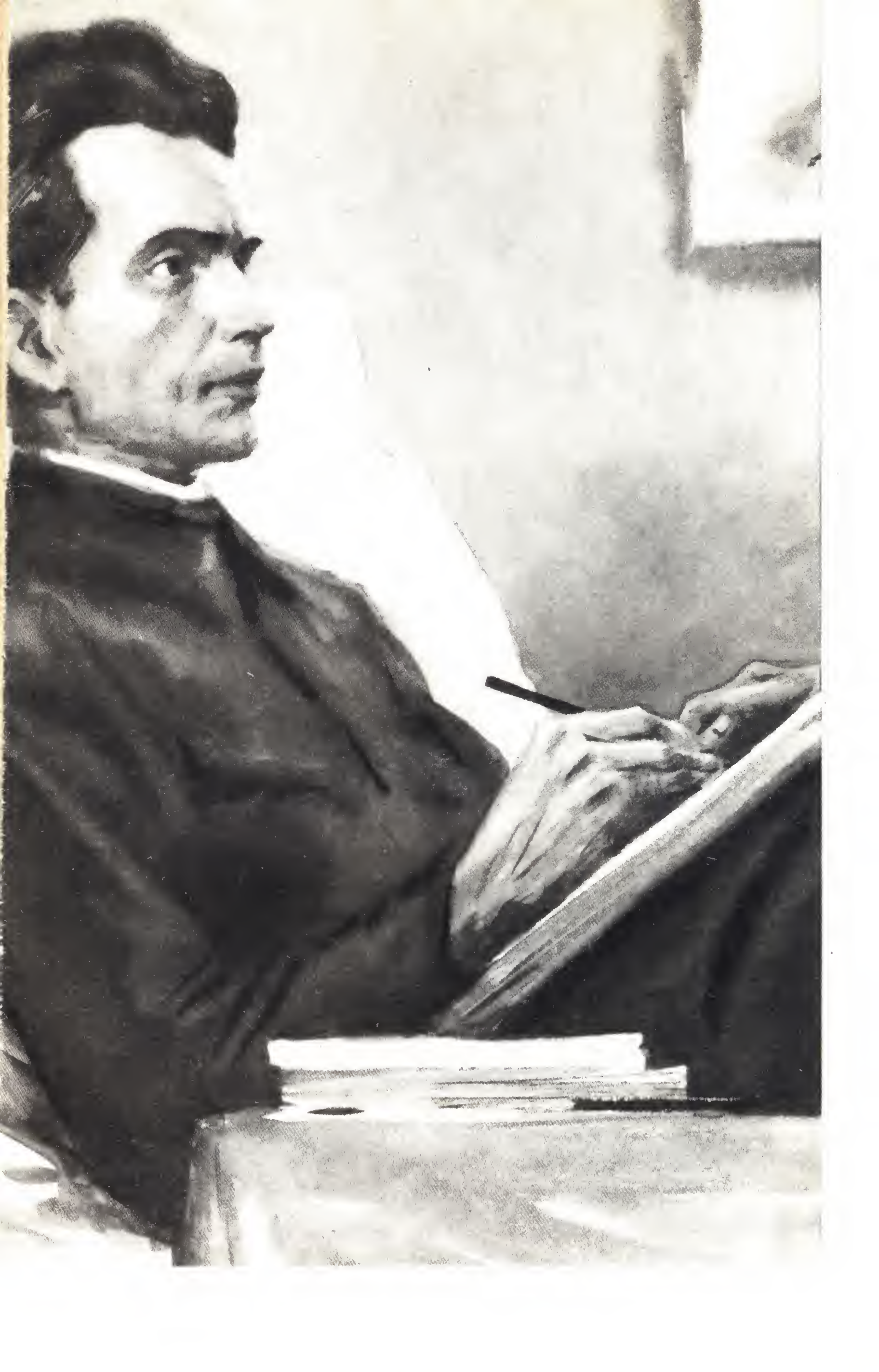
— Сначала у меня на мази дело было. Все статьи подходящие: партбилет есть, стажа по «комсе» хватает, насчет положеньев и происхожденьев носа не подточишь, но когда дело дошло до политпроверки, здесь у меня получилась неприятность.

Заелся я с одним товарищем из комиссии. Подкидывает он мне такой вопросец: «Скажите, товарищ Панкратов, какие сведения вы имеете по философии?» А сведений-то, понимаешь, у меня никаких и не было. Но тут же вспомнил, был у нас грузчик один, гимназист, бродяга. В грузчики из форсу поступил. Он нам рассказывал как-то: черт его знает когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилии не помню, кажись Идеоген, жил всю жизнь в бочке и так далее... Лучшим спецом среди них считался тот, кто сорок раз докажет, что черное — то белое, а белое — то черное. Одним словом, были они брехуны. Ну вот, я рассказ гимназиста вспомнил и подумал: «Объезжает меня с правой стороны этот член комиссии». А тот с хитринкой на меня поглядывает. Ну, я тут и жахнул. «Философия,— говорю,— это одно пустобрехство и наводка теней. Я, товарищи, этой бузой заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет истории партии всей душой бы рад». Давай они меня тут марьяжить, откуда, мол, у меня такие новости про философию. Тут я еще кое-что прибавил со слов гимназиста, от чего вся комиссия в хохот. Я обозлился. «Что,— говорю,— вы с меня тут дурака строите?» За шапку — и домой.

Потом меня этот член комиссии в губкоме встретил и часа три беседовал. Оказывается, гимназистик-то напутал. Выходит, что философия — большое, мудрое дело.

А вот Дубава и Жаркий прошли. Ну, Митяй хоть учился здорово, а Жаркий — тот недалеко от меня отъехал. Не иначе как орден Ваньке помог. Одним словом, остался я на бобах. Меня здесь на пристанях хозяйством ворочать назначили. Замещаю начальника товарной пристани. Раньше я, бывало, всегда с начами вперебой





вступал по разным делам молодежным, а теперь самому приходится руководить делом хозяйственным. Иногда и так бывает: лодырь тебе под руку подвернется или растяпа неповоротливая, так жмешь его и как начальник и как секретарь. Он уж мне очков не вотрет, извиняюсь. О себе потом. Какие я тебе новости еще не рассказывал? Про Акима знаешь, из старых в губкоме только Туфта торчит все на том же месте. Токарев секретарит в райкоме партии на Соломенке. В райкомоле Окунев, твой коммунщик. Политпросветом — Таля. В мастерских на твоем месте Цветаев, я его мало знаю, на губкоме встречаемся, кажется, парень неглупый, но самолюбивый. Если помнишь Борхарт Анну, она тоже на Соломенке, завженотделом райкомпарта. Об остальных я уже тебе рассказывал. Да, Павлуша, много народу партия на учебу бросила. В губсовпартшколе весь старый актив теперь сидит за книжкой. На будущий год обещают и меня послать.

Уснули далеко за полночь. Утром, когда Корчагин проснулся, Игната в доме уже не было, ушел на пристань. Дуся, сестра его, крепкая дивчина, лицом в брата, угощала гостя чаем, весело тараторя о всяких пустяках. Отец Панкратова, судовой машинист, был в поездке.

Корчагин собрался уходить. На прощанье Дуся напомнила:

— Не забывайте, что ждем вас к обеду.

*

В губкоме обычное оживление. Входная дверь не знает покоя. В коридорах и в комнате людно, приглушенный стук машинок за дверью управления делами.

Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, вошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь губкома. Встретил Корчагина коротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать.

Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя Акима.

— По какому вопросу? — спросил секретарь в косоворотке, ставя точку в конце исписанного листа.

Павел рассказал ему свою историю.

— Необходимо, товарищ, воскресить меня в списках организации и направить в мастерские. Сделай об этом распоряжение.

Секретарь откинулся на спинку стула. Ответил нерешительно:

— Восстановим, конечно, об этом разговора быть не может. Но в мастерские посылать тебя неудобно, там уже работает Цветаев, член губкома последнего созыва. Мы тебя используем в другом месте.

Глаза Корчагина сузились:

— Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я иду в цех по специальности, а не секретарем коллектива, и, поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать.

Секретарь согласился. Набросал на бумаге несколько слов.

— Передайте товарищу Туфте, он все уладит.

В учраспреде[1] Туфта разносил в пух и прах своего помощника — учетчика. С полминуты Павел слушал их перебранку, но, видя, что она затягивается надолго, прервал расходившегося учраспредчика:

— Потом доругаешься с ним, Туфта. Вот тебе записка, давай оформим мои документы.

Туфта долго смотрел то на бумагу, то на Корчагина. Наконец уразумел.

— Э! Значит, ты не умер? Как же теперь быть? Ты исключен из списков, я сам посылал в Цека карточку. А потом ты же не прошел всероссийской переписи. Согласно циркуляру Цека комсомола все, не прошедшие переписи, исключаются. Поэтому тебе остается одно — вступать вновь на общих основаниях,— произнес Туфта безапелляционным тоном.

Корчагин поморщился.

— Ты все по-старому? Молодой парень, а хуже старой крысы из губархива. Когда ты станешь человеком, Володька?

Туфта подскочил, словно его укусила блоха.

— Прошу мне нотаций не читать, я отвечаю за свою

---

[1] Отдел учета и распределения. *(Ред.)*

работу. Циркуляры пишутся не для того, чтобы я их нарушал. А за оскорбление насчет «крысы» привлеку к ответственности.

Последние слова Туфта произнес с угрозой и демонстративно подтянул к себе ворох пакетов непросмотренной почты, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Павел не спеша направился к двери, но, вспомнив что-то, вернулся к столу, взял обратно лежавшую перед Туфтой записку секретаря. Учраспредчик следил за Павлом. Злой и придирчивый, этот молодой старичок с большими настороженными ушами был неприятен и в то же время смешон.

— Ладно,— издевательски-спокойно сказал Корчагин.— Мне, конечно, можно припаять «дезорганизацию статистики», но скажи мне, как ты ухитряешься налагать взыскания на тех, кто взял да и помер, не подав об этом предварительно заявления? Ведь это каждый может: захочет — заболеет, захочет — умрет, а циркуляра на этот счет, наверно, нет.

— Го-го-го! — весело заржал помощник Туфты, не выдержавший нейтралитета.

Кончик карандаша в руке Туфты сломался. Он швырнул его на пол, но не успел ответить своему противнику. В комнату ввалились гурьбой несколько человек, громко разговаривая и смеясь. Среди них был Окунев. Радостному удивлению и расспросам не было конца. Через несколько минут в комнату вошла еще группа молодежи, и с ней Юренева. Она долго, растерянно, но радостно жала ему руки.

Павла опять заставили рассказывать все сначала. Искренняя радость товарищей, неподдельная дружба и сочувствие, крепкие рукопожатия, хлопки по спине, увесистые и дружеские, заставили забыть о Туфте.

Под конец рассказа Корчагин передал товарищам и свой разговор с Туфтой. Кругом послышались возмущенные восклицания. Ольга, наградив Туфту уничтожающим взглядом, пошла в комнату секретаря.

— Идем к Нежданову! Он ему прочистит поддувало.— С этими словами Окунев взял Павла за плечи, и они с толпой товарищей пошли вслед за Ольгой.

— Его надо снять и послать к Панкратову на пристань грузчиком на год. Ведь Туфта — штампованный бюрократ! — горячилась Ольга.

Секретарь губкома снисходительно улыбался, выслушивая требования Окунева, Ольги и других снять Туфту из учраспреда.

— О восстановлении Корчагина говорить нечего, ему сейчас же выпишут билет,— успокаивал Ольгу Нежданов.— Я тоже с вами согласен, что Туфта формалист,— продолжал он.— Это его основной недостаток. Но ведь надо же признать, что он поставил дело очень неплохо. Где я ни работал, учет и статистика в комсомольских комитетах — непроходимые дебри и ни одной цифре верить нельзя. А в нашем учраспреде статистика поставлена хорошо. Вы сами знаете, что Туфта иногда просиживает в своем отделе до ночи. И я так думаю: снять его можно всегда, но если вместо него будет рубаха-парень, но никудышный учетчик, то бюрократизма не будет, но и учета не будет. Пусть работает. Я ему намылю голову как следует. Это подействует на некоторое время, а там посмотрим.

— Ладно, шут с ним,— согласился Окунев.— Едем, Павлуша, на Соломенку. Сегодня в нашем клубе собрание актива. Никто еще о тебе не знает — и вдруг: «Слово Корчагину!» Молодец, Павлуша, что не умер. Ну, какая тогда была бы с тебя польза пролетариату? — шутливо резюмировал Окунев, загребая в охапку Корчагина и выталкивая его в коридор.

— Ольга, ты придешь?

— Обязательно.

*

Панкратовы не дождались Корчагина к обеду, не вернулся он и к ночи. Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме Совета у него была отдельная комната. Накормил, чем смог, и, положив на столе перед Павлом кипы газет и две толстые книги протоколов заседаний бюро райкомола, посоветовал:

— Просмотри всю эту продукцию. Когда ты в тифу даром время тратил, здесь немало воды утекло. Читай, знакомься с тем, что было и что есть. Я под вечер приду, и пойдем в клуб, а устанешь — ложись и дрыхни.

Рассовав по карманам кучу документов, справок, отношений (портфель Окунев принципиально игнорировал, и он лежал под кроватью), секретарь райкомола сделал прощальный круг по комнате и вышел.

Вечером, когда он вернулся, пол комнаты был завален развернутыми газетами, из-под кровати выдвинута груда книг. Часть из них была сложена стопкой на столе. Павел сидел на кровати и читал последние письма Центрального Комитета, найденные им под подушкой друга.

— Что ты, разбойник, из моей квартиры сделал! — с напускным возмущением закричал Окунев.— Э, постой, постой, товарищ! Да ты ведь секретные документы читаешь! Вот пусти такого в хату!

Павел, улыбаясь, отложил письмо в сторону.

— Здесь как раз секрета нет, а вот вместо абажура на лампочке у тебя действительно был документ, не подлежащий оглашению. Он даже подгорел на краях. Видишь?

Окунев взял обожженный лист и, взглянув на заголовок, стукнул себя ладонью по лбу.

— А я его три дня искал, чтоб он провалился! Исчез, как в воду канул! Теперь я припоминаю, это Волынцев третьего дня из него абажур смастерил, а потом сам же искал до седьмого пота.— Окунев, бережно сложив листок, сунул его под матрац.— Потом все приведем в порядок,— успокоительно сказал он.— Сейчас шаманем маленько — и в клуб. Подсаживайся, Павлуша!

Окунев выгрузил из кармана длинную воблу, завернутую в газету, а из другого — два ломтя хлеба. Подвинул на край стола бумагу, разостлал на свободном пространстве газету, взял воблу за голову и начал хлестать ею по столу.

Сидя на столе и энергично работая челюстями, жизнерадостный Окунев, мешая шутку с деловой речью, передавал Павлу новости.

*

В клубе Окунев провел Корчагина служебным ходом за кулисы. В углу вместительного зала, вправо от сцены, около пианино, в тесном кругу железнодорожной ком-

сы сидели Таля Лагутина и Борхарт. Напротив Анны, покачиваясь на стуле, восседал Волынцев — комсомольский секретарь депо, румяный, как августовское яблоко, в изношенной до крайности, когда-то черной кожаной тужурке. У Волынцева пшеничные волосы и такие же брови.

Около него, небрежно опершись локтем о крышку пианино, сидел Цветаев — красивый шатен с резко очерченным разрезом губ. Ворот его рубахи был расстегнут.

Подходя к компании, Окунев услышал конец фразы Анны:

— Кое-кто желает всячески усложнять прием новых товарищей. У Цветаева это налицо.

— Комсомол не проходной двор,— упрямо, с грубоватой пренебрежительностью отозвался Цветаев.

— Посмотрите, посмотрите! Николай сегодня сияет, как начищенный самовар! — воскликнула Таля, увидев Окунева.

Окунева затянули в круг и забросали вопросами:

— Где был?

— Давай начинать.

Окунев успокаивающе протянул вперед руку.

— Не кипятитесь, братишки. Сейчас придет Токарев, и откроем.

— А вот и он,— заметила Анна.

Действительно, к ним шел секретарь райкомпарта. Окунев побежал ему навстречу.

— Идем, отец, за кулисы, я тебе одного твоего знакомца покажу. Вот удивишься!

— Чего там еще? — буркнул старик, пыхнув папиросой, но Окунев уже тащил его за руку.

*

...Колокольчик в руке Окунева так отчаянно дребезжал, что даже заядлые говоруны поспешили прекратить разговоры.

За спиной Токарева в пышной рамке из зеленой хвои львиная голова гениального создателя «Коммунистического манифеста». Пока Окунев открывал собрание, Токарев смотрел на стоявшего в проходе кулис Корчагина.

— Товарищи! Прежде чем приступить к обсужде-

нию очередных задач организации, здесь вне очереди попросил слова один товарищ, и мы с Токаревым думаем, что ему слово надо дать.

Из зала понеслись одобряющие голоса, и Окунев выпалил:

— Слово для приветствия предоставляется Павке Корчагину!

Из ста человек в зале не менее восьмидесяти знали Корчагина, и когда на краю рампы появилась знакомая фигура и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями.

— Дорогие товарищи!

Голос Корчагина ровный, но скрыть волнение не удалось.

— Случилось так, друзья, что я вернулся к вам и занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. Я здесь вижу целый ряд моих друзей. Я у Окунева читал, что у нас на Соломенке на треть стало больше новых братишек, что в мастерских и в депо зажигалочникам крышка и что с паровозного кладбища тянут мертвецов в «капитальный». Это значит, что страна наша вновь рождается и набирает силы. Есть для чего жить на свете! Ну, разве я мог в такое время умереть! — И глаза Корчагина заискрились в счастливой улыбке.

Под крики приветствий Корчагин спустился в зал, направляясь к месту, где сидели Борхарт и Таля. Быстро пожал несколько рук. Друзья потеснились, и Корчагин сел. На его руку легла рука Тали и крепко-крепко сжала ее.

Широко раскрыты глаза Анны, чуть вздрагивают ресницы, и в ее взгляде удивление и привет.

*

Скользили дни. Их нельзя было назвать буднями. Каждый день приносил что-нибудь новое, и, распределяя утром свое время, Корчагин с огорчением отмечал, что времени в дне мало и что-то из задуманного остается недоделанным.

Павел поселился у Окунева. Работал в мастерских помощником электромонтера.

Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согласиться на временный отход от руководящей работы.

— У нас людей не хватает, а ты хочешь прохлаждаться в цехе. Ты мне на болезнь не показывай, я и сам после тифа месяц с палкой в райком ходил. Я ведь тебя, Павка, знаю, тут — не это. Ты мне скажи про самый корень,— наступал на него Окунев.

— Корень, Коля, есть: хочу учиться.

Окунев торжествующе зарычал:

— А-а!.. Вот оно что! Ты хочешь, а я, по-твоему, нет? Это, брат, эгоизм. Мы, значит, колесо будем вертеть, а ты — учиться? Нет, миленький, завтра же пойдешь в оргинстр[1].

Но после долгой дискуссии Окунев сдался.

— Два месяца не трону, знай мою доброту. Но ты с Цветаевым не сработаешься, у него большое самомнение.

Возвращение Корчагина в мастерские Цветаев встретил настороженно. Он был уверен, что с приходом Корчагина начнется борьба за руководство, и, болезненно самолюбивый, приготовлялся к отпору. Но в первые же дни он убедился в ошибочности своих предположений. Узнав о намерении бюро коллектива ввести его в свой состав, Корчагин сам пришел в комнату отсекра и, ссылаясь на договоренность с Окуневым, убедил снять этот вопрос с повестки. В цеховой ячейке комсомола Корчагин взял на себя кружок политграмоты, но работы в бюро не добивался. И все же, несмотря на официальный отход от руководства, влияние Павла чувствовалось во всей работе коллектива. Незаметно, дружески он не раз выводил Цветаева из затруднительного положения.

Как-то раз, зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся молодежная ячейка и десятка три беспартийных ребят мыли окна, чистили машины, соскребая с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и хлам. Павел ожесточенно тер огромной шваброй залитый мазутом и жиром цементный пол.

— С чего это вы прихорашиваетесь? — недоуменно спросил Павла Цветаев.

— Не хотим работать в грязи. Тут двадцать лет никто не мыл, мы за неделю сделаем цех новым,— кратко ответил ему Корчагин.

Цветаев, пожав плечами, ушел.

---

[1] Организационно-инструкторский отдел. *(Ред.)*

Электротехники не успокоились на этом и принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего там только не было! Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа, рельсы, буфера, буксы — несколько тысяч тонн металла ржавело под открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация:

— Есть более важные задачи, а со двором на нас не каплет.

Тогда электрики вымостили кирпичами площадку у входа в свой цех, укрепив на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви, и на этом остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам после работы. Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от вековой пыли, смешанной с мазутом, открыли путь солнечным лучам, и те, проникая в машинный зал, ярко отражались в начищенных медных частях дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки.

— М-мда... — удивился Стриж.

В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работы. Стриж прошел туда. Навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел Корчагин.

— Подождите, милейший,— остановил его инженер.— То, что вы делаете, я одобряю. Но кто дал вам краску? Ведь я запретил без моего разрешения расходовать ее — дефицитный материал. Покраска частей паровоза важней того, что вы делаете.

— А краску мы добыли из выброшенных красильных банок. Два дня возились над старьем и наскребли фунтов двадцать пять. Здесь все по закону, товарищ техрук.

Инженер еще раз хмыкнул, но уже смущенно.

— Тогда, конечно, делайте. М-мда... Все-таки интересно... Чем объяснить такое, как это выразиться, добровольное стремление к чистоте в цехе? Ведь это вы проделали в нерабочее время?

Корчагин уловил в голосе техрука нотки искреннего недоумения.

— Конечно. А вы как же думали?

— Да, но...

— Вот вам и «но», товарищ Стриж. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться.

И, осторожно обходя инженера, чтобы не мазнуть его краской, Корчагин пошел к двери.

Вечерами допоздна Корчагин застревал в публичной библиотеке. Он завел здесь прочное знакомство со всеми тремя библиотекаршами и, пуская в ход все средства пропаганды, получил, наконец, желанное право свободного просмотра книг. Подставив лесенку к огромным книжным шкафам, Павел часами просиживал на ней, перелистывая книгу за книгой в поисках интересного и нужного. В большинстве книги были старые. Новая литература скромно умещалась в одном небольшом шкафу. Здесь были собраны случайно попавшие брошюры периода гражданской войны, «Капитал» Маркса, «Железная пята» и еще несколько книг. Среди старых книг Корчагин нашел роман «Спартак». Осилив его в две ночи, Павел перенес книгу в шкаф и поставил рядом со стопкой книг М. Горького. Такое перетаскивание наиболее интересных и близких ему книг продолжалось все время.

Библиотекарши этому не мешали — им было безразлично.

*

В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием: член бюро ячейки среднего ремонта Костька Фидин, курносый, с исцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже — почти нарочно. Произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта Ходоров предложил Костьке просверлить в плите несколько дыр. Костька сначала отказывался, но под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Ходорова в цехе не любили за придирчивую требовательность. Он когда-то был меньшевиком. В общественной жизни не принимал никакого участия, на комсомольцев смотрел косо, но свое дело знал прекрасно и

свои обязанности выполнял добросовестно. Мастер заметил, что Костька сверлит «на сухую», не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его.

— Ты что, ослеп, что ли, или вчера пришел сюда?!— закричал он на Костьку, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении.

Но Костька облаял мастера и опять пустил станок. Ходоров пошел жаловаться к начальнику цеха, а Костька, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об увольнении Фидина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Костьку, опираясь на то, что Ходоров зажимает молодежный актив. Администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось.

Из пяти членов бюро трое были за то, чтобы Костьке вынести выговор и перевести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Костьку виноватым.

Заседание бюро происходило в комнате Цветаева. Здесь стояли большой стол, покрытый красной материей, несколько длинных скамеек и табуреток, собственноручно сделанных ребятами из столярной мастерской, по стенам портреты вождей, позади стола во всю стену развернутое знамя коллектива.

Цветаев был «освобожденный работник». Кузнец по профессии, он благодаря своим способностям за последние четыре месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел членом в бюро райкомола и в состав губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят, за все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность.

Комната — и та декорировалась под его личным наблюдением.

Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка.

Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его.

Павел уже направлялся к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его:

— Корчагин! У нас сейчас закрытое бюро.

Щеки Павла залила краска, и он медленно повернулся к столу.

— Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?

— Я не против, но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел — садись.

Такую пощечину Корчагин получал впервые. На лбу меж бровей родилась складка.

— К чему такие формальности? — высказал свое неодобрение Хомутов, но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет.— Я вот о чем хотел сказать,— заговорил Хомутов.— Насчет Ходорова это верно, он человек на отшибе, но у нас с дисциплиной неважно. Если так все комсомольцы начнут сверла крошить, нам нечем будет работать. А уж беспартийным пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно.

Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут десять, Корчагин понял установку бюро. Когда же приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово.

— Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костьки.

Голос Корчагина был более резок, чем он этого хотел.

— Дело Костьки — это сигнал, а главное не в Костьке. Я вчера собрал немного цифр.— Павел вынул из кармана записную книжку.— Они даны табельщиком. Послушайте внимательно: двадцать три процента комсомольцев ежедневно опаздывают на работу от пяти до пятнадцати минут. Это уже закон. Семнадцать процентов комсомольцев прогуливают от одного до двух дней в месяц систематически, в то время как беспартийный

молодняк имеет четырнадцать процентов прогульщиков. Цифры хуже плетки. Я мимоходом записал и еще кое-что: среди партийцев-прогульщиков четыре процента по одному дню в месяц и опаздывают тоже четыре процента. Среди беспартийных взрослых прогульщиков одиннадцать процентов по одному дню в месяц и опаздывают тринадцать процентов. Поломка инструментов — девяносто процентов падает на молодняк, среди которого только что принятых на работу семь процентов. Отсюда вывод: мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Но это положение не везде одинаково. Кузнице можно только позавидовать, у электриков удовлетворительно, а у остальных более или менее ровно. Товарищ Хомутов, по-моему, сказал о дисциплине лишь на четверть. Перед нами стоит задача — выровнять эти зигзаги. Я не стану агитировать и митинговать, но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят: на хозяина работали лучше, на капиталиста работали исправнее, а теперь, когда мы сами стали хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не столько Костька или кто там другой, а мы с вами, потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а наоборот, под тем или другим предлогом иногда защищали таких, как Костька.

Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Фидин свой парень. Как говорится, «свой в доску»: активист, несет нагрузки. Ну, сковырнул сверло — подумаешь, какая важность, с кем не случается. Зато парень наш, а мастер — чужак... Хотя с Ходоровым никто работы не ведет... Этот придира имеет тридцать лет рабочего стажа! Не будем говорить о его политической позиции. Он сейчас прав: он, чужак, бережет государственное добро, а мы кромсаем заграничные инструменты. Как такой оборот дела назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке.

Предлагаю: Фидина, как лодыря, разгильдяя и дезорганизатора производства, из комсомола исключить. Об его деле написать в стенгазете и открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть силы, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев — хорошие производ-

ственники. Из них шестьдесят человек прошли через Боярку, а эта школа — самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот заровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас.

Обычно спокойный и молчаливый, Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его — Цветаева — авторитета и решил разгромить монтера. Свои возражения он прямо начал с обвинения Корчагина в защите меньшевика Ходорова.

Три часа продолжалась страстная дискуссия. Поздно вечером были подведены ее результаты: разбитый неумолимой логикой фактов и потеряв большинство, перешедшее на сторону Корчагина, Цветаев сделал неверный шаг — поломал демократию: перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты.

— Хорошо, я выйду, хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании, и — уверен — ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, не прав. Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в партколлектив еще до общего собрания.

Цветаев вызывающе крикнул:

— Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю, мы и о тебе поговорим. Если сам не работаешь, то другим не мешай.

Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу. На улице вздохнул полной грудью. Закурив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев.

Корчагин застал слесаря за ужином.

— Рассказывай, послушаем, что у вас там новенького. Дарья, принеси-ка ему миску каши,— говорил Токарев, усаживая Павла за стол.

Дарья Фоминишна, жена Токарева, в противоположность мужу высокая, полнотелая, поставила перед Пав-

лом тарелку пшенной каши и, вытирая белым фартуком влажные губы, сказала добродушно:

— Кушай, голубок..

*

Раньше, когда Токарев работал в мастерских, Корчагин частенько просиживал здесь допоздна, но теперь, по возвращении в город, он был у старика впервые.

Слесарь внимательно слушал Павла. Сам ничего не говорил, старательно работал ложкой, похмыкивая про себя. Покончив с кашей, он вытер платком усы и откашлянулся.

— Ты, конечно, прав. Нам давно пора поставить это дело по-настоящему. Мастерские — основной коллектив в районе, отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаевым поцапались? Плохо. Парень он козыристый, но ты же умел с ребятами работать? Кстати, что ты в мастерских делаешь?

— Я в цехе. Так, вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейке кружок веду политграмоты.

— А в бюро что делаешь?

Корчагин замялся.

— Я на первое время, пока силенок было мало, да и подучиться думал, официально в руководстве не участвую.

— Вот тебе и на! — с неодобрением воскликнул Токарев.— Знаешь, сынок, одно тебя от взбучки выручает — это неокрепшее здоровье. А сейчас как, оправился маленько?

— Да.

— Ну, так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Кто это видел, чтобы с боку припека можно было что-нибудь путное сделать! Да тебе любой скажет — увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправь, а я Окуневу накручу чуба,— с ноткой недовольства в голосе закончил Токарев.

— Ты его не трогай, отец,— вступился Павел,— я сам просил не грузить.

Токарев презрительно свистнул.

— Просил, а он тебя уважил? Ну ладно, что с вами, с комсой, поделаешь... Давай, сынок, по старой привычке газеты почитай... Глаза мои прихрамывают.

*

Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача: личной работой дать пример трудовой дисциплины. На бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он было запетушился, но, припертый в угол выступлением отсекра Лопахина, пожилого, с желто-бледным лицом от сжигающего его туберкулеза, Цветаев сдался и наполовину свою ошибку признал.

На другой день в стенных газетах в мастерских появились статьи, привлекшие внимание рабочих. Их читали вслух и горячо обсуждали. Вечером, на необычно многолюдном собрании молодежного коллектива, только и разговору было, что о них.

Костьку исключили, а в бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросвета — Корчагина.

Необычайно тихо и терпеливо слушали Нежданова. А тот говорил о новых задачах, о новом этапе, в который вступали железнодорожные мастерские.

После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин.

— Пойдем вместе, нам есть о чем поговорить,— подошел он к отсекру.

— О чем речь пойдет? — глухо спросил Цветаев.

Павел взял его под руку и, сделав с ним несколько шагов, остановился у скамьи.

— Сядем на минутку.— И первый сел.

Огонек папироски Цветаева то вспыхивал, то потухал.

— Скажи, Цветаев, за что ты на меня зуб имеешь?

Несколько минут молчания.

— Вот ты о чем, а я думал,— о деле! — Голос Цветаева неровный, деланно удивленный.

Павел твердо положил свою ладонь на его колено.

— Брось, Димка, ездить на рессорах. Это так только дипломаты выкаблучивают. Ты вот дай ответ: почему я тебе не по нутру пришелся?

Цветаев нетерпеливо шевельнулся.

— Чего пристал? Какой там зуб! Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь, выходит, вроде я тебя отшиваю.

Павел не уловил в его голосе искренности и, не снимая руки с колен, заговорил волнуясь:

— Не хочешь отвечать — я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перееду, думаешь — место отсекра мне снится? Ведь если бы не это, не было б перепалки из-за Костьки. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним — неважно, думай, что хочешь. Но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну, так слушай. Нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне пять, и завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука, бери, пока это рука товарища.

С большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони узловатые пальцы Цветаева.

*

Прошла неделя. В райкомпарте кончалась работа. Становилось тихо в отделах. Но Токарев еще не уходил. Старик сидел в кресле, сосредоточенно читая свежие материалы. В дверь постучали.

— Ага! — ответил Токарев.

Вошел Корчагин и положил перед секретарем две заполненные анкеты.

— Что это?

— Это, отец, ликвидация безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки.

Токарев взглянул на заголовок, потом, несколько секунд посмотрев на юношу, молча взял перо в руки. И в графе, где были слова о партстаже рекомендующих товарища Корчагина Павла Андреевича в кандидаты РКП(б), твердо вывел «1903 год» и рядом свою бесхитростную подпись.

— На, сынок. Верю, что никогда не опозоришь мою седую голову.

*

В комнате душно, и мысль одна: как бы скорее туда, в каштановые аллеи привокзальной Соломенки.

— Кончай, Павка, нет моих сил больше,— обливаясь потом, взмолился Цветаев.

Катюша, за ней и другие поддержали его. Корчагин закрыл книгу. Кружок кончил свою работу.

Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул старенький «эриксон». Стараясь перекричать разговаривающих в комнате, Цветаев повел переговоры.

Повесив трубку, он обернулся к Корчагину.

— На вокзале стоят два дипломатических вагона польского консульства. У них потух свет, поезд через час отходит, нужно исправить проводку. Возьми, Павел, ящик с материалом и сходи туда. Дело срочное.

Два блестящих вагона международного сообщения стояли у первого перрона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был ярко освещен. Но соседний с ним утопал в темноте.

Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за поручень, собираясь войти в вагон.

От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его за плечо.

— Вы куда, гражданин?

Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная куртка, широкий козырек фуражки, тонкий с горбинкой нос и настороженно-недоверчивый взгляд.

Артюхин лишь теперь узнал Павла,— рука упала с плеча, выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно застрял на ящике.

— Ты куда шел?

Павел кратко объяснил. Из-за вагона появилась другая фигура.

— Сейчас я вызову их проводника.

В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводником, сидело несколько человек, изысканно одетых в дорожные костюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спиной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она разговаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва монтер вошел, разговор прекратился.

Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салон-вагона, продолжая искать повреждение. За ним неотступно следовал жирный, с шеей боксера, проводник в форме, изобилующей крупными медными пуговицами с изображением одноглавого орла.

— Перейдем в соседний вагон, здесь все исправно, аккумулятор работает. Повреждение, видно, там.

Проводник повернул ключ в двери, и они вошли в темный коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько минут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-матовым светом.

— Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы, они перегорели,— обратился к своему спутнику Корчагин.

— Тогда надо позвать пани, у нее ключ.— И проводник, не желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой.

В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Проводник остановился в дверях, закупорив их своим телом. Павлу бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван шелковое манто, флакон духов и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. Женщина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, наблюдала за работой монтера.

— Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного пива,— угодливо сказал проводник, с трудом сгибая при поклоне свою бычью шею.

Женщина протянула певуче-жеманно:

— Можете идти.

Разговор шел на польском языке.

Полоса света из коридора падала на плечо женщины. Изысканное, из тончайшего лионского шелка, сшитое у первоклассных парижских мастеров платье пани оставляло обнаженными ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая, качался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и руку женщины, словно выточенные из слоновой кости. Лицо было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потолке розетку,

и через минуту в купе появился свет. Оставалось осмотреть вторую электролампочку над диваном, где сидела женщина.

— Мне нужно проверить эту лампочку,— сказал Корчагин, останавливаясь перед ней.

— Ах да, я ведь вам мешаю,— на чистом русском языке ответила пани и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с Корчагиным. Теперь ее было видно всю. Знакомые стрельчатые линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не могло: перед ним стояла Нелли Лещинская. Дочь адвоката не могла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин узнал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти четыре года монтер и есть ее беспокойный сосед.

Пренебрежительно сдвинув брови в ответ на его удивление, она прошла к двери купе и остановилась там, нетерпеливо постукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вторую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и, неожиданно для себя, а тем более для Лещинской, спросил на польском языке:

— Виктор тоже здесь?

Спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве.

— Разве вы его знаете?

— Очень даже знаю. Мы ведь были с вами соседи.— Павел повернулся к ней.

— Вы Павел, сын...— Нелли запнулась.

— Кухарки,— подсказал ей Корчагин.

— Как вы выросли! Помню вас дикарем-мальчиком.

Нелли бесцеремонно рассматривала его с ног до головы.

— А почему вас интересует Виктор? Насколько я помню, вы с ним были не в ладах,— сказала Нелли своим певучим сопрано, надеясь рассеять скуку неожиданной встречей.

Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп.

— За Виктором остался неоплаченный долг. Вы, когда встретите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться.

— Скажите, сколько он вам должен, я заплачу за него.

Она понимала, о каком «расчете» говорил Корчагин. Ей была известна вся история с петлюровцами, но желание подразнить этого «хлопа» толкало ее на издевку.

Корчагин отмолчался.

— Скажите: верно ли, что наш дом разграблен и разрушается? Наверно, беседка и клумбы все разворочены? — с грустью спросила Нелли.

— Дом теперь наш, а не ваш, и разрушать его нам нет расчета.

Нелли саркастически усмехнулась.

— Ого, вас тоже, видно, обучали! Но, между прочим, здесь вагон польской миссии, и в этом купе я госпожа, а вы как были рабом, так и остались. Вы и сейчас работаете, чтобы у меня был свет, чтобы мне было удобно читать вот на этом диване. Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили воду. Теперь мы опять встретились в том же положении.

Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, зачищая ножом кончик провода, смотрел на польку с нескрываемой насмешкой.

— Я для вас, гражданочка, и ржавого гвоздя не вбил бы, но раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим, и мы им голов не рубаем, даже грубостей не говорим, не в пример вам.

Щеки Нелли запунцовели.

— Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы себе в наложницы?

Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись; чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспыхнул свет. Павел выпрямился.

— Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял — такую!

Ящик в руках, два шага к двери. Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное:

— Пшеклентый большевик!

*

На другой день вечером, когда Корчагин направлялся в библиотеку, на улице встретился с Катюшей. Зажав в кулачок рукав его блузы, Зеленова шутливо преградила ему дорогу.

— Куда бежишь, политика и просвещение?

— В библиотеку, мамаша, освободи дорогу,— в тон ей ответил Корчагин, бережно взял Катюшу за плечи и осторожно отодвинул ее на мостовую. Освободясь от его рук, Катюша пошла рядом.

— Слушай, Павлуша! Не все же учиться... Знаешь что? Сходим сегодня на вечеринку, у Зины Гладыш сегодня собираются ребята. Меня девочки давно уже просили привести тебя. Ты ведь в одну политику ударился, неужели тебе не хочется повеселиться, погулять? Ну, не почитаешь сегодня, твоей же голове легче,— настойчиво уговаривала его Катюша.

— Какая это вечеринка? Что там делать будут?

Катюша насмешливо передразнила:

— Что делать! Не богу же молиться, а весело проведут время — и только. Ведь ты на баяне играешь? А я ни разу не слыхала. Ну, сделай ты для меня удовольствие. У Зинкиного дяди баян есть, но дядя играет плохо. Тобой девочки интересуются, а ты над книгой сохнешь. Где это написано, чтобы комсомольцу повеселиться нельзя было? Идем, пока мне не надоело тебя уговаривать, а то поссорюсь с тобой на месяц.

Большеглазая малярка Катя — хороший товарищ и неплохая комсомолка. Корчагину не хотелось обижать дивчину, и он согласился, хоть было и непривычно и диковато.

В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые, чтобы не мешать молодежи, перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде, выходящей в маленький садик, собралось человек пятнадцать парней и дивчат. Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая «кормежка голубей». Посреди веранды стояли два стула спинками друг к другу. На них, по вызову хозяйки, руководившей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала: «Кормите голубей!» — и сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы, губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в «колечко», в «почтальоны», и каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями, причем в «почтальоне», чтобы избежать общественного надзора, поцелуи переносились из освещенной веранды

в комнату, где на это время тушился свет. Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике, в углу, лежала стопка карточек «цветочного флирта». Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет шестнадцати, кокетничая голубыми глазенками, протянула ему карточку и тихо сказала:

— Фиалка.

Несколько лет тому назад Павел наблюдал такие вечера, и если и не принимал в них непосредственного участия, то все же считал нормальным явлением. Но сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни маленького городка, вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным.

Как бы то ни было, а карточка «флирта» была в его руке.

Напротив «фиалки» он прочитал: «Вы мне очень нравитесь».

Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот взгляд.

— Почему?

Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее.

— Роза,— протянула она ему вторую карточку.

Напротив «розы» стояло: «Вы мой идеал». Корчагин повернулся к девушке и, стараясь смягчить тон, спросил:

— Зачем ты этой чепухой занимаешься?

Мура смутилась и растерялась.

— Разве вам неприятно мое признание? — Ее губы капризно сморщились.

Корчагин оставил ее вопрос без ответа. Но ему захотелось узнать, кто с ним разговаривает. И он задавал вопросы, на которые девушка охотно отвечала. Через несколько минут он уже знал, что она учится в семилетке, что ее отец — осмотрщик вагонов и что она знает его давно и хотела с ним познакомиться.

— Как твоя фамилия? — спросил Корчагин.

— Волынцева Мура.

— Твой брат секретарь ячейки депо?

— Да.

Теперь Корчагин знал, с кем он имеет дело. Один из активнейших комсомольцев района, Волынцев, как вид-

но, совсем не обращал внимания на свою сестру, и она росла серенькой мещаночкой. В последний год стала посещать вечеринки у своих подруг с поцелуями до одурения. Корчагина она несколько раз видела у брата.

Сейчас Мура почувствовала, что сосед не одобряет ее поведения, и, когда ее позвали «кормить голубей», она, уловив кривую усмешку Корчагина, наотрез отказалась.

Посидели еще несколько минут. Мура рассказывала о себе. К ним подошла Зеленова.

— Принести баян, ты сыграешь? — И, плутовато щуря глаза, смотрела на Муру.— Что, познакомились?

Павел усадил Катюшу рядом и, пользуясь тем, что кругом смеялись и кричали, сказал ей:

— Играть не буду, мы с Мурой сейчас уйдем отсюда.

— Ого! Заело, значит? — многозначительно протянула Зеленова.

— Да, заело. Ты скажи, кроме нас с тобой, здесь еще комсомольцы есть? Или только мы с тобой в «голубятники» зашились?

Катюша примиряюще сообщила:

— Уже бросили чудить, сейчас потанцуем.

Корчагин поднялся.

— Ладно, танцуй, старуха, а мы с Волынцевой все-таки уйдем.

*

Однажды вечером Борхарт зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин.

— Ты очень занят, Павел? Хочешь, пойдем на пленум горсовета? Вдвоем нам будет веселее идти, а возвращаться придется поздно.

Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер, он был слишком тяжел. Из стола он вынул браунинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окуневу. Ключ спрятал в условленном месте.

В театре встретили Панкратова и Ольгу. Сидели все вместе, в перерывах гуляли по площади. Заседание, как и ожидала Анна, затянулось до поздней ночи.

— Может, пойдем ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко,— предложила Юренева.

— Нет, мы уж с ним договорились,— отказалась Анна.

Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а соломенцы пошли в гору.

Ночь была душная, темная. Город спал. По тихим улицам расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц. На пустом рынке их остановил патруль. Проверив документы, пропустил. Пересекли бульвар и вышли на неосвещенную, безлюдную улицу, проложенную через пустырь. Свернули влево и пошли по шоссе, параллельно центральным дорожным складам. Это были длинные бетонные здания, мрачные и угрюмые. Анну невольно охватило беспокойство. Она пытливо всматривалась в темноту, отрывисто и невпопад отвечала Корчагину. Когда подозрительная тень оказалась всего лишь телефонным столбом, Борхарт рассмеялась и рассказала Корчагину о своем состоянии. Взяла его под руку и, прильнув плечом к его плечу, успокоилась.

— Мне двадцать третий год, а неврастения, как у старушки. Ты можешь принять меня за трусиху. Это будет неверно. Но сегодня у меня особенно напряженное состояние. Вот сейчас, когда я чувствую тебя рядом, исчезает тревога, и мне даже неловко за все эти опаски.

Спокойствие Павла, вспышки огонька его папиросы, на миг освещавшей уголок его лица, мужественный излом бровей — все это рассеяло страх, навеянный чернотой ночи, дикостью пустыря и слышанным в театре рассказом о вчерашнем кошмарном убийстве на Подоле.

Склады остались позади, миновали мостик, переброшенный через речонку, и пошли по привокзальному шоссе к туннельному проезду, что пролегал внизу, под железнодорожными путями, соединяя эту часть города с железнодорожным районом.

Вокзал остался далеко в стороне, вправо. Проезд проходил в тупик, за депо. Это были уже свои места.

Наверху, где железнодорожные пути, искрились разноцветные огни на стрелках и семафорах, а у депо утомленно вздыхал уходящий на ночной отдых «маневрик».

Над входом в проезд висел на ржавом крюке фонарь, он едва заметно покачивался от ветерка, и желто-мутный свет его двигался от одной стены туннеля к другой.

Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик. Два года назад в него плюхнулся тяжелый снаряд и, разворотив его внутренности, превратил лицевую половину в развалину, и сейчас он зиял огромной дырой, словно нищий у дороги, выставляя напоказ свое убожество. Было видно, как наверху по насыпи пробежал поезд.

— Вот мы почти и дома,— облегченно сказала Анна.

Павел незаметно попытался освободить свою руку. Подходя к проезду, невольно хотелось иметь свободной руку, взятую в плен его подругой.

Но Анна руки не отпустила.

Прошли мимо разрушенного домика.

Сзади рассыпалась дробь срывающихся в беге ног.

Корчагин рванул руку, но Анна в ужасе прижала ее к себе, и когда он с силой все же вырвал ее, было уже поздно. Шею Павла обхватил железный зажим пальцев, рывок в сторону — и Павел повернут лицом к напавшему. Прямо в зубы ткнулся ствол парабеллума, рука переползла к горлу и, свернув жгутом гимнастерку, вытянувшись во всю длину, держала его перед дулом, медленно описывающим дугу.

Завороженные глаза электрика следили за этой дугой с нечеловеческим напряжением. Смерть заглядывала в глаза пятном дула, и не было сил, не хватало воли хоть на сотую секунды оторвать глаза от дула. Ждал удара. Но выстрела не было, и широко раскрытые глаза увидели лицо бандита. Большой череп, могучая челюсть, чернота небритой бороды и усов, а глаза под широким козырьком кепки остались в тени.

Край глаза Корчагина запечатлел мелово-бледное лицо Анны, которую в тот же миг потянул в провал дома один из трех. Ломая ей руки, повалил ее на землю. К нему метнулась еще одна тень, ее Корчагин видел лишь отраженной на стене туннеля. Сзади, в провале дома, шла борьба. Анна отчаянно сопротивлялась, ее задушенный крик прервала закрывшая рот фуражка. Большеголового, в чьих руках был Корчагин, не желавшего оставаться безучастным свидетелем насилия, как зверя, тянуло к добыче. Это, видимо, был главарь, и такое распределение ролей ему не понравилось. Юноша, которого он держал перед собой, был совсем зеленый, по виду «замухрай

деповский». Опасности этот мальчишка не представлял никакой. «Ткнуть его в лоб шпалером раза два-три как следует и показать дорогу на пустыри — будет рвать подметки, не оглядываясь до самого города». И он разжал кулак.

— Дергай бегом... Крой, откуда пришел, а пикнешь — пуля в глотку.

И большеголовый ткнул Корчагина в лоб стволом.

— Дергай,— с хрипом выдавил он и опустил парабеллум, чтобы не пугать пулей в спину.

Корчагин бросился назад, первые два шага боком, не выпуская из виду большеголового.

Бандит понял, что юноша все еще боится получить пулю, и повернулся к дому.

Рука Корчагина устремилась в карман. «Лишь бы успеть, лишь бы успеть!» Круто обернулся и, вскинув вперед вытянутую левую руку, на миг уловил концом дула большеголового — выстрелил.

Бандит поздно понял ошибку, пуля впилась ему в бок раньше, чем он поднял руку.

От удара его шатнуло к стене туннеля, и, глухо взвыв, цепляясь рукой за бетон стены, он медленно оседал на землю. Из провала дома, вниз, в яр, скользнула тень. Вслед ей разорвался второй выстрел. Вторая тень, изогнутая, скачками уходила в черноту туннеля. Выстрел. Осыпанная пылью раскрошенного пулей бетона, тень метнулась в сторону и нырнула в темноту. Вслед ей трижды взбудоражил ночь браунинг. У стены, извиваясь червяком, агонизировал большеголовый.

Потрясенная ужасом происшедшего, Анна, поднятая Корчагиным с земли, смотрела на корчащегося бандита, слабо понимая свое спасение.

Корчагин силой увлек ее в темноту, назад, к городу, уводя из освещенного круга. Они бежали к вокзалу. А у туннеля, на насыпи, уже мелькали огоньки и тяжело охнул на путях тревожный винтовочный выстрел.

*

Когда, наконец, добрались до квартиры Анны, где-то на Батыевой горе запели петухи. Анна прилегла на кровать. Корчагин сел у стола. Он курил, сосредоточенно

наблюдая, как уплывает вверх серый виток дыма... Только что он убил четвертого в своей жизни человека.

Есть ли вообще мужество, проявляющееся всегда в своей совершенной форме? Вспоминая все свои ощущения и переживания, он признался себе, что в первые секунды черный глаз дула заледенил его сердце. А разве в том, что две тени безнаказанно ушли, виновата лишь одна слепота глаза и необходимость бить с левой руки? Нет. На расстоянии нескольких шагов можно было стрелять удачнее, но все та же напряженность и поспешность, несомненный признак растерянности, были этому помехой.

Свет настольной лампы освещал его голову, и Анна наблюдала за ним, не упуская ни одного движения мышц на его лице. Впрочем, глаза его были спокойны, и о напряженности мысли говорила лишь складка на лбу.

— О чем ты думаешь, Павел?

Его мысли, вспугнутые вопросом, уплыли, как дым, за освещенный полукруг, и он сказал первое, что пришло сейчас в голову:

— Мне необходимо сходить в комендатуру. Надо обо всем этом поставить в известность.

И нехотя, преодолевая усталость, поднялся.

Она не сразу отпустила его руку — не хотелось оставаться одной. Проводила до двери и закрыла ее, лишь когда Корчагин, ставший ей теперь таким дорогим и близким, ушел в ночь.

Приход Корчагина в комендатуру объяснил непонятное для железнодорожной охраны убийство. Труп сразу опознали — это был хорошо известный уголовному розыску Фимка Череп, налетчик и убийца-рецидивист.

Случай у туннеля на другой день стал известен всем. Это обстоятельство вызвало неожиданное столкновение между Павлом и Цветаевым.

В разгар работы в цех вошел Цветаев и позвал к себе Корчагина. Цветаев вывел его в коридор и, остановившись в глухом закоулке, волнуясь и не зная, с чего начать, наконец, выговорил:

— Расскажи, что вчера было.

— Ты же знаешь.

Цветаев беспокойно шевельнул плечами. Монтер не знал, что Цветаева случай у туннеля коснулся острее

других. Монтер не знал, что этот кузнец, вопреки своей внешней безразличности, был неравнодушен к Борхарт. Анна не у него одного вызывала чувство симпатии, но у Цветаева это происходило сложнее. Случай у туннеля, о котором он только что узнал от Лагутиной, оставил в его сознании мучительный, неразрешимый вопрос. Вопрос этот он не мог поставить монтеру прямо, но знать ответ хотел. Краем сознания он понимал эгоистическую мелочность своей тревоги, но в разноречивой борьбе чувств в нем на этот раз победило примитивное, звериное.

— Слушай, Корчагин,— заговорил он приглушенно.— Разговор останется между нами. Я понимаю, что ты не рассказываешь об этом, чтобы не терзать Анну, но мне ты можешь довериться. Скажи, когда тебя бандит держал, те изнасиловали Анну? — В конце фразы Цветаев не выдержал и отвел глаза в сторону.

Корчагин начал смутно понимать его. «Если бы Анна ему была безразлична, Цветаев так бы не волновался. А если Анна ему дорога, то...» Павел оскорбился за Анну.

— Для чего ты спросил?

Цветаев заговорил что-то несвязное и, чувствуя, что его поняли, обозлился.

— Чего ты увиливаешь? Я тебя прошу ответить, а ты меня допрашивать начинаешь.

— Ты Анну любишь?

Молчание. Затем трудно произнесенное Цветаевым:

— Да.

Корчагин, едва сдержав гнев, повернулся и пошел по коридору, не оглядываясь.

*

Однажды вечером Окунев, смущенно потоптавшись у кровати друга, присел на край и положил руку на книгу, которую читал Павел.

— Знаешь, Павлуша, приходится тебе рассказывать об одной истории. С одной стороны, вроде ерунда, а с другой — совсем наоборот. У меня с Талей Лагутиной получилось недоразумение. Сначала, видишь ли, она мне понравилась.— Окунев виновато поскреб у виска, но, видя, что друг не смеется, осмелел: — А потом у Тали...

что-то в этом роде. Одним словом, я всего этого тебе рассказывать не буду, все видно и без фонаря. Вчера мы решили попытать счастье построить жизнь нашу на пару. Мне двадцать два года, мы оба имеем право голосовать. Я хочу создать жизнь с Талей на началах равенства. Как ты на это?

Корчагин задумался.

— Что я могу ответить, Коля? Вы оба мои приятели, по роду из одного племени. Остальное тоже общее, а Таля особенно дивчина хорошая... Все здесь понятно.

На другой день Корчагин перенес свои вещи к ребятам в общежитие при депо, а через несколько дней у Анны был товарищеский вечер без еды и питья — коммунистическая вечеринка в честь содружества Тали и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтения отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором. Далеко были слышны боевые песни, а позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян, и рокот густых басов и серебряный перезвон ладов заполнили комнату. В этот вечер Павка играл на редкость хорошо, а когда на диво всем пустился в пляс верзила Панкратов, Павка забылся, и гармонь, теряя новый стиль, рванула огнем:

Эх, улица, улица!
Гад Деникин журится,
Что сибирская Чека
Разменяла Колчака...

Играла гармонь о прошлом, об огневых годах и о сегодняшней дружбе, борьбе и радости. Но когда гармонь была передана Волынцеву и слесарь рявкнул жаркое «яблочко», в стремительный пляс ударился не кто иной, как электрик. В сумасшедшей чечетке плясал Корчагин третий и последний раз в своей жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рубеж — это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. На-

верху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб, недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив; изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через шесть шагов напротив — другой столб. Глубоко в землю врыт круглый, тесаный дубовый столбище. На столбе литой железный щит, на нем молот и серп. Меж двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти шесть шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью.

Здесь граница.

От Черного моря на тысячи километров до Крайнего Севера, к Ледовитому океану, выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи Советской Украины и панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В десяти километрах от него, напротив польского местечка Корец,— граница. От местечка Славута до местечка Анаполя район Н-ского погранбата.

Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края.

Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме; тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья доха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена суконным шлемом. На руках бараньи варежки. Доха длинная, до самых пят, в ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дохи на плече — винтовка. Красноармеец, загребая дохой снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе, в открытом поле часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне — на километр-два.

Навстречу красноармейцу, по своей сторожевой тропинке, движется польский жолнер. Он одет в грубые сол-

датские ботинки, в серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка. На фуражке белый орел, на суконных погонах орлы, в петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться: мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу.

Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за километр впереди человеческие фигуры — кто узнает, идут ли эти двое молча или нарушают международные законы.

Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад: бывает, конный разъезд с вахмистром, а то и с паном поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе — ни одной снежинки.

— Товарищу, дай пшепалиць,— первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком-саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет.

Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников, да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ноги в теплых и мягких валенках на скрипучий снег.

— Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек,— на этот раз уже по-русски говорит поляк.

Красноармеец всматривается в своего соседа. «Видать, мороз «пана» пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизня у его дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке, вот и прыгает, как заяц, а без курева так совсем никуды». И красноармеец,

не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец, закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон:

— Оставь у себя, у меня есть.

Но из-за границы доносится:

— Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме два года отсидеть пришлось бы.

Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано: «Ультиматум».

«Да, действительно, для них неподходяще».

Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле.

*

Ритмично скрипят седла, рысь коней успокаивающе-равномерна. На морде вороного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней, лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Пегая кобыла под комбатом красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели, на рукавах по три красных квадрата, но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника — красные. Гаврилов — пограничник. Это его батальон протянул свои посты на семьдесят километров, он здесь «хозяин». Его спутник — гость из Берездова, военный комиссар батальона ВВО Корчагин.

Ночью падал снег. Сейчас он лежит, пушистый и мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в сорока в стороне опять два столба.

— Тпру-у!

Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает вороного, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след, но не звериный след заставил комбата остановиться. В двух

шагах от цепочки запорошенные снегом другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу, и след показывал отчетливо — человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На десяток шагов на польской стороне виден отпечаток ног.

— Ночью кто-то перешел границу,— пробурчал комбат.— Опять в третьем взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Черти! — Усы у Гаврилова с сединкой, а иней от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой.

Навстречу всадникам движутся две фигуры. Одна маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая огромная, в желтой бараньей дохе. Пегая кобыла, чувствуя шенкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку.

— Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь, на участке? — И комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым.

Поляк издали наблюдает. Два красных офицера (а три квадрата у большевиков — это чин майора) здороваются с солдатом, как близкие приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закржевскому, и от этой нелепой мысли невольно оглядывается.

— Только что принял пост, товарищ комбат,— отрапортовал красноармеец.

— След вон там видели?

— Нет, не видел еще.

— Кто стоял ночью от двух до шести?

— Суротенко, товарищ комбат.

— Ну ладно, глядите же в оба.

И, уже собираясь отъезжать, сурово предупредил:

— Поменьше с этими прохаживаться.

Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулась между границей и местечком Берездовом, комбат рассказывал:

— На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днем границу про-

скочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке четыре села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь ни расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти — двадцать шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды. Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской сорокаградусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины: что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян.

Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку.

— Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается?

Комбат ответил угрюмо:

— Вот то-то и оно-то!..

*

Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол, бывшая еврейская черта оседлости. Две-три сотни домишек, бестолково расставленных где попало. Огромная базарная площадь, посреди площади два десятка лавчонок. Площадь грязная, навозная. Опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может, но это уже не то, что было раньше, и жизнь у раввина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в девятьсот семнадцатом году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на раввина без должного уважения. Правда, старики еще не едят «трефного», но сколько мальчишек едят проклятую богом колбасу свиную! Тьфу, паскудно даже подумать! Реббе Борух в сердцах пинает ногой хозяйственную свинью, старательно роющую навозную кучу в поисках съедобного. Да, он—раввин — не совсем доволен тем, что Берездов стал районным центром. Понаехало черт знает откуда этих комму-

нистов, и все крутят и крутят, и с каждым днем все новая неприятность. Вчера он, реббе, увидел на воротах поповской усадьбы новую вывеску:

БЕРЕЗДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
УКРАИНЫ

Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, раввин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги:

Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступают пред исполнительного комитета Лисицын и врид секретаря райкомола товарищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся девятилетки.

Раввин бешено сорвал листок с двери.

«Вот оно, начинается!»

С двух сторон охватывает местечковую церквушку большой сад поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхлая, скучная пустота комнат, в которых жили поп с попадьей, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале, где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Бероздова. На двери маленькой комнатки, направо от парадного хода, мелом написано: «Райкомсомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместительству с работой военкомбата второго батальона всеобщего военного обучения и обязанности секретаря только что созданного райкома комсомола.

Восемь месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны. А кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался...

Тихо в доме. Поздняя ночь, партком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райкомпартии, и сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами мороза. Керосиновая лампа на столе; жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее.

В августе послал его коллектив мастерских как молодежного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав. И до глубокой осени полтораста человек двигались от станции к станции, разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полог‚ Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляй-Поле неделю восстанавливали каменное здание водокачки, нашивали железные заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но не одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом.

Глубокой осенью подошел поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса сто пятьдесят пар рук...

Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех.

Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы. О попытках мятежной рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище. О бунтах Стеньки Разина и Пугачева.

Одним вечером, когда у Анны собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и бесповоротно:

— Я больше не курю.

Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример привел куренье. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. Он сказал то, что думал:

— Человек управляет привычкой, а не наоборот. Иначе до чего же мы договоримся?

Цветаев из угла крикнул:

— Слово со звоном. Это Корчагин любит. А вот если этот форс по шапке, то что же получается? Сам-то он курит? Курит. Знает, что куренье ни к чему? Знает. А вот бросить — гайка слаба. Недавно он в кружках «культуру насаждал».— И, меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой: — Пусть-ка он ответит нам, как

у него с матом? Кто Павку знает, тот скажет: матершит редко, да метко. Проповедь читать легче, чем быть святым.

Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал:

— Я больше не курю.

Помолчав, добавил:

— Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломить дурной привычки. За мной остается ругань. Я, братва, не совсем поборол этот позор, но даже Димка признается, что редко слышит мою брань. Слову легче сорваться, чем закурить папиросу, вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все-таки и ругань угроблю.

*

Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы, разбивало их осенним разливом, и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Соломенка опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства.

Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студеная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови,— и Корчагин запылал в жару. Две недели жег острый ревматизм его тело, а когда вернулся из больницы, у тисков мог работать, лишь сидя «верхом». Мастер только головой качал. А через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался.

С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигался медленно и с мучительной болью. Писала не раз мать, просила навестить, и сейчас он вспомнил о своей старушке, о ее словах на прощанье: «Вижу вас, лишь когда покалечитесь».

В губкоме получил свернутые в трубочку два личных дела: комсомольское и партийное, и, почти ни с кем не прощаясь, чтобы не разжигать горя, уехал к матери.

Две недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги, и через месяц он уже ходил без палки, а в груди билась радость, и сумерки опять перешли в рассвет. Поезд доставил его в губернский центр. Через три дня в орготделе ему вручили документ, по которому он направлялся в губвоенкомат для использования политработником в формировании военобуча.

А еще через неделю он приехал сюда, в занесенное снегом местечко, как военкомбат 2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь.

*

На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предисполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золоченый крест на готической колокольне костела, что стоит через дорогу напротив исполкома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зеленые, как окружающая их трава, крошечные гусята исполкомовской сторожихи.

Предисполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную вьющуюся шевелюру и застряла там.

Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь двадцать четыре года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он, большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит тридцатипятилетним. Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый «видавший виды» френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени.

До Октября Лисицын «командовал» токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед, отец и он почти с детских лет резали и точили железо.

А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партия из од-

ного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник.

Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течет мирно. До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот эта депеша на миг воскрешает недавнее. Скупым телеграфным языком предупреждает депеша:

Совершенно секретно. Берездовскому предисполкома Лисицыну.

На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризовать погранрайоны. Примите меры осторожности. Предлагается ценности финотдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм.

Из окна кабинета Лисицыну виден каждый, кто входит в РИК [1]. На крыльце Корчагин. Через минуту стук в дверь.

— Садись, потолкуем.— И Лисицын пожимает руку Корчагину.

Целый час предисполкома не принимал никого.

Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестренка Лисицына Нюра. Павел звал ее Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась, и сейчас она неловко, по-детски, поздоровалась, откидывая со лба прядку стриженых волос.

— У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду,— сказала Нюра.

— Иди, Анютка, он один.

На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из финотдела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы, и через несколько минут по шоссе загрохотали колеса. Подводы окружал отряд под командой Корчагина. Сорок километров до окружного центра (из них двадцать пять лесом) пройдены благополучно: ценности перешли в сейфы окрфинотдела.

---

[1] Районный исполнительный комитет. *(Ред.)*

А через несколько дней со стороны границы в Берездов прискакал кавалерист. Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев.

У ворот исполкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник вскочил в седло и, сразу же забирая в карьер, поскакал обратно.

Никто не знал содержания пакета, кроме предисполкома, только что прочитавшего его. Но у местечковых обывателей какой-то собачий нюх. Из трех мелких торговцев здесь два обязательно мелкие контрабандисты, и этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность.

По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека. Один из них Корчагин. Этого обыватели знают: он всегда вооружен. Но то, что секретарь парткома Трофимов в портупее с наганом,— это уже плохо.

Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стояла на перекрестке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружались в парткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предисполкома. Ясно — творилось что-то неладное, и большая площадь и глухие переулки словно вымерли — ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких лавчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только бесстрашные куры да разморенные жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч.

На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля, и далеко видна прямая линия дороги.

Сводка, полученная Лисицыным, была немногословна.

Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию конная банда, приблизительно сто сабель при двух ручных пулеметах. Примите меры. След банды

теряется в Славутских лесах. Предупреждаю, днем через Берездов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте.

Комбат отдельного пограничного

Гаврилов.

Уже через час по дороге к местечку показался конный, а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из седьмого полка красного казачества. Разведка была ему в новинку, и когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки КИМ[1], смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотне. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах.

Прошло несколько тревожных дней. Лисицын получил сводку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия: преследуемая красной кавалерией, банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон.

Крошечная группа большевиков — девятнадцать человек — во всем районе напряженно работала над советским строительством. Молодой, только что организованный район требовал создания всего заново. Близость границы держала всех в неусыпной бдительности.

Перевыборы Советов, борьба с бандитами, культработа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа — вот круг, по которому мчалась от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива.

С лошади — к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка; клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой, кто идет?», стук колес убегающей подводы с закордонным товаром — из этого складывались дни и многие ночи военкомбата 2.

Райкомол Берездова — это Корчагин, Лида Полевых, узкоглазая волжанка, завженотделом, и Развалихин Женька — высокий, смазливый, недавний гимназист,

[1] Коммунистический Интернационал молодежи. (Ред.)

«молодой, да ранний», любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Буссенара. Работал Развалихин управделами райкомпартии, месяца четыре назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев «старым большевиком». Некого было послать в Берездов, и после долгих раздумий окружком послал Развалихина «политпросветом».

*

Солнце подобралось к зениту. Зной проникал в самые сокровенные уголки, все живое укрылось под крыши, и даже псы заползли под амбары и лежали там, разморенные жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло все живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья.

Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца.

— До новой встречи, товарищ военком.— Улыбнулась.

Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводья.

— До свиданья, товарищ Ракитина. Итак, решено: завтра вы проводите первый урок.

Конь, чувствуя отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе. Жестокая узда круто повернула коня, и военком увидел, что от околицы, задыхаясь, бежит молодая крестьянка. Выйдя на середину улицы, Ракитина остановила ее. На порогах соседних хат появились люди, больше старики и старухи. Крепкий люд весь в поле.

— Ой, люди добрые, что там делается! Ой, не могу, не могу!

Когда Корчагин подскакал к ним, со всех сторон уже сбегались люди. Женщину осаждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами, но из бессвязных ее слов ничего нельзя было понять. «Убили! Режутся насмерть!» — только вскрикивала она. Какой-то дед с всклокоченной бородой, придерживая рукой полотняные штаны, нелепо подскакивая, наседал на молодуху:

— Не кричи, як самашечая! Игде бьют? За што бьют? Да перестань верещать! Тьфу, черт!

— Наше село с поддубцами бьется... за межи! Поддубецкие наших насмерть бьют!

Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, яростно зарычали старики. И по селу побежало, закружило по дворам призывно, как набат: «Поддубецкие за межи наших косами засекают!» На улицы из хат выскакивали все, кто мог ходить, и, вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу к полям, где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села.

Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешел в галоп. Подхлестываемый криком седока, обгоняя бегущих, вороной рванулся вперед стремительными бросками. Плотно притянув к голове уши и высоко вскидывая ноги, он все убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны свои руки — крылья. От ветряка вправо, в низине, у реки,— луга. Влево, насколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил ее рукой. Ярко рдели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали, снизу, оттуда, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики.

Вниз, к лугам, конь шел страшным аллюром. «Зацепится ногой — и ему и мне могила»,— мелькнуло в голове Павла. Но нельзя уже было остановить коня, и, пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер.

На луг вынесся, как шальной. С тупой, звериной яростью бились здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью.

Конь грудью сбил наземь какого-то бородача, бежавшего с обломком держака косы за молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый, крепкий крестьянин месил поверженного на земле противника тяжелыми сапожищами, старательно норовя поддать «под душу».

Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дерущихся. Не давая

опомниться, бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал бешено:

— Разойдись, гадье! Перестреляю, бандитские души!

И, вырывая из кобуры маузер, полыхнул поверх чьего-то искаженного злобой лица. Бросок коня — выстрел. Кое-кто, кидая косы, повернул назад. Так, остервенело скача на коне по лугу, не давая замолчать маузеру, военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от этого невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с «холерской машинкой», которая стреляет без конца.

Вскоре наехал в Поддубцы районный суд. Долго бился нарсудья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненые выжили. Упорно, с большевистским терпением старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость учиненного ими побоища.

— Межи виноваты, товарищ судья, спутались наши межи! Через то и бьемся каждый год.

Кой-кому ответить все же пришлось.

А через неделю по сенокосу ходила комиссия, вбивала столбики на раздорных местах. Старик землемер, обливаясь потом, измученный жарой и долгой ходьбой, сматывая рулетку, говорил Корчагину:

— Тридцатый год землемерничаю, и везде и всюду межа — причина раздора. Посмотрите на линию раздела лугов, это же что-то невероятное! Пьяный — и тот ровнее ходит. А на полях-то что? Полоска шириной три шага, одна на другую залезает, их разделить — с ума можно сойти. И все это с каждым годом дробится и дробится. Отделился сын от отца — полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через двадцать лет поля будут сплошными межами и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами десять процентов земли гуляет.

Корчагин улыбнулся:

— Через двадцать лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер.

Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника.

— Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это еще где-то в далеком будущем.

— А про Будановский колхоз вы знаете?

— А, вы вот о чем!

— Да.

— В Будановке я был... Но все же это исключение, товарищ Корчагин.

Комиссия мерила. Два парня вбивали колышки. А по обеим сторонам сенокоса стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежней межи, едва заметной по торчащим кое-где из травы полусгнившим палкам.

*

Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, возница повернулся к седокам и, охотливый на слова, рассказывал:

— Кто его знает, як эти комсомолы у нас развелись. Допрежь этого не было. А началось все, надо полагать, от учительши, фамилия ей Ракитина, может, знаете? Молодая еще бабенка, а можно сказать — вредная. Она баб в селе всех бунтует, насобирает их да и крутит карусели, от этого одно беспокойство выходит. Хрястнешь под горячую руку бабу по морде, без этого нельзя,— раньше, бывало, утрется да смолчит, а нынче их хоть не трогай, а то крику не оберешься. Тут и про народный суд услыхать можешь, а которая помоложе — та и про развод скажет и про все законы тебе вычитает. А моя Ганка, до чего уж баба сроду тихая, так теперь делегаткой посунулась. Это вроде за старшую, что ли, над бабами. И ходят к ней со всего села. Я сперва хотел было Ганку вожжами погладить, а потом плюнул. Ну их к черту! Пускай колгочут. Баба она у меня справная и что до хозяйства и так вообще.

Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестанул коренника под брюхо. На повозке ехали Развалихин и Лида. В Поддубцах каждый из них имел дело. Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал налаживать работу в ячейке.

— А разве вам комсомольцы не нравятся? — шутливо спросила Лида у возницы.

Тот пощипал бородку и не спеша ответил:

— Нет, чего ж... По молодости побаловать можно. Спектакль развести али что иное, я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стоящее. Мы спервоначала думали, озорничать станут ребята, ан оно наоборот вышло. От людей слыхали, что насчет пьянки, хулиганства и прочего у них строго. Они больше до обученья. Только вот до бога цепляются и все подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря, старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так — что ж? Непорядок у них вот в чем: к себе принимают самую что ни на есть голытьбу, которые в батраках иль с хозяйством завалюшные. Хозяйских сынов не пускают.

Подвода спустилась с пригорка и подкатила к школе.

*

Сторожиха постелила приезжим у себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Ее разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина.

— Ты чего?

— Тише, Лидка, что ты орешь? Мне одному, понимаешь, скучно так вот лежать, ну его к черту! Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть?

— Убери руки и пошел сейчас же с моей кровати к черту! — Лида толкнула его. Сальную улыбку Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать Развалихину что-то оскорбительное и насмешливое, но ее одолевает сон, и она закрывает глаза.

— Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение. Вы, случайно, не из института благородных девиц? Что же ты думаешь, я так тебе и поверил? Не валяй дурочки. Если ты человек сознательный, то сначала удовлетвори мою потребность, а потом спи, сколько тебе вздумается.

Считая излишним тратить слова, он опять пересел с лавки на кровать и хозяйски-требовательно положил свою руку на плечо Лиды.

— Пошел к черту! — сразу проснувшись, говорит она.— Честное слово, я завтра расскажу Корчагину.

Развалихин схватил ее за руку и зашептал раздраженно:

— Плевать я хотел на твоего Корчагина, а ты не брыкайся, а то все равно возьму.

Между ним и Лидой произошла короткая борьба, и звонко в тишине избы звучит пощечина — одна, другая... Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает на двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования.

— Иди в дом, дура! — злобно крикнул Развалихин.

Он выносит свою постель под навес и остается ночевать на дворе. А Лида, закрывши на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати.

Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком возницей и курил папироску за папироской.

«А ведь эта недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла квашеная! Хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может буза получиться. Корчагин и так косится на меня».

Развалихин пересел к Лиде. Он притворился смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается.

Развалихин добился своего: у околицы местечка Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать.

*

Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым росткам коммунистического движения. Целые дни проводили Корчагин и Лида Полевых в этих селах.

Развалихин в села ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их до-

верие и только портил дело. А у Полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя дивчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола. Корчагина в районе знала вся молодежь. Тысячу шестьсот допризывников охватывал военной учебой второй батальон ВВО. Никогда еще гармонь не играла такой большой роли в пропаганде, как здесь, на сельских вечеринках, на улице. Гармонь делала Корчагина «свойским хлопцем», не одна дорожка в комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы-гармони, то страстной и будоражащей сердце в стремительном темпе марша, то ласковой и нежной в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста — мастерового, нынче военкома и комсомольского «секретарщика». Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники и то, о чем говорил молодой комиссар. Стали слышны в селах новые песни, появились в избах, кроме псалтырей и сонников, другие книги.

Туговато стало контрабандистам, приходилось им оглядываться не только на пограничников: завелись у Советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлеченные порывом самим захватить врага, перебарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшефных. Однажды Гришутка Хороводько, синеглазый секретарь поддубецкой ячейки, горячий на руку, завзятый спорщик, антирелигиозник, получив своими, особыми путями вести о том, что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой, двумя штыками, ячейка во главе с Гришуткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал погранпост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись, и только благодаря выдержке пограничников комсу не перестреляли в происшедшей свалке. Ребят только обезоружили, отведя за четыре километра в соседнее село, посадили под замок.

Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретарь райкома поскакал выручать ребят.

Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказал ему ночное происшествие.

— Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие, мы им дела пришивать не будем. А чтобы они наших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду.

Часовой открыл двери сарая, и одиннадцать парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу.

— Вот посмотрите на них,— огорченно развел руками уполномоченный.— Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ.

Тогда взволнованно заговорил Гришутка:

— Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для Советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали, а вы нас заперли, как бандюков.— И он обиженно отвернулся.

После серьезных переговоров Корчагин и Сахаров, с трудом выдерживая тон, прекратили «нагонять холод».

— Если ты возьмешь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему,— обратился Сахаров к Корчагину.

— Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут.

В Поддубцы ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным. Но мельника все же вскоре накрыли. На этот раз по закону.

*

Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах Майдан-Виллы. В полкилометре друг от друга стоят крепкие кулацкие дворы; дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в Майдан-Вилле свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фельдфебель из родни бандитскую семерку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтом, но не пропуская и советских работников. Оборачивался Антонюк быстро. Сегодня он прибрал двух сельских кооператоров, завтра уже километрах в двадцати разоружил почтови-

ка и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием, один стоил другого, и оба вместе отнимали у окружной милиции и ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом Берездова. Стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать: он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя Лисицын нервно кусал губы.

— До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется, стерва, что я сам за него примусь,— цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался предисполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов, но Антонюк уходил.

Из округа прислали в Берездов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им франтоватый Филатов. Заносчивый, как молодой петух, он не счел нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повел свой отряд в ближнюю деревню Семаки. Придя в нее ночью, расположился с отрядом в первой от околицы избе. Незнакомые вооруженные люди, так скрыто действующие, привлекли внимание комсомольца-соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду, и в район полетел конным нарочным комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицын узнал о «банде» ночью, тотчас же поднял на ноги милицию и с десятком человек поскакал в Семаки. Подлетели ко двору, соскочили с коней и через плетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой маузера в голову, мешком свалился наземь, дверь под тяжелым ударом плеча Лисицына с разлету открылась, и в комнату, слабо освещенную висящей под потолком лампой, ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая маузер в другой, Лисицын заревел так, что задребезжали стекла:

— Сдавайся, а то разнесу в клочья!

Еще секунда — и ворвавшиеся засыплют градом пуль повскакавших с пола сонных людей. Но страшный вид человека с гранатой подымает вверх десятки рук.

А через минуту, когда отрядников выгоняют в одном белье на двор, орден на френче Лисицына развязывает Филатову язык.

Лисицын бешено сплевывает и с уничтожающим презрением бросает:

— Шляпа!

*

Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты оружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряженном ожидании прочитывались газеты, с Запада дули октябрьские ветры. В райкомол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную Армию. Корчагин долго убеждал ходоков от ячеек, что политика Советской страны — это политика мира и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собирались комсомольцы всех ячеек, и в большом поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, походным маршем в полном составе прибыла поддубецкая ячейка комсомола. Корчагин заметил ее в окно и вышел на крыльцо. Одиннадцать парней с Хороводько во главе — в сапогах, с объемистыми сумками за плечами — остановились у входа.

— В чем дело, Гриша? — удивленно спросил Корчагин.

Но Хороводько сделал ему глазами знак и вошел с Корчагиным в дом. Когда Хороводько обступили Лида, Развалихин и еще двое комсомольцев, он закрыл дверь и, серьезно морща вылинявшие брови, сообщил:

— Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил: из района пришла телеграмма, в строгом секрете, конечно, начинается война с германскими буржуями, а скоро начнется и с панами. Так вот из Москвы приказ — всех комсомольцев на фронт, а кто боится, так пускай пишет заявление — его оставят дома. Наказал, чтоб о войне ни слова, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока аль цибули, чтоб через час под секретом за деревней собрались, пойдем в район, а оттуда в округ, где и получим оружие. Подействовало это на ребят здорово.

Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю — без разговору, и кончено! А кто отказывается — пиши бумажку. Поход по добровольности. Разошлись мои ребятки, а у меня сердце стучит: а что, если никто не придет? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному. Кой у кого морда заплаканная, а виду не подают. Все десять пришли, ни одного дезертира. Вот она, поддубецкая ячейка! — восхищенно закончил Гришутка, горделиво стукнув кулаком в грудь.

А когда его взяла «в переплет» возмущенная Полевых, он смотрел на нее непонимающими глазами.

— Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка! Тут тебе без обману каждого видать. Я их для пущей важности хотел в округ тащить, но приустали хлопцы. Пускай идут домой. Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно, а то как же так? Без речи не подходит... Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава.

*

В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае укатывал Развалихин. Вооруженный с ног до головы, мысленно сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам или шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал: кто, откуда и куда держит путь. Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман и в окружком комсомола входил в своем обыкновенном виде.

— Ну, что у вас в Берездове нового?

В комнате Федотова, секретаря окружкома, всегда полно народа. Все говорят наперебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него партбилет с 1919 года. Только в то мятежное время пятнадцатилетний мог стать членом партии.

На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно:

— Всех новостей не перескажешь. Кручусь с утра

до поздней ночи. Все дыры затыкать надо, ведь на голом месте все делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали? — И он деловито уселся в кресло.

Крымский, завэкономотделом, на минуту отрываясь от вороха бумаг, оглядывается.

— Мы Корчагина вызывали, а не тебя.

Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма.

— Корчагин не любит ездить сюда, мне даже и в этом приходится отдуваться... Вообще хорошо некоторым секретарям: ни черта не делают, а на таких, как я, ослах выезжают. Корчагин как заберется на границу, так его недели две-три и нет, а я везу всю работу.

Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарем райкомола.

— Мне что-то не нравится этот гусь,— откровенно признался Федотов окружкомовцам по выходе Развалихина.

Открылись эти развалихинские подвохи случайно. Как-то к Федотову зашел Лисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех. Федотов имел с Лисицыным продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачен.

— Но ты Корчагина все же пришли. Ведь мы с ним здесь почти незнакомы,— прощался с предисполкома Федотов.

— Хорошо. Только уговор: не подумайте его от нас взять. Будем категорически возражать.

*

В этом году Октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, имея во главе и духовой оркестр и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамен, двинулась за село к границе. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала свое шествие по советской земле, вдоль пограничных столбов, направляясь к селам, разделенным надвое

границей. Такое зрелище поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны на конях комбат Гаврилов и Корчагин, сзади гром меди, шелест знамен и песни, песни! Празднично одета крестьянская молодежь, веселье, деревенские дивчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьезные лица взрослых и торжественные — стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течет эта человеческая река, берег ее — граница — ни на шаг от советской земли, ни одна нога не ступила за запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя людской поток. Комсомольские:

От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней! —

сменялись девичьим хором:

Ой, на гори там жници жнут...

Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые и растерянно-смущенно встречали польские. Шествие по границе, хотя о нем заранее было предупреждено польское командование, все же вызвало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии, впятеро усилился состав часовых, а в балках на всякий случай были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен.

На бугре польский часовой. Мерный шаг колонны. Взлетают первые звуки марша. Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает «на караул». Корчагин услыхал отчетливо:

— Нех жие коммуна! [1]

Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел, не отрываясь, смотрит на него.

Друг! Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердце, и Корчагин отвечает тихо по-польски:

— Привет, товарищ!

Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз оборачивался и смотрел на эту черную маленькую

[1] Да здравствует коммуна! *(польск). (Ред.)*

фигурку. Вот и другой поляк. Седеющие усы. Из-под никелированного ободка козырька конфедератки неподвижные, вылинявшие глаза. Корчагин, еще под впечатлением только что слышанного, первый сказал, как бы про себя, по-польски:

— Здравствуй, товарищ!

И не получил ответа.

Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, все слыхал.

— Ты многого захотел,— говорит он.— Кроме солдат простой пехоты, здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм.

Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделенному границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка, на берегу маленькой речки, собралось все советское село. Дивчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши изб и сараев облепили люди, пристально всматриваясь в происходящее за рекой. На порогах хат и у плетней — толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр играл «Интернационал». На самодельной, убранной зеленью трибуне говорили волнующие речи и зеленая молодежь и седые старики. Говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетали границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, нагайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы.

Опустели улицы. Исчезла с крыш согнанная пулей молодежь, а с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну подсаженный парнями старик чабан и, обуреваемый порывом возмущения, взволнованно заговорил:

— Хорошо смотрите, диты! Отак и нас били когда-то, а теперь на селе такого никем не видано, чтоб крестьянина власть нагайкой била. Кончили панов — кончилась и плетка по нашей спине. Держите, сынки, эту власть крепко. Я, старый, говорить не умею. А сказать хотел много. За всю нашу жизнь, что под царем проволочили, як вол телегу тянет, да такая обида за тех!..— И махнул костлявой рукой за речку и заплакал, как плачут только малые дети и старики.

Дедушку сменил Гришутка Хороводько. И, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, всматриваясь — не записывает ли ее кто на том берегу. Но берег был пуст, даже часовой у моста снят.

— Видно, обойдется без ноты Наркоминделу,— пошутил он.

*

Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и те семеро, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хролинские коммунары.

Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего двенадцать, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Берездов сломя голову мчался нарочный. В Семаках наскочил нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было напролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел: выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз, коммунары уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил четырех жизней. Из них три отдала молодая хролинская ячейка комсомола.

*

Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальных частей. Сорок километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход

ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. Восемьсот допризывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона; утром уже начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев, боевой командир, и Корчагин — оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров, с красивым, но обрюзглым лицом, резко спросил Корчагина:

— Почему вы на лошади? У нас командиры и военкомы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими.

Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участие в маневрах не сможет, он не пройдет и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней?

— Я без лошади в маневрах не могу участвовать.

— Почему?

Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил:

— У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ.

— Я начальник штаба вашего полка — это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то не я виноват, что вы находитесь на военной службе.

Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства: обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не задумываясь. Корчагин был военком батальона, этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением! Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил ноги из стремян,

слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошел к правому флангу.

*

Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Берездовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Климентовичи.

Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы. Батальон, разделенный надвое, глубоким обходом, не замеченный «противником», зашел в тыл и с криком «ура» ворвался в вокзал. По решению посредников эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв пятьдесят процентов состава, отошел в лес.

Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказание по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты.

— Товарищ комиссар,— подбежал к ним красноармеец,— комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды. Сейчас приедет комиссия,— запыхавшись, сообщил он Корчагину.

Павел с командирами пошел к переезду.

У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться.

— Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас.

Начштаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо:

— Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прикатили для форса? — Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся.

Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева:

— Ты не знаешь его фамилии?

Гусев хлопнул его по плечу.

— Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется бывший прапорщик.

Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил.

*

Кончились маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Берездов, а Корчагин на два дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артема. Два дня Павел спал по двадцати часов, на третий пришел к Артему в депо. Своим, родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Властно влекло к себе это — с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайного моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть в себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем у подвижного горна. У него второй ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно.

Час-другой поработали вместе. Расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал, потом хлестнул вороного, погнал его по лесной дороге во весь опор.

Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, поприжгли огнем их гнезда, и по селам района стало покойнее жить.

В Берездов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила Полевых.

— Наконец-то приехал! Мы уже без тебя соскучились.— И обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом.

— Где Развалихин? — спросил ее Корчагин, снимая шинель.

Лида как-то неохотно ответила:

— Не знаю, где он. А, вспомнила! Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. «Это,— говорит,— моя прямая функция, а не Корчагина».

Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» — подумал с неудовольствием Корчагин.

— Ну, ладно. Рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела?

Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги.

— Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубецкую ячейку. Ракитина славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом, некоторые из них переходят целиком на нашу сторону.

Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое: сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райкомпартии Лычиков.

Дверь в спальню закрыта. Анютка и жена предисполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой «Русская история» Покровского. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед.

Из Поддубец прилетела весть: ночью неизвестными убит Гришутка Хороводько. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости оседлал коня и, нахлестывая с обоих боков ременной плетью, помчался к границе.

В просторной избе сельсовета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем Совета лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали, у порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя.

Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову набок. Разбитый чем-то острым затылок был закрыт веткой ели.

Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хороводько, потерявшей в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбедчика?

Весть о смерти сына свалила с ног старуху мать, и ее, полумертвую, отхаживали соседки, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели.

Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батрацкого защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов.

Потрясенная этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате и, когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы.

— Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил? — глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул.

— Кто же иначе, как не эта мельникова компания! Ведь этим контрабандистам Гришутка стал поперек горла.

*

Хоронить Гришутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин, вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. Двести пятьдесят штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленатый в красное гроб и поставили на площади, где была вырыта могила рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами.

Кровь Гришутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодежь и беднота обещали ячейке поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади, у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага.

Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря — Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц.

Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд Советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад:

— Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе Советскую власть, с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты, вдесятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыта, убийцы — мельник и его зять — арестованы и на днях будут судимы выездной сессией губсуда. От целого ряда делегаций сел президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применения высшей меры наказания бандитам-террористам...

Зал задрожал от криков:

— Поддерживаем! Смерть врагам Советской власти!

В боковых дверях показалась Полевых. Она поманила пальцем Павла.

В коридоре Лида передала ему пакет с надписью: «Срочное». Распечатал.

Райкомол Берездова. Копия райкомпарт. Решением бюро губкома товарищ Корчагин отзывается из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу.

Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса: первый — перевести в члены Коммунистической партии товарища Корчагина; второй — утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола.

Крепко, до боли, сжимали Павлу руки Лисицын и Лида, по-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал Корчагину.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. У оперного театра остановился. Из него высадилась группа молодежи, и вагон снова пополз вверх.

Панкратов поторапливал отстающих:

— Пошли, ребята. Факт, мы опоздали.

Окунев догнал его уже у самого входа в театр.

— Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с «рабочей оппозицией» к нам возвращался. Хороший был вечер. А сегодня опять с Дубавой драться будем.

Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты стоявшей у входа контрольной группе:

— Да, с Митяем история повторилась опять на этом самом месте.

На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места — вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура.

— В самый раз. Сиди и слушай, что женушка скажет,— шепнул Панкратов, толкая Окунева локтем в бок.

— ...Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот: свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны.

Таля волновалась, прядь волос спадала на лицо и мешала говорить. Она рывком откинула голову назад.

— Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской партконференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и в ячейках коечему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера.

Из правого угла партера Талю прервал чей-то резкий голос:

— Мы еще скажем.

Лагутина повернулась.

— Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем,— предложила она.

Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы.

— Придет время — скажем! — крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали.

По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал:

— Что, еще раз думаете партию трясти?

Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову.

Таля продолжала:

— Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник, многие знают его, арсенальцы в особенности. Дубава — студент Харьковского коммунистического университета, но мы все знаем, что он уже три недели находится здесь вместе с Школенко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они не выступали. Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок.

Таля пыталась толкнуть их на путь признания и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе:

— Помните, три года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой «рабочей оппозиции». Помните его слова: «Никогда партийного знамени из рук своих не уроним», и не прошло трех лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю — уронил. Ведь его слова «мы еще скажем» говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше.

С задних кресел донеслось:

— Пусть Туфта о барометре скажет, он у них за метеоролога.

Поднялись возбужденные голоса:

— Хватит шуточек!

— Пусть ответят: прекращают они борьбу с партией или нет?

— Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию!

Возбуждение нарастало, председательствующий долго звонил.

В шуме голосов слова Тали терялись, но вскоре буря улеглась, и Лагутину снова стало слышно:

— Мы получаем с периферии письма от наших товарищей — они с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юреневой, ее здесь многие знают, она сейчас заворготделом окружкома комсомола.

Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла:

— «Практическая работа заброшена, уже четвертый день все бюро в районах, троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейке окрвоенкомата, в которую входят коммунисты окрплана и рабпроса. В ячейке сорок два человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина, но, когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим...»

Таля оставила трибуну.

*

Сегал уже два месяца работал завагитпропом губкомпарта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов горпартконференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле.

«Как они выросли за эти годы!» — думал Сегал.

— Оппозиционерам уже жарко,— сказал он Токареву,— а тяжелая артиллерия еще не введена в действие: троцкистов громит молодежь.

На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо.

— Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами! — выпалил он в один мах.

Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал.

— Как ни смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал.

В зале моментально стихло.

— Что писал? — долетело из зала.

Туфта оживился.

— Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках.— И Туфта полез в портфель.

— Мы это знаем!

— А что писал Ленин о единстве?

— А о партийной дисциплине?

— Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?

Туфта потерял нить и перешел к другой теме:

— Тут Лагутина читала письмо Юреневой. Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии.

Цветаев, сидевший рядом с Школенко, прошептал с бешенством:

— Пошли дурака богу молиться, он и лоб расшибет!

Школенко так же тихо ответил:

— Да! Этот болван провалит нас окончательно.

Тонкий, визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши:

— Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства!

В зале поднялась буря.

Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний:

— Что такое? Опять большевики и меньшевики!

— РКП не парламент!

— Они для всех стараются — от Мясникова и до Мартова!

Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачастил словами:

— Да, нужна свобода группировок. Иначе как мы — инакомыслящие — сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?

В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул:

— Дайте ему высказаться, это полезно знать. Туфта выбалтывает то, о чем другие молчат.

Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов:

— Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губкомола. Ничего, скоро увидим, кто был прав.— И он выкатился со сцены в зал.

Дубава получил от Цветаева записку:

«Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дела, наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить Туфту. Это ведь дурак и болтун».

Дубава попросил слова; оно ему было сейчас же дано.

Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом, и

дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо:

— Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно: вас — большинство.

Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке, стегнули Дмитрия гневные восклицания:

— Позор!

— Долой раскольников!

— Хватит! Довольно поливать грязью!

Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней.

— Слово имеет Школенко,— сказал председательствующий.

Михайло поднялся.

— Я отказываюсь от выступления.

С задних рядов прогудел бас Панкратова:

— Прошу слова!

По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломенке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним были Цветаев и Школенко. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Школенко остался. Теперь он отказался выступить.

«Мягкотелый интеллигент! Они его распропагандировали, конечно»,— зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления «сорока шести». В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире — у Анны. Анна Борхарт уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющей его взглядов, ухудшаются с каждым днем еще и оттого, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом.

Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь.

— Товарищи! — твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой рампы.— Товарищи! Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо: они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе,— их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические! Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и Троцким, тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб — и это все в то время, когда отряд окружен врагами? Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще мо-

гу считаться «порядочным», но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже «бюрократ» и «аппаратчик»?! Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей «демократией», или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе? Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О «большевизме» Троцкого пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда имя это противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например Токарева и товарища Сегала, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придем к победе!

Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали.

*

На другой день у Туфты собралось человек десять. Дубава говорил:

— Мы с Школенко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остается только выжидать, как обернутся события. Ясно, что всероссийская конференция нас

осудит, но, мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции,— значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем.— И Дубава приподнялся, собираясь уходить.

Худой, с тонкими губами, Староверов тоже встал.

— Я тебя не понимаю, Митяй,— заговорил он, слегка картавя и заикаясь.— Что же, решение конференции для нас будет не обязательным?

Его резко оборвал Цветаев:

— Формально — обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует, а сейчас разойдемся.

Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Школенко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию.

— Я против таких комбинаций,— сказал он глухо, внезапно раздражаясь.— Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться.

Староверов посмотрел на него с одобрением.

— Я это сам хотел сказать,— прошепелявил он.

Дубава уставился на Школенко в упор и с нарочитой издевкой процедил:

— Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность «покаяться» на губернской конференции.

Школенко вскочил на ноги.

— Что это за тон, Дмитрий! Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции.

Дубава отмахнулся от него:

— Тебе только это остается. Иди кайся, пока не поздно.

И Дубава, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным.

За ним вскоре ушли Школенко и Староверов.

*

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией.

В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работало только три: индо-европейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции Шепетовка 1-я три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Всем, всем, всем!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей.

Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова.

Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...»

Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать.

«...вчера в Горках скончался...»

Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообще-

ний, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Всем, всем, всем!» Аппарат стучал. «В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч»,— переводил стуки молоточка в буквы старик телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое, он — посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк,— это была «Л». За ней он написал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове:

«ЛЕНИН».

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово — «ЛЕНИН». Что? Ленин? Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик:

— Ленин умер!

*

Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра за-

металась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот.

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Полентовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Бруззжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема.

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки.

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его.

— Товарищи! Ленин умер!

Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол.

— Ты что сказал? — Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть.

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорванно:

— Да, товарищи, Ленин умер...

И оттого, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь партколлектива.

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир.

А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий... В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С» — паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда.

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетов-

ка — Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов.

Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова.

Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин.

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю, умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию. Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды...

Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога и могучие плечи дрогнули.

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива.

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море.

Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале.

*

Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не уди-

вило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Сиротенко сказал:

— Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами.— И он прочел заявление:

В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка, Юго-западной железной дороги.

Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина.

Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей.

Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена:

— Полентовский Станислав Зигмундович — паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.

По залу пробежал гул одобрения.

— Корчагин Артем Андреевич — слесарь, семнадцать лет производственного стажа.

— Бруззжак Захар Васильевич — паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.

Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.

Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый поставивший свою подпись.

Старик Полентовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни:

— ...Что ж мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известно какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильиче-

ва смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.

Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения.

Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово.

От стола Полентовский уходил коммунистом.

Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе, в ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ.

— Расскажи свою биографию, Артем! — услыхал слесарь голос Сиротенко.

Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.

— Было нас у матери четверо,— начал Артем.

В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей.

— Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло

больше чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалования, на три года — за одни харчи... Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он намертвую... Гонял и за углем и за железом... Заделала меня хозяйка своим холуем: таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины — так уж, по привычке: не потрафлю хозяйке чем — она из-за пьянки мужа на всех зла была,— хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет... В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай,— говорит,— мне вон ту шайбу»,— и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынул. На земле она лежит черная, а хватишь — сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я под-

ручным слесаря. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы все знаете.

Артем повел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:

— Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам еще в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети... Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть Советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?

Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.

— Может, кто желает спросить о чем-нибудь? — нарушил тишину Сиротенко.

Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:

— О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!

Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:

— Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!

В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невидный в полутьме, и спросил:

— Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии.

В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал:

— Говори по-простому! Нашел, где звонарить...

Но Артем уже отвечал:

— Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.

Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услыхал голос Сиротенко:

— Единогласно.

Третьим у стола президиума остановился Захар Брузжак. Неразговорчивый старый помощник Полентовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно:

— Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашивайте, настоящая наша жизнь начинается заново.

Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметком рук принимали в партию, глаза его прояснились, и седеющая голова больше не опускалась.

До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью.

Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве высокого в пенсне — красная повязка с надписью: «Комендант».

— Здесь заседание украинской делегации? — спросила Рита.

Высокий ответил официально:

— Да! А в чем дело?

— Разрешите пройти.

Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес:

— Ваш мандат? Пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками.

Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел: «Член Центрального Комитета». Официальность с него как рукой сняло, сразу стал вежливым и «свойским».

— Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места.

Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым.

— Итак, товарищи, представители от делегации в сеньорен-конвент [1] всероссийского съезда избраны. До начала остается два часа. Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд.

Рита узнала Акима: это он читал торопливо перечень фамилий.

В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами.

Рита слушала с напряженным вниманием.

Вот одна знакомая фамилия:

— Панкратов.

Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомое — «Окунев», и сейчас же вслед за ним другое — «Жаркий».

Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко вполуоборот к ней. Вот и его забытый профиль... Да, это Ваня. Несколько лет не видела его.

Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть:

— Корчагин.

---

[1] Собрание представителей от делегаций *(лат.)*. *(Ред.)*

Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и странно — Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул:

— Не опаздывайте!.. Большой театр... семь часов!..

У выходной двери образовался затор.

Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов.

«Что же, Корчагин, пойдем и мы, старина!» — услыхала она сзади, и голос, такой знакомый, такой памятный, ответил:

«Пошли».

Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем, и в синих рейтузах.

Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита, и когда ее тепло обняли руки и дрогнувший голос сказал тихо: «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин.

— Ты жив?

Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой.

Зал опустел, в раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили шесть раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на полголовы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее.

— Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь.

— Я секретарь окружкома молодежи, или, как говорит Дубава, «аппаратчик»,— и Павел улыбнулся.

— Ты его видел?

— Да, видел, и эта встреча оставила неприятное воспоминание.

Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Оно устремлялось на каменную громаду театра, пыталось прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты.

Море вокруг театра — комсомольское. Все это братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и, также показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь. Но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в партер. И тогда их, к величайшему удовольствию остальных «безбилетников», выпроваживали за двери.

Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал в нем присутствовать.

Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали: их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам — тоже комсомольцам — становилось трудно, их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик:

— Нажимай, бауманцы, нажимай!

— Вызовите Чаплина, Сашу Косарева, они нас пропустят.

— Нажимай, братишка, наша берет!

— Да-е-ш-ш-шь!..

В дверь вместе с Корчагиным и Ритой вьюном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг — и он исчез в потоке делегатов.

— Сядем здесь,— указала Рита на «места за креслами», когда они вошли в партер.

Сели в углу.

— Я хочу получить ответ на один вопрос,— сказала Рита.— Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь: зачем ты прервал тогда, давно, наши занятия и нашу дружбу?

Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял: она знает.

— Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было три года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь.

Рита улыбнулась.

— Это хорошее предисловие. Но я жду ответа.

Павел заговорил тихо:

— В этом виноват не только я, но и Овод, его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по «Оводу». Сейчас мне это смешно, но больше досадно.

— Значит, «Овод» переоценен?

— Нет, Рита, в основном нет! Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в Оводе — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим.

— Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти,— сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье.

— Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем?

— Нет, Павел, мог стать и больше.

— Это можно исправить.

— Немного поздно, товарищ Овод.

Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее:

— У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно.

Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти три года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно — об этом говорили его глаза,— но он сказал без жеста, правдиво:

— Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял.

Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам». Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом: «Будущее принадлежит нам».

А прибой продолжается; еще несколько минут — и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется, Чаплин начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты:

— Шестой съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи считаю открытым.

Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма.

*

Съезд забирал у его участников все время от раннего утра до глубокой ночи, и Павел вновь встретил Риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев.

— Завтра после закрытия съезда я сейчас же уезжаю,— сказала она.— Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощанье. Поэтому я сегодня приготовила тебе

две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала.

Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты.

Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа, и Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти.

Через день поезда уносили их в разные стороны.

Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо.

«Павлуша, милый!

Я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного: чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключение, правда, очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь, но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства.

Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки.

Рита».

Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев.

К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за Талей, остав-

шейся у Анны. Панкратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати побывать у Жаркого и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рите тетради, и когда вышел к поезду, никого из друзей не было.

*

Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево — к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверно, спит»,— подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из нее на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи.

Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь.

— Ты что, к товарищу Борхарт? — спросил он хрипло, смотря куда-то в угол.— Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь?

Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе.

— Я этого не знал. Куда она переехала? — спросил он.

Дубава внезапно озлился.

— Это меня не интересует.— И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой: — А ты утешать ее пришел? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. Тем более отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился, или как там у баб еще называется. Лови момент, тут вам и единство души и тела.

Павел почувствовал жар на щеках. Сдерживая себя, тихо сказал:

— До чего ты дошел, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?

Дубава прислонился к стене. Ему, видно, было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежил-

ся. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная пухлощекая женщина.

— Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь?..

Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом.

— Хорошее начало...— сказал Павел.— Кого ты к себе пускаешь и до чего это доведет?

Дубаве, видно, надоели переговоры, и он крикнул:

— Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен! Довольно мне акафисты читать! Можешь улепетывать, откуда пришел! Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой.

Павел подошел к нему и сказал волнуясь:

— Митяй, выпроводи эту тетку, я хочу еще раз, в последний, поговорить с тобой...

Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату.

— Эх, гад! — прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы.

*

Прошло два года. Беспристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь, стремительная, многокрасочная, заполняла эти дни (с виду однообразные) всегда чем-то новым, не похожим на вчерашнее. Сто шестьдесят миллионов, составляющие великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливалась силой, и уже не видно было бездымных труб, еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов.

Эти два года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, размеренно-ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял.

На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты, и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За два года был проработан третий том «Капитала».

Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации.

В округ, где работал Корчагин, заявился Развалихин. Его посылал губком с предложением использовать секретарем райкома. Корчагин был в отъезде, и в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин, узнал об этом — ничего не сказал.

Прошел месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашел он немного фактов, но среди них уже были: пьянка, сколачивание вокруг себя подхалимов и затирание хороших ребят. Корчагин все это поставил на бюро, и, когда все высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, Корчагин неожиданно сказал:

— Исключить без права вступления.

Это удивило всех, показалось слишком резким, но Корчагин повторил:

— Исключить негодяя. Этому гимназистишке давалась возможность стать человеком, но он просто примазался.— Павел рассказал о Берездове.

— Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты, мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался,— значит, его исключить надо? Нет, пусть он даст документ! — кричал Развалихин.

— Подожди, напишем и документ,— ответил ему Корчагин.

Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился резолюции: «Исключить как чуждый элемент из рядов комсомола».

*

Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин отпускал свою братву на отдых, добывал им санаторные путевки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит телегу на подъем. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но все лето кого-то не было, а жизнь

не останавливала своего шага, и немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате.

Так проходило лето.

Осень и зиму Павел не любил: они приносили ему много физического страдания.

Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода: или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе.

Как-то на партбюро окружкома к нему подсел старик подпольщик доктор Бартелик, завокрздравом.

— Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру.

Павел в комиссию не пришел — был занят, но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра (Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог) было записано:

«Лечкомиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы».

Этому предшествовал длинный перечень болезней по-латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы.

Бартелик провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска заворготделом комсомольского окружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал.

Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию.

Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум окркомола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным.

И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни не виданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал.

Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания агитпропа. Когда он вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, завокрнархозом, высокий, с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой.

Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам — по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказывала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК [1] Файло отвертелся, доказательств дивчина не имела, но Павел верил ей. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии.

— Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?

Это спрашивал Грибов, один из приятелей Файло, человек под стать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал.

— Можешь меня поздравить: я вчера обработал Коротаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет. Нет, братец, я уж как за какой уцеплюсь, так будьте уверены,— и Файло прибавил похабную фразу.

Корчагин почувствовал нервный озноб — признак острого раздражения. Коротаева была завокрженотделом [2]. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или

---

[1] Контрольная комиссия. *(Ред.)*
[2] Заведующая окружным женотделом. *(Ред.)*

совета. Среди работников комитета Коротаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло, несомненно, говорил о ней.

— А ты не врешь, Файло? Что-то на нее не похоже...

— Я вру? За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло. А за другой приходится месяц бегать. Главное — надо узнать психологию. Везде особый подход. Это, братец, целая наука, но я в этом деле профессор. Хо-хо-хо-хо!..

Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности.

Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце.

— Коротаеву взять так себе, «на бога», нечего было и думать, а упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым на дюжину портвейна поспорил. Ну, я и начал диверсию. Зашел раз, другой. Смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет,— может, и к ней дошло... Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ха-ха!.. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу понабил кучу, мотался по свету, горя, дескать, хлебнул немало, а бабы вот путящей себе не нашел, живу, как одинокая собака,— ни ласки, ни привета... И давай и давай накручивать, все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе, из-за принципа я от нее не отставал... Наконец добился до ручки. За мое терпение — я вместо бабы на девку наскочил. Ха-ха!.. Эх, умора!

И Файло продолжал гнусный рассказ.

Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло.

— Скотина! — заревел Павел.

— Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?

Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь.

— Так ты меня оскорблять?!

И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем.

Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло.

Но нелепое все же случилось: в день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом.

В городском театре вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет народный суд и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался.

— Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно, а то, что на меня тут бабье рассвирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания. А дело выеденного яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему. А сейчас здесь и без меня обойдется.— И ушел.

Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя.

— Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария, и, прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина по существу правильна. Файло — отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о быте, это единственно положительное во всем деле.

Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание.

Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан.

*

Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. Окружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение ЦК комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК комсомола был Аким. К нему зашел Павел и рассказал обо всем.

В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел: «Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому — тяжелое поражение нервной системы».

— Все-таки записали тебе, Павлуша, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся, бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся силенок. Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать.

И Аким крепко пожал ему руку.

*

Санаторий ЦК — «Коммунар». Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной, Корчагин устремился к морю.

Насколько мог окинуть глаз — величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор, морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы; расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского

бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы.

Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рядом с санаторием ЦК — большой сад центральной поликлиники. Через него коммунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой чинары, у высокой, из серого известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживленное движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку, будучи вдали от раздражающей сутолоки большого курорта.

И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилег на плетеную качалку и, разморенный морской ванной и солнцем, задремал. Мохнатое полотенце и недочитанный «Мятеж» Фурманова лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряженной нервозности, не прекращались головные боли. Профессора все еще изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту.

— Честное слово, я устал от всего этого,— говорил Павел.— Пять раз в день рассказывай одно и то же. Не была ли сумасшедшей ваша бабушка, не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел, я его и в глаза не видел! Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или еще чем-нибудь похуже, а мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть! А то, если меня будут изучать все полтора месяца, я стану социально опасным.

Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу.

Сегодня осмотра не предвиделось. До обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаз не открыл: «Подумает, что сплю, и уйдет». Напрасная надежда: скрипнула качалка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказывал, что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел,— ослепительно белое платье и загорелые ноги в сафьяновых чувяках, затем стриженную по-мальчишечьи головку, два огромных глаза, ряд острых, как у мышонка, зубов. Она улыбнулась смущенно.

— Извините, я, кажется, вам помешала?

Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него еще была надежда, что соседка уйдет.

— Это ваша книга?

Она перелистывала «Мятеж».

— Да, моя.

Минута молчания.

— Скажите, товарищ, вы из санатория Цека?

Корчагин нетерпеливо шевельнулся. «Откуда ее принесло? Отдохнул, называется. Сейчас, наверно, спросит, чем я болен. Придется уходить». Он сказал неласково:

— Нет.

— А я как будто видела вас там.

Павел уже подымался, когда сзади грудной женский голос спросил:

— Ты чего сюда забралась, Дора?

На край качалки присела загорелая полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина.

— Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?

— Да, в Харькове.

Корчагин решил закончить эти длинные переговоры.

— На какой работе?

— В ассенизационном обозе! — и невольно вздрогнул от их хохота.

— Нельзя сказать, чтобы вы были очень вежливы, товарищ!

Так началась их дружба, и Дора Родкина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства.

*

Неожиданно в саду санатория «Таласса», куда Корчагин пришел на один из послеобеденных концертов, он встретился с Жарким.

И, как ни странно, свел их фокстрот.

После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду, у самой эстрады, кто-то поднялся и яростно крикнул:

— Довольно проституировать! К черту!

Павел узнал Жаркого.

Тапер оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла.

Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто кричал, злобно зашикали за стульями:

— Какое хамство — прерывать номер!

— Вся Европа танцует!

— Возмутительно!

Но из группы коммунаровцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что труппа уезжает.

— Катись колбаской по Малой Спасской! Скажи деду — в Москву еду! — под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате.

Корчагин разыскал в первых рядах Жаркого. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпропом в одном из окружкомов партии.

— А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь, или сын,— сказал Жаркий.

— Ого, кто же твоя жена? —удивился Корчагин.

Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу.

— Узнаешь?

На снимке был он и Анна Борхарт.

— А Дубава где? — еще более удивляясь, спросил Павел.

— Дубава в Москве. Он ушел из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ [1]. По слухам, его восстановили, а зря! Отравленный он человек... Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода. Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны, а все же как приятно встретиться и вспомнить старое,— говорил Жаркий.

В комнату вошла Дора и с ней несколько человек. Высокий тамбовец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркого и спросила у Павла:

— Твой товарищ — член партии? Где он работает?

Не понимая, в чем дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарком.

— Тогда пусть останется. Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости. Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание,— объяснила Дора.

Почти все собравшиеся были старые большевики, за исключением Павла и Жаркого. Член МКК [2] Барташев рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым.

— Наше присутствие на местах в такой напряженный момент необходимо,— закончил Барташев.— Я выезжаю завтра.

Через три дня после собрания в комнате Павла

[1] Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. *(Ред.)*
[2] Московская контрольная комиссия. *(Ред.)*

санаторий досрочно опустел. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока.

В ЦК комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружкомола в одном из промышленных округов, и уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь.

Глубокой осенью автомобиль окружкома партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от города районов, свалился в придорожную канаву и перевернулся.

Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харькове. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию.

Корчагин согласился.

— Тогда завтра утром,— сказал в заключение тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся. Вслед за ним вышли и остальные.

Маленькая светлая палата на одного. Безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета. Корчагин огляделся. Тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет — и все.

Санитарка принесла ужин.

Павел от него отказался. Полусидя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, есть не хотелось.

Когда четвертое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке.

В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся черными. В одной руке она держала портфель, в другой — лист бумаги и карандаш.

— Я ваш ординатор,— сказала она,— сегодня дежурю. Сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придется рассказать о себе все.

Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала «допрос» менее неприятным.

Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках.

*

В операционной несколько человек с завязанными марлей носами.

Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор кончал мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы. Его ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге.

— Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах,— тихо проговорила она.

— Вы о чьих нервах говорите, доктор? — И Корчагин насмешливо улыбнулся.

Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо, профессор сказал:

— Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко, через нос, и считайте.

Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил:

— Хорошо. Заранее прошу извинения за возможные непечатные выражения.

Профессор не удержался от улыбки.

Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный запах.

Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчетливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей трагедии.

*

Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то волнуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бежал по ним не отрываясь:

«Артем! Мы очень редко пишем друг другу.

Раз, иногда два раза в год! Разве дело в количестве? Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни — отсталая, мелкособственническая психология Стеши, ее родни и прочее. Переделывать людей типа Стеши трудно, боюсь, что тебе это даже не удастся. Говоришь, «трудно учиться под старость», но у тебя это идет неплохо. Ты не прав, что так упрямо отказыва-

ешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело.

Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях, меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил, а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец.

Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию — «больного», выношу кучу страданий, и в результате всего этого — потеря движений в колене правой ноги, несколько швов на теле и, наконец, последнее врачебное открытие: семь лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвратиться в строй.

Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я, как только стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий «Майнак» в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка. Береги здоровье, не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба — знание, и все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму твою руку.

Павел Корчагин».

В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила:

— В Крым уезжаете завтра? Где же вы проведете сегодняшний день?

Корчагин ответил:

— Сейчас придет товарищ Родкина. Сегодняшний день и ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вокзал.

Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу.

— Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом? Я ему

подробно рассказывала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером.

Корчагин немедленно согласился.

В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в просторный кабинет своего отца.

Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесенной по-латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем.

Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним: он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое заключение.

В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать, что сказать; ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. «Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить».

Как врач и друг, она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды.

— Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторийские грязи создадут перелом и вы сможете осенью вернуться к работе.

Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают два острых глаза.

— Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не надо скрывать, я не упаду в обморок и не зарежусь. Но я очень хочу знать, что меня ожидает впереди,— произнес Павел.

Бажанова отделалась шуткой.

В этот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтрашнем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала:

— Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам понадобится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю все, что будет в моих силах.

Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей пролетке.

*

Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в десять минут доставляет пассажиров к двухэтажному, из серого известняка зданию санатория «Майнак».

Дежурный врач разводит приехавших по комнатам.

— Вы по какой путевке, товарищ?—спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под № 11.

— ЦК КП(б)У.

— Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером. Он немец и просил дать ему соседа русского,— объяснил врач и постучал.

Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке:

— Войдите.

В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой.

— Гут морген, геноссен. Я хотель сказать, ждравствуй,— поправился он и протянул Павлу бледную, с длинными пальцами руку.

Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и между ними происходил оживленный разговор на том «международном» языке, где слова играют подсобную роль, а неразобранную фразу дополняет догадка, жестикуляция, мимика — вообще все средства неписаного эсперанто. Павел знал уже, что Эбнер — немецкий рабочий.

В гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро и этим сразу снискал уважение Павла.

Лучшего соседа Корчагин и не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды.

«Жаль только, что я по-немецки ни в зуб ногой»,— подумал он.

*

В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными «Исполком Коминтерна».

В коляске полулежал Эбнер, в другой — Корчагин, которому запретили ходить, остальные трое были: тяжеловесный эстонец Вайман — работник Наркомторга Крымской республики, Марта Лауринь — латышка, кареглазая молодая женщина, похожая на восемнадцатилетнюю девушку, и Леденев — высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей: немец, эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила общая комната. Марту и Ваймана сблизило с Эбнером знание языка, а Леденева с Корчагиным — шахматы.

До приезда Иннокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным «чемпионом» в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои пятьдесят лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевый гамбит, на который Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как «чемпион», Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел,

как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник: напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно.

После трехчасового сражения, несмотря на все усилия, на все напряжение, Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих.

Посмотрел на своего партнера. Леденев улыбнулся отечески-добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец, с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагина, еще ничего не замечал.

— Я всегда держусь до последней пешки,— сказал Павел, и Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу.

Корчагин сыграл с Иннокентием Павловичем десять партий в течение пяти дней, из них проиграл семь, выиграл две и одну вничью.

Вайман торжествовал:

— Ай, спасибо, товарищ Леденев! Как вы ему нахлопали! Так ему и надо! Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался. Ха-ха-ха!..

— Что, неприятно проигрывать? — допекал он своего побежденного победителя.

Корчагин потерял звание «чемпиона», но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры, шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры.

У Корчагина и Леденева была одна общая дата: Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного — большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом—большой государственной работы; у другого — пламенная юность и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они — старый и молодой — имели горячие сердца и разбитое здоровье.

Вечером в комнате Эбнера и Корчагина — клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в

комнате № 11 было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел — Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонкой и язвительной насмешкой; когда же это не помогало, вмешивался Корчагин.

— Вайман, ты бы спросил,— может быть, нам совсем не по вкусу твое «остроумие»... Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается...— неспокойным тоном начинал Корчагин.

Вайман оттопыривал мясистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам.

— Придется ввести инспектуру морали при Главполитпросвете и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я еще понимаю Марту, у нее профессиональная женская оппозиция, но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде комсомольского младенчика... И притом вообще не люблю, когда яйца кур учат.

После такого возбужденного спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения.

— Эротише анекдот — это не очень карашо, я солидаризирован с Павлюша,— высказался Адам.

Вайману пришлось отступить. Он, как мог, отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал.

Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей девятнадцать лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, что она член партии с семнадцатого года, что ей тридцать один и что она была одним из активных работников латышской компартии. В восемнадцатом году белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена Советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз. Как началось их сближение, Корчагин не уловил, но маленькая латышка, часто бывавшая у Эбнера, стала неразлучной с «пятеркой».

Подпольщик Эглит, тоже латыш, лукаво подшучивал над ней:

— Марточка, а как же бедный Озол в Москве? Нельзя же так!

По утрам, за минуту до звонка, в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестно как забравшегося в санаторий петуха ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие.

В конце месяца Корчагин почувствовал себя худо. Врачи уложили его в постель. Эбнера это очень огорчило. Он полюбил этого молодого большевика, никогда не унывающего, жизнерадостного, с такой кипучей энергией и так рано потерявшего здоровье.

Когда же Марта рассказала Эбнеру, что врачи предсказывают Корчагину трагическую будущность, Адам взволновался.

До самого отъезда из санатория Корчагину не разрешали ходить.

Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих, одна Марта догадывалась о них по необычайной бледности его лица. За неделю до отъезда Павел получил из украинского ЦК письмо, где сообщалось, что отпуск ему продлен на два месяца и что, согласно санаторному заключению, возвращение его на работу при теперешнем здоровье невозможно.

Вместе с письмом были присланы деньги.

Павел принял этот первый удар, как когда-то принимал удары Жухрая, учившего его боксу: тогда тоже падал, но сейчас же подымался.

Неожиданно пришло письмо от матери. Старушка писала, что недалеко от Евпатории, в портовом городе, живет ее давнишняя подруга Альбина Кюцам, с которой мать не виделась уже пятнадцать лет, и что она очень просит сына заехать к ней. Это случайное письмо сыграло большую роль в жизни Павла.

Через неделю санаторное землячество тепло проводило Корчагина на пристань. На прощанье Эбнер горячо обнял и поцеловал Павла, как брата. Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившись с ней.

А на следующее утро фаэтон, привезший Корчагина с пристани, подкатил к маленькому домику в небольшом саду, и Корчагин послал своего провожатого спросить, здесь ли живут Кюцам.

Семья Кюцам состояла из пяти человек: Альбина Кюцам — мать, пожилая полная женщина с тяжелым,

придавливающим взором черных глаз и со следами былой красоты на старом лице, ее две дочери — Леля и Тая, маленький сынишка Лели и старик Кюцам, неприятный толстяк, похожий на борова.

Старик служил в кооперативе, младшая дочь Тая ходила на черную работу, старшая, Леля, в прошлом машинистка, недавно разошлась со своим мужем, пьяницей и хулиганом, и сидела без работы. Дни она проводила дома, возилась с сынишкой, помогала по хозяйству матери.

Кроме дочерей, был еще сын Жорж, но сейчас он находился в Москве.

Семья Кюцам радушно приняла Корчагина. Только старик окинул гостя недобрым, настороженным взглядом.

Корчагин терпеливо рассказывал Альбине все, что он знал из семейной хроники Корчагиных, попутно сам расспрашивал о житье-бытье.

Леле было двадцать два года. Стриженая простецкая шатенка с широким открытым лицом, она сразу же стала с Павлом на приятельскую ногу и охотно посвящала его во все семейные секреты. От нее Корчагин узнал, что старик деспотически-грубо зажал всю семью, убивая всякую инициативу и малейшее проявление воли. Ограниченный, узколобый, придирчивый до мелочности, он держал семью в вечном страхе и этим снискал себе глубокую неприязнь детей и глубокую ненависть жены, все двадцать пять лет боровшейся против его деспотизма. Дочери постоянно становились на сторону матери, и эти беспрерывные семейные ссоры отравляли им жизнь.

Так проходили дни, заполненные бесконечными мелкими и большими обидами.

Вторым уродом в семье был Жорж. Судя по рассказам Лели, это был типичный хлыщ, задавака и бахвал, любитель хорошо поесть и с шиком одеться, не дурак выпить. Кончив девятилетку, Жорж — любимец матери — потребовал от нее денег для поездки в столичный город.

— Я поеду в университет. Пусть продаст Леля свое кольцо, а ты свои вещи. Мне нужны деньги, а где вы их достанете — мне все равно.

Жорж знал хорошо, что мать ему ни в чем не откажет, и пользовался этим самым бессовестным образом. К сестрам относился пренебрежительно, свысока, считая их ниже себя. Все средства, какие удавалось урвать от старика, и заработанные Таей деньги мать посылала сыну. А тот, с треском провалившись на экзамене, нескучно жил у своего дядьки, терроризируя мать телеграммами о присылке денег.

Младшую, Таю, Корчагин увидел лишь поздно вечером. Мать в сенях шепотом рассказывала ей о приезде гостя. Здороваясь с Павлом, она смущенно подала ему руку и до кончиков маленьких ушей покраснела перед незнакомым молодым человеком. Павел не сразу отпустил ее крепкую, с ощутимыми бугорками мозолей руку.

Тае шел девятнадцатый год. Она не была красавицей, но большие карие глаза, тонкие, монгольского рисунка брови, красивая линия носа и свежие упрямые губы делали ее привлекательной; молодой упругой груди тесно под полосатой рабочей блузкой.

Сестры жили в двух крошечных комнатках. В комнате Таи — узкая железная кровать, комод, уставленный разными безделушками, на нем небольшое зеркало, а на стене десятка три фотографий и открыток. На окне две цветочные банки с пунцовой геранью и бледно-розовыми астрами. Кисейная занавеска подобрана голубой тесемкой.

— Тая не любит пускать в свою комнату представителей мужского пола, а для вас, видите, делается исключение,— шутила над сестрой Леля.

На другой день вечером семья пила чай на половине стариков. Тая была у себя в комнате и оттуда прислушивалась к общему разговору. Кюцам сосредоточенно размешивал сахар в стакане и зло поглядывал поверх очков на сидящего перед ним гостя.

— Семейные законы теперешние осуждаю,— говорил он.— Захотел — женился, а захотел — разженился. Полная свобода.

Старик поперхнулся и закашлялся. Отдышавшись, показал на Лелю.

— Вот со своим хахалем сошлась, не спросясь, и разошлась, не спрашивая. А теперь, извольте радоваться, корми ее и чьего-то ребенка. Безобразие!

Леля мучительно покраснела и прятала от Павла глаза, полные слез.

— А что же, по-вашему, она должна была с этим паразитом жить? — спросил Павел, не спуская со старика своего вспыхивающего дикими огоньками взгляда.

— Надо было смотреть, за кого выходишь.

В разговор вмешалась Альбина. С трудом сдерживая свое негодование, она прерывисто заговорила:

— Послушай, старик, зачем ты заводишь эти разговоры при чужом человеке? Можно о чем-нибудь другом, а не об этом.

Старик дернулся в ее сторону.

— Я знаю, что говорю! С каких это пор мне замечания стали делать?

Ночью Павел долго думал о семье Кюцам. Случайно занесенный сюда, он невольно становился участником семейной драмы. Он думал над тем, как помочь матери и дочерям выбраться из этой кабалы. Его личная жизнь затормаживала ход, перед ним самим вставали неразрешенные вопросы, и сейчас труднее, чем когда бы то ни было, предпринимать решительные действия.

Выход был один: расколоть семью — матери и дочерям уйти навсегда от старика. Но это было не так просто. Заниматься этой семейной революцией он был не в состоянии, через несколько дней он должен уехать и, может быть, больше никогда не встретится с этими людьми. Не предоставить ли все своему нормальному течению и не ворошить пыли в этом низеньком и тесном доме? Но отвратительный образ старика не давал ему покоя. Павел создал несколько планов, но все они казались невыполнимыми.

На другой день было воскресенье, и когда Корчагин возвратился из города, дома застал одну Таю. Остальные ушли к родственникам в гости. Павел зашел к ней в комнату и, усталый, присел на стул.

— Ты почему никуда не идешь погулять, развлечься? — спросил он у нее.

— А мне не хочется никуда идти,— тихо ответила она.

Он вспомнил свои ночные планы и решил проверить их.

Торопясь, чтобы никто не помешал, начал напрямик:

— Послушай, Тая, будем говорить друг другу «ты»,— к чему нам эти китайские церемонии? Я скоро уеду. Встретился я с вами как раз в плохую пору, когда сам попал в переплет, а то бы мы дело иначе повернули. Будь это год назад, мы бы отсюда уезжали все вместе. Для таких рук, как у тебя и у Лели, работа бы нашлась! Со стариком надо кончать, этого не сагитируешь. Но сейчас этого сделать нельзя. Я сам еще не знаю, что со мной будет, вот почему я, так сказать, обезоружен. Что же теперь делать? Я буду добиваться возвращения на работу. Врачи там написали обо мне черт его знает что, и товарищи заставляют меня лечиться до бесконечности. Ну, это мы там повернем... Я спишусь со своей матушкой, и мы увидим, как эту заваруху кончить. Я вас все-таки так не оставлю. Только вот что, Таюша: жизнь-то вашу, и твою в частности, придется переворачивать наизнанку. Есть ли у тебя для этого силы и желание?

Тая подняла опущенную голову и тихс ответила:

— Желание у меня есть, а силы — не знаю.

Эта нетвердость в ответе была понятна Корчагину.

— Ничего, Таюша! С этим мы сладим, было бы желание. А скажи ты мне, семья тебя очень привязывает?

Тая ответила не сразу, застигнутая врасплох.

— Мне матери очень жалко,— сказала она наконец.— Отец ее всю жизнь терзал, теперь Жорка из нее все выматывает, а мне ее очень жалко... хотя она меня и не любит так, как Жорку...

Много говорили они в этот день, и незадолго до прихода остальных Павел шутя сказал:

— Удивительно, как тебя старик замуж не согнал за кого-нибудь!

Тая испуганно отмахнулась рукой.

— Я замуж не пойду. Я на Лелю насмотрелась. Ни за что замуж не пойду!

Павел усмехнулся.

— Значит, зарок на всю жизнь? А если налетит какой-нибудь парень-гвоздь, одним словом, хороший парнишка,— тогда как?

— Не пойду! Все они хорошие, пока под окнами ходят.

Павел примиряюще положил руку на ее плечо.

— Ладно. Неплохо можно прожить и без мужа. Только ты уж очень на ребят неласкова. Хорошо, что ты меня хоть в жениховстве не подозреваешь. А то попало бы на орехи,— и он по-приятельски провел по руке смущенной девушки своей холодной ладонью.

— Такие, как ты, себе других жен ищут. На что мы им сдались? — тихо сказала она.

*

Через несколько дней поезд увозил Корчагина в Харьков. На вокзале его провожали Тая, Леля и Альбина со своей сестрой Розой. На прощание Альбина взяла с него слово не забывать молодежь, помочь ей выбраться из ямы. Простились с ним, как с родным, а в глазах Таи стояли слезы. Долго видел из окна белый платочек в руках Лели и полосатую блузку Таи.

В Харькове остановился у своего приятеля Пети Новикова, не желая беспокоить Дору. Отдохнул и поехал в ЦК. Дождался Акима и, когда остались одни, попросил сейчас же отправить на работу. Аким отрицательно мотнул головой.

— Этого нельзя сделать, Павел! У нас есть постановление лечебной комиссии Цека партии, где записано: «Ввиду тяжелого состояния здоровья направить в Невропатологический институт для лечения, не допуская возвращения к работе».

— Мало ли чего они напишут, Аким! Я у тебя прошу — дай мне возможность работать! Это шатание по клиникам бесполезно.

Аким отказывался.

— Мы не можем ломать решения. Пойми же, Павлушка, что это для тебя же лучше.

Но Корчагин так горячо настаивал, что Аким не мог устоять и под конец согласился.

На другой день Корчагин уже работал в секретной части секретариата ЦК. Ему казалось, что достаточно начать работать, как вернутся утраченные силы. Но с первого же дня он увидел, что ошибался. Он просиживал в своем отделе без перерыва восемь часов, не евши, так как спускаться на завтрак и обед с третьего этажа в со-

седнюю столовую оказалось не под силу: часто немела то рука, то нога. Иногда все тело лишалось способности двигаться. и его температурило. Когда надо было ехать на работу, он вдруг не находил в себе силы подняться с постели. Пока это проходило, он с отчаянием убеждался, что опаздывает на целый час. В конце концов опоздания ему поставили на вид, и он понял, что это начало самого страшного в его жизни — выхода из строя.

Аким еще дважды помогал ему — передвигал на другую работу, но случилось неизбежное: на второй месяц Павел свалился в постель. Тогда он вспомнил прощальные слова Бажановой и написал ей письмо. Она приехала в тот же день, и от нее он узнал самое основное — что в клинику ему ложиться не обязательно.

— Значит, у меня дела так хороши, что и лечиться не стоит,— пытался он пошутить, но шутка не удавалась.

Как только силы частично вернулись к нему, Павел опять появился в ЦК. На этот раз Аким был неумолим. На его категорическое предложение ложиться в клинику Корчагин глухо ответил:

— Не пойду никуда. Это бесполезно. Узнал из авторитетных источников. Мне остается одно — получить пенсию и подать в отставку. Но этот номер не пройдет. Вы не можете оторвать меня от работы. Мне всего двадцать четыре года, и я не могу доживать свой век с книжечкой инвалида труда, скитаться по лечебницам, зная, что это ни к чему. Вы должны мне дать работу, подходящую для моих условий. Я могу работать на дому или жить где-нибудь в учреждении... только не писарем, который ставит номера на исходящем. Работа должна давать для моего сердца что-то, чтобы я не чувствовал себя на отшибе.

Голос Павла звучал все взволнованнее и звонче.

Аким понимал, какие чувства движут еще недавно огневым парнем. Он понимал трагедию Павла, знал, что для Корчагина, отдавшего свою короткую жизнь партии, отрыв от борьбы и переход в глубокий тыл был ужасен, и он решил сделать все, что в его силах.

— Хорошо, Павел, не волнуйся. Завтра у нас секретариат. Я поставлю о тебе вопрос. Даю слово, что сделаю все.

Корчагин тяжело поднялся и подал ему руку.

— Неужели ты можешь подумать, Аким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку? Пока у меня здесь стучит сердце,— и он с силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчетливо почувствовал глухие быстрые удары,— пока стучит, меня от партии не оторвать. Из строя меня выведет только смерть. Запомни это, братишка.

Аким молчал. Он знал, что это была не блестящая фраза, а крик тяжело раненного бойца. Он понимал, что говорить и чувствовать иначе такие люди не могут.

Через два дня Аким сообщил Павлу, что ему предоставлена возможность получить ответственную работу в редакции центрального органа, но для этого необходимо проверить возможность его использования на литературном фронте. В редакционной коллегии Павла встретили предупредительно. Заместитель редактора, старая подпольщица, член президиума ЦКК Украины, задала ему несколько вопросов:

— Ваше образование, товарищ?

— Три года начальной школы.

— В партийно-политических школах не были?

— Нет.

— Ну что же, бывает, что и без этого вырабатывается хороший журналист. О вас нам говорил товарищ Аким. Мы можем дать вам работу не обязательно здесь, а на дому, и вообще создать вам подходящие условия. Но для этой работы необходимы все же обширные знания. Особенно в области литературы и языка.

Все это предвещало Павлу поражение. В получасовой беседе выяснилась недостаточность знаний, а в написанной им статье женщина подчеркнула красным карандашом больше трех десятков стилистических неправильностей и немало орфографических ошибок.

— Товарищ Корчагин! У вас есть большие данные. При углубленной работе над собой вы можете стать в будущем литературным работником, но сейчас вы пишете малограмотно. Из статьи видно, что вы не знаете русского языка. Это не удивительно, вы не имели времени учиться. Но использовать вас мы, к сожалению, не можем. Но еще раз повторяю: у вас большие данные. Если вашу статью обработать, не меняя содержания, то она будет

прекрасна. А нам нужны люди, умеющие обрабатывать чужие статьи.

Корчагин встал, опираясь на палку. Правая бровь судорожно вздрагивала.

— Что же, я с вами согласен. Какой из меня литератор? Я был хороший кочегар, неплохой монтер. Умел хорошо ездить на коне, будоражить комсу, но на вашем фронте я неподходящий рубака.

Попрощавшись, вышел.

На повороте в коридоре чуть не упал. Его схватила какая-то женщина с портфелем.

— Что с вами, товарищ? На вас лица нет!

Корчагин несколько секунд приходил в себя. Потом тихонько отстранил женщину и пошел, налегая на палку.

С этого дня жизнь Корчагина шла под уклон. О работе не могло быть и речи. Все чаще он проводил дни в кровати. ЦК освободил его от работы и просил Главсоцстрах назначить ему пенсию. Пенсия была ему дана вместе с книжкой инвалида труда. ЦК дал ему денег и выдал личные дела с правом выезда, куда он захочет. От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву с смутной надеждой найти счастье во Всесоюзном ЦК, то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался.

Незаметно пробежали девятнадцать дней, прожитых им на квартире Марты и ее подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел запоем читал — у Марты было много книг, а вечерами приходили подруги и кое-кто из друзей.

Из портового города приходили письма. Семья Кюцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи.

В одно утро Корчагина не стало в тихой квартире в Гусятниковом переулке. Поезд мчал его на юг, к морю, увозя от сырой, дождливой осени к теплым берегам Южного Крыма. Он следил, как пробегали у окна столбы. Плотно были сдвинуты брови, и в темных глазах таилось упорство.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Внизу, у нагроможденных беспорядочной кучей камней, плещется море. Обвевает лицо сухой «моряк», долетающий сюда из далекой Турции. Ломаной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал. И далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин.

В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно не чищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист.

Корчагина привез сюда из города старик извозчик, перс, и, высаживая странного седока, не утерпел — высказался:

— Зачем ехал? Барышна здэс нэту, театр нэту. Адын шакал ходыт... Что дэлат будышь, нэ понымаю. Поедэм обратно, господын товарыш!

Корчагин расплатился с ним, и старик уехал.

Безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе у моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца.

Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение.

С его вторым приездом сюда противоречие в семье Кюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг другу. Ход в половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек сдана Корчагину как квартиранту. Деньги за квартиру старику были даны вперед, и он вскоре даже как будто успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь.

Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не за-

глядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел, как паровоз, показывая, что он здесь хозяин.

Старик до службы в кооперативе знал две профессии — сапожника и плотника — и в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать.

«Подожди, я тебя выкурю отсюда...» — шипел он себе под нос.

Далеко, почти на горизонте, темной тучкой стлался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море.

Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови.

Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца. И боец упал на землю, под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше — догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулеметчиков на тачанках — это были страшные для врага люди, пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков. Но такие были редкостью.

Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй?

Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающей черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос.

Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце — и никаких гвоздей! Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать?

Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга, пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер.

«Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня?»

Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался.

«Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной!»

Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей арбе до города. И там на одном из перекрестков он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании городского парткоддектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании.

*

Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жест-

кое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье.

Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон.

— А я уже за тебя беспокоилась,— радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени.

— Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша. Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю,— также шепотом ответил он.

Тая заколебалась. Как же так, она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе.

— Дело вот в чем, Тая,— начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание.— Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание «политбюро» и вынес огромной важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю.

Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке.

— Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух, подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой?

Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности.

— Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны, я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил: союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего, нашего человека, а я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны. А вырастешь — свободна от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни.

Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково:

— Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь.

Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием.

— А ты меня не оставишь?

— Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно: поверить, что такие, как я, не предают своих друзей... только бы они не предали меня,— горько закончил он.

— Я тебе сегодня ничего не скажу, все это так неожиданно,— ответила она.

Корчагин поднялся.

— Ложись, Тая, скоро рассвет.

И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег и, едва голова коснулась подушки, уснул.

В комнате Корчагина, на столе у окна, груды принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет, несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками. В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета, кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Леля с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и

записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате — втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным.

Далеко за полночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску меж ставен комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову.

«Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. Ходит по дому, словно хозяин. Девчонки огрызаться стали»,— недобро раздумывал старик и уходил.

Впервые за восемь лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по восемнадцати часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных однажды Таей слов:

— Я перенесла в другое место комод, дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к Леле.

Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась — союз был заключен.

*

Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой пролегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами — сказывались бессонные ночи. Звон гитары и Таины песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире.

Проснувшаяся в ней женщина страдала оттого, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе:

— Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно. В нашу жизнь чужим вход заказан.

Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон; глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его.

Первой узнала причину незатухающего огня в глазах Таи сестра, и с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать. Вернее — догадалась. Насторожилась. Не того ждала она от Корчагина.

— Таюша ему не пара,— сказала она как-то Леле.— Что из всего этого выйдет?

Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась.

Стала появляться у Корчагина молодежь. Тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно...

и любимую Павла:

Слезами залит мир безбрежный...

Это собирался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла.

Корчагин опять ухватился за руль обеими руками и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу.

Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его продвижение к цели.

Неожиданно привалил из Москвы с женой неудачливый студент Жорж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги.

Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей

своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю.

Через две недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок.

*

Редко получал Артем от брата письма, но в дни, когда заставал на своем столе в горсовете серый конверт со знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью:

«Эх, Павлуша, Павлуша! Жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне, парнишка, твои советы».

«Артем, хочу рассказать о пережитом. Кроме тебя, я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье.

Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, немилосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги, и я, без того еле двигавшийся (в пределах комнаты), сейчас с трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверно, еще не все. Что принесет мне завтра — неизвестно.

Из дома я больше не выхожу и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма?

Я еще верю, что вернусь в строй, что в штурмующих колоннах появится и мой штык. Мне нельзя не верить, я не имею права. Десять лет партия и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления, и слова вож-

дя относятся и ко мне: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Моя жизнь теперь—это учеба. Книги, книги, еще раз книги. Сделано много, Артем. Проработал основные произведения художественной классической литературы. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами — кружок с партийной молодежью. Связь с практической работой организации идет через этих товарищей. Затем Таюша, ее рост и продвижение, ну, и любовь, ласки нежные подружки моей. Живем мы с ней дружно. Экономика у нас простая и несложная — тридцать два рубля моей пенсии и Таин заработок. В партию Тая идет моей дорогой: служила домработницей, сейчас посудницей в столовой (в этом городке нет промышленности).

На днях Тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку женотдела. Для нее это не простой кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю, сколько могу, этим родам. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершит ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути.

Дважды приезжала мать Таи. Мать, незаметно для себя, тянет Таю назад, в жизнь, созданную из мелочей, погруженную в узкое личное, в свое собственное, обособленное. Я старался убедить Альбину в том, что чернота ее дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери. Но все это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой и что борьбы с ней не избежать.

Жму руку. Твой Павел».

*

Санаторий № 5 в Старой Мацесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес, зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты, ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра

приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько человек. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряженно заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя: «Леденев Иннокентий Павлович. Это он, и никто иной». И, уверенный в этом, Павел позвал. Через минуту Леденев уже сидел у него и радостно тряс ему руку.

— А, жив, курилка? Ну, чем же ты меня порадуешь? Да ты, что же, всерьез хворать вздумал? Не одобряю. Ты вот с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я назло им продолжаю держаться.— И Леденев добродушно засмеялся.

Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения.

Два часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях — о коллективизации сельского хозяйства, перестройке деревни,— и он жадно впитывал каждое слово.

— А я уж было думал, что ты шевелишь где-нибудь у себя на Украине. А тут такая досада. Ну, ничего, у меня были дела похуже, я было совсем в лежанку перешел, а теперь, видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить. Не выходит это! Я иногда подумываю, есть такой грех: надо бы отдохнуть, что ли, немножко, перевести дух. Ведь годы не те, уж и десять-двенадцать часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь и даже дела просматривать начнешь, чтобы разгрузиться немного, и каждый раз одно и то же выходит. Начнешь «разгружаться» — и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше двенадцати не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колесиков, а у нас — что ни день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится, как в молодости.

Леденев провел рукой по высокому лбу и сказал по-отечески тепло:

— Ну, расскажи теперь о своих делах.

Слушал Леденев повесть Корчагина о прожитом, и Павел ловил на себе его одобрительный, живой взгляд.

*

Под тенью размашистых деревьев, в уголке террасы — группа санаторцев. За небольшим столом читал «Правду», тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка, старенькая кепчонка, загорелое, худое, давно не бритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами — все выдает в нем коренного шахтера. Двенадцать лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток, а казалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе.

Чернокозов — член бюро крайкома партии и член правительства. Мучительный недуг сжигал его силы — гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели.

Напротив него, задумчиво дымя папиросой, сидела Жигирева. Александре Алексеевне Жигиревой тридцать семь лет, девятнадцать лет она в партии. «Шурочка-металлистка», как звали ее в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой.

Третий у стола — Паньков. Наклонив свою красивую, с античным профилем, голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот тридцатилетний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник Наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением.

— Это и есть твой товарищ по комнате? — тихо спросила Жигирева Чернокозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин.

Чернокозов оторвался от газеты, лицо его как-то сразу просветлело.

— Да, это Корчагин. Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились. Ему болезнь понавтыкала палок в колеса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из комсы первого поколения. Одним словом, если мы

парня поддержим,— а я это решил,— то он еще будет работать.

Паньков прислушивался к его рассказу.

— Чем он болен? — так же тихо спросила Шура Жигирева.

— Остатки двадцатого. В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот поди ж ты!

— Я сейчас привезу его сюда,— сказала Шура.

Так началось их знакомство. И не знал Павел, что двое из них — Жигирева и Чернокозов — станут для него людьми дорогими и что в годы тяжелой болезни, ожидавшей его, они будут первой его опорой.

*

Жизнь шла по-прежнему. Тая работала. Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже неспособен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил, виновато улыбаясь:

— Нам, Таюша, надо развестись с тобой. Ведь уговора не было так засыпаться. Это, девочка, я сегодня обдумаю как следует.

Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдания. Плакала навзрыд, прижимая к груди голову Павла.

Артем узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка с Таей жили дружно.

Корчагин продолжал учебу.

Одним вечером, в ненастную зиму, принесла Тая весть о первой своей победе — билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женотдел, в Совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим

волнением. Но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся и левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота,— темной кисеей затянулось все кругом него.

Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил:

«Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно,— нужно кончать».

Корчагин написал друзьям. От друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы.

В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила:

— Павлуша, я кандидат партии.

И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги.

— Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию,— сказал он, сжимая ей руку.

На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку.

— Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем,— и он засмеялся.

Секретарь райкома провел у Корчагина два часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и, наконец, сказал:

— Брось ты о кружке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, а? Ты подумай...

Корчагин перебил его:

— Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди! Я в одиночку не проживу. Сейчас больше чем когда-нибудь нужны. Давай сюда молодежь, позеленее ко-

торая. Они у тебя на селах влево гнут, в коммуну,— им в колхозе тесно. Ведь комса, если за нею не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи. Я сам такой был, знаю.

Вольмер остановился.

— Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость.

Корчагин улыбнулся.

— Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли. Она рассказала.

— А, Корчагина, посудница? Так это твоя жинка? Ха, а я и не знал! — И, подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу.— Вот кого мы тебе пришлем — Берсенева Льва. Лучшего товарища не надо. Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтером был когда-то, отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Да Лев тебе и радио сварганит, он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до двух часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась: где ты, мол, старый черт, по ночам шататься стал?

Корчагин, улыбаясь, спросил его:

— Кто такой Берсенев?

Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал:

— Берсенев у нас нотариус, но он такой нотариус, как я балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с двенадцатого года, в партии с Октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе, ревтрибуналил во Второй Конной; по Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока — сюда. Тут, на Кавказе, был председателем губсуда, зампредкрайсуда. Легкие расхлестались вконец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, ну, и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем КК, он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого,

он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной. Брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд.

Павел перебил его резким вопросом:

— Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше.

Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза.

— Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь, и Лев при случае скажет: «Что вы его вьючите?» А сам говорит: «Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении». Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим.

— Это верно. Я тоже голосую за год жизни против пяти лет прозябания, но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом, я теперь понял, не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны — вот одна из основных опасностей для моего положения.

«Вот говорит же, а поставь его на ноги — забудет все на свете»,— подумал Вольмер, но смолчал.

Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад.

Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам Таи знал, что Лев блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себе Павел с первых же минут знакомства.

В сумерки зажглись в комнате три «микро». Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые «морзянки», где-то (видно, близко на море) полосовал пароходный «искровик». В этом ворохе шумов и звуков катушка ва-

риометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос:

— Слушайте, слушайте, говорит Москва...

Маленький аппарат ловил на свою антенну шестьдесят станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание.

Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся.

*

Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева:

«Если у большевика жена — товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса: не надоедят друг другу, и ссориться некогда!»

Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой, теперь же она воспитанница и товарищ по партии.

Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему, и принял это как должное.

Павел получил кружок.

В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости.

В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его.

Радио давало ему то, что отняла слепота,— возможность учиться, и в этом не знающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела, забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь.

Когда луч антенны принес из Магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив.

Представлялась метель — свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесен-

ный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди.

А на Днепре вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Несколько дней в Москве они жили в кладовой архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику.

Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем,— дело чести.

*

Прошло полтора года с вечера, проведенного Корчагиным в кладовой архива. Восемнадцать месяцев непередаваемых страданий.

В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирургия попытается оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка.

Спросили его согласия, и Павел разрешил делать с собой все, что врачи найдут нужным.

В часы, проведенные на операционных столах, когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевала его своим черным крылом смерть. Но жизнь в Корчагине держалась цепко. Тая находила

своего друга после страшных часов ожидания мертвенно-бледным, но живым и, как всегда, спокойно-ласковым.

— Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить, я еще буду жить и бузотерить хотя бы назло арифметическим расчетам ученых эскулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим.

Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни.

*

Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в лазарете он не может. Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обреченных людей было несравненно труднее, чем переносить свои личные страдания.

На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко:

— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого.

В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату. И Павел покинул лазарет с единственным желанием больше в него не возвращаться.

Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался там, где-то позади.

Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием: она была выбрана членом фабкома. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла.

*

Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Говорили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов.

Бажанова приметила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала:

— Вижу, пережито немало. Но вы не утеряли все-таки незатухающего энтузиазма. Чего же больше? Это хорошо, что вы решили начать работу, к которой готовились пять лет. Но как же вы будете работать?

Павел успокаивающе улыбнулся.

— Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашел — вырезанные из картона полоски не дадут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательно вывожу каждую букву, и получается довольно хорошо.

Павел начал работать.

Он задумал написать повесть, посвященную героической дивизии Котовского. Название пришло само собой:

«Рожденные бурей».

С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой, рождались страницы. Он забывал обо всем, находясь во власти образов и впервые переживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, так отчетливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу и строки выходили бледные, лишенные огня и страсти.

Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятие сына.

В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко:

— Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же это видно, писать без конца...

Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще не совсем «сошел с катушек».

*

Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденеву о своей потере.

— Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь уж нечего браниться. Начинай сначала.

— Но, Иннокентий Павлович! Украден шестимесячный труд. Это каждый день восемь часов напряжения! Вот где паразиты, будь они трижды прокляты!

Леденев старался его успокоить.

Пришлось все начинать сначала. Леденев добывал бумагу. Помогал печатать написанное. Через полтора месяца возродилась первая глава.

В одной с ним квартире жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, кончившая фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве секретаря. Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, что Павел пишет повесть, сказала:

— Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры о поддержании в квартирах чистоты.

С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге — и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне ра-

дуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла, остальным казалось, что ничего не получится и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие.

Вернулся в Москву уезжавший в командировку Леденев и, прочитав первые главы, сказал:

— Продолжай, друг. Победа за нами. У тебя еще будут большие радости, товарищ Павел. Я верю твердо, что твоя мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Не теряй надежды, сынишка.

Старик уходил удовлетворенный: он встречал Павла полным энергии.

Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилось, что он не видит: ведь в чистых, без пятнышка, зрачках была жизнь.

По окончании работы она читала написанное за день и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь.

— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо!

— Нет, Галя, плохо.

После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный узкой полоской транспаранта, иногда не выдерживал—бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови.

К концу работы чаще обычного стали вырываться из тисков недремлющей воли запрещенные чувства. Запрещены были грусть и вереница простых человеческих чувств, горячих и нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого, но не для него. Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело кончилось бы трагедией.

Поздно вечерами приходила с фабрики Тая и, перебросившись с Марией Яковлевной вполголоса несколькими словами, ложилась спать.

*

Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть.

Завтра рукопись будет отослана в Ленинград, в культпроп[1] обкома. Если там дадут книге «путевку в жизнь», ее передадут в издательство — и тогда...

Тревожно стучало сердце. Тогда... начало новой жизни, добытой годами напряженного и упорного труда.

Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же неудача будет частичной, такой, которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнет новое наступление.

Мать отнесла тяжелый сверток на почту. Наступили дни напряженного ожидания. Никогда еще в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал.

Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем.

В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и еще и еще раз вставал вопрос:

«Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?»

И отвечал:

«Да, кажется, все!»

Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату:

— Почта из Ленинграда!!!

Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке: «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой».

Сердце учащенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять — уже с новым оружием — возвращался в строй и к жизни.

1930—1934 гг.

---

[1] Отдел культуры и пропаганды. *(Ред.)*

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ]*

По просьбе издательства «Молодая гвардия» с большой охотой берусь писать вступительную статью к роману молодого орденоносного писателя Н. А. Островского «Как закалялась сталь», ибо значение этой книги для героического, коммунистического воспитания советской молодежи огромно.

Роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь» показывает, как в Великую Октябрьскую пролетарскую революцию в боях против капиталистов, империалистов, интервентов, помещиков, петлюровцев и националистов разных мастей росло и крепло классовое сознание рабочих и крестьянской бедноты и рождались герои из рабочих и крестьян.

Октябрьская пролетарская революция собрала под боевые знамена миллионы трудящихся, вставших под команду славных полководцев Ворошилова, Фрунзе, Буденного, Котовского, Примакова, Чапаева, легендарного Щорса, в дивизии которого сражался и Николай Островский. Великая партия Ленина вела их в бой за идею социализма, за власть Советов, за мировую революцию. Роман Н. А. Островского ярко отображает величие этой борьбы.

Для миллионов рабочей и колхозной молодежи Украины роман Н. Островского имеет особое значение, потому что на Украине в условиях сложнейшей и напряженной борьбы с бандами Центральной рады, Петлюры, с немецкими и польскими оккупантами, белогвардейцами закалялись прекрасные десятки и сотни героев — Корчагиных. В рядах боевого комсомола Украины вырос наш герой и автор — Николай Островский.

Царское самодержавие, помещики и капиталисты все более усиливали эксплуатацию и гнет трудящихся. Они надеялись господствовать вечно. Этим деспотам казалось, что расправой над ра-

---

* Предисловие к 5-му изданию «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия», 1936 г.

бочим классом, крестьянством, разжиганием национальной вражды и погромами они уничтожат все, что есть живого, что борется за социализм. Но гнет царского самодержавия и капиталистической эксплуатации становился невыносимым. И грянул гром. В эти самые решающие дни революции Владимир Ильич призывал «выделить самые решительные элементы наших «ударников» и рабочую молодежь, а также лучших матросов в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях». И эти важнейшие пункты в октябрьские дни заняли сотни, тысячи Корчагиных.

В образе Жухрая Николай Островский показывает пламенного большевика, старую большевистскую гвардию, с любовью воспитывавшую подрастающее поколение в духе борьбы за дело рабочего класса и его великой партии.

Очень интересно роман показывает, как Октябрьская пролетарская революция разбудила сознание угнетенных масс в самых глухих уголках Украины и обострила классовую ненависть.

Николай Островский дает в романе немало интересных картин жизни и борьбы пролетариев и крестьянской бедноты, разоблачает кулачество, буржуазию, мещанство. Он дает яркую характеристику роли мелкобуржуазной интеллигенции, ее общественного положения, ее неспособности понять движущие силы революции.

В романе Островского происходит поединок между Павкой и гимназистом из семьи Лещинских. Чванливость гимназиста, зазнайство, кургузые, сухие, бездушные мысли, пошлость, легкомыслие, подлость и предательство — вот чем характеризуется птенец из мещанского гнезда, погрязшего в суете заскорузлости мещанской провинциальной жизни. Как маленькая рыбешка вокруг акулы питается отбросами ее, так и это мещанство жило отбросами помещиков и крупной буржуазии, готовя для них из своих сыновей лакеев и шпионов на всевозможные поприща так называемой «общественной деятельности».

Другое дело пролетариат, исторически подготовленный всем ходом развития классовой борьбы к тому, чтобы выступить на арену борьбы за интересы своего класса, за интересы всего человечества. И пролетарская молодежь в дни Октября, беззаветно отдаваясь борьбе за социализм, становилась под знамена большевиков.

Великая сила — молодость. В ней жизнь бьет ключом. Молодежь самоотверженно стоит в рядах славной, непобедимой Красной Армии на защите СССР. Она во главе с комсомолом, под руководством партии выполняет на самых различных участках социалистической стройки, в науке, в технике, искусстве, литературе величайшие задачи. И во многих случаях комсомол и руководимая им молодежь увенчивают одну за другой победы в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, в национально-культурном строительстве, во всей повседневной жизни Страны Советов.

Как в великом социалистическом соревновании, так и теперь в могучем стахановском движении комсомол — сотни и тысячи молодых рабочих и колхозников — показывает примеры геройства, отваги и в ударном социалистическом труде воспитывает новых людей социалистической эпохи.

Трудящиеся угнетенные массы всего мира на подвигах прошлого и на образцах социалистического труда в великой социалистической стройке убеждаются, какой неиссякаемый источник революционного и трудового творчества таится в нашем народе.

Преданность своей социалистической Родине, партии Ленина, исключительное мужество показывает сам автор романа «Как закалялась сталь». Прикованный тяжелой болезнью к постели, он неустанно работает, творит, живет самой кипучей жизнью нашей великой эпохи и в ней черпает неиссякаемые силы, энергию, бодрость, энтузиазм, большевистскую страсть. Его образ — яркий пример для подрастающего поколения, как надо жить и работать. «Самое дорогое у человека — это жизнь,— говорит он устами героя романа Павла Корчагина,— она дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Такова была беззаветная преданность социализму пролетарской молодежи и ее чудесного авангарда — комсомола — в великих боях за торжество Октября. Такова беззаветная преданность советской молодежи и сейчас, в социалистическом труде. Такова она будет и в грядущих боях за мировой Октябрь.

Павка — главный герой романа. Участвуя в ратном бою против петлюровцев, гетманцев, немецких оккупантов, белых и белополяков, а потом будучи на ответственной комсомольской работе, Павка всегда стойко боролся с классовыми врагами, всегда отражал их неимоверные противодействия революции.

Но Павка молод. В его жизненном боевом пути завязываются узлы любовных симпатий, переживаний. В романе читатель найдет много образцов истинной дружбы людей, объединенных борьбой за высшие идеалы человечества. Современная молодежь почерпнет из этой книги немало жизненного опыта, чтобы избегнуть ошибок, искоренить пережитки старого быта, бороться с пошлостью и по-новому, революционному строить семью.

А если и ошибался Павка в своих симпатиях к девушке, не порвавшей еще кровных нитей, связывающих ее с непролетарской средой, то несмотря на всю страсть своего чувства, Павка вырвал его из сердца и весь отдался борьбе за социализм.

Ни смертельные раны в кровавом бою, ни тяжелая болезнь, угрожающая, не сломили Корчагина. Не щадя своих сил, он, как только становится на ноги, снова включается в бурную жизнь,

мужественно перенося неимоверные трудности первых лет восстановительного периода и гражданской войны, борьбы с бандитизмом, саботажем, вредительством, и, как титан, несет величайшую трудовую нагрузку на различных участках народного хозяйства, куда его бросали партия и комсомол. Всюду, где только встречал, он вскрывал и разоблачал открытых и скрытых врагов, неутомимо боролся против меньшевизма и троцкизма в партии и комсомоле, против всех уклонов — за ленинскую генеральную линию партии.

Павел Корчагин наталкивается на нечуткое отношение к себе. Как прав товарищ Ленин, призывавший бороться с малокультурностью, бюрократизмом! И теперь уже таких примеров бюрократизма становится все меньше и меньше. Об этом свидетельствует могучий расцвет культуры, рождение больших талантов, рост советских писателей, людей науки и искусства, которые в нашей цветущей стране имеют все возможности развивать свои способности.

Медицина еще бессильна восстановить здоровье Н. Островского. Но он не выбит из строя. Мужественно он побеждает болезнь, живет, творит и еще долго будет творить на пользу социализма. Николай Островский вписал в историю орденоносного комсомола немало подвигов, отваги и геройства. За его боевые заслуги, за его талантливое произведение, литературное творчество, острым оружием которого он продолжает бороться за построение бесклассового, социалистического общества, партия и рабоче-крестьянское правительство наградили его высшей наградой — орденом Ленина.

Наш славный комсомол, откуда и вышел Островский, воспитывает тысячи, десятки тысяч, миллионы людей, которые кровью сердца своего оживляют развитие и процветание производительных сил нашей страны, борются и доживут до полной победы дела партии Ленина во всем мире.

Г. И. Петровский

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ *

Величайшие творения искусства эпохи революции — это рожденные ею люди. Во взрыве новой жизни, раскалывающем содрогающуюся землю, возникают пламенные души, как гимны, оглашающие воздух криками веры. Отголоски этих гимнов будут звучать долго после того, как эти люди исчезнут. В будущем эти люди станут вдохновителями и героями эпических и романтических песен — жатвой обильных лет, для которых время революции было суровым предвесеньем.

Николай Островский — один из таких людей, этих гимнов кипучей жизни и героизма. Андре Жид, который посетил его и отдал ему дань почтительного восхищения, не сумел ни увидеть, ни услышать его, если изображает его в виде «души, лишенной почти всякого контакта с внешним миром и не имеющей возможности найти основу для того, чтобы развернуться». Протягивая ему руку, он вообразил, что она может быть «средством связи с жизнью» для Островского. Но ведь из них двоих именно умирающий мог «привязать к жизни» другого. Как не почувствовал этого Жид? Ведь этот горящий факел активности должен был обжечь ему пальцы.

Все в Островском — пламя действия и борьбы, и это пламя только росло и ширилось по мере того, как ночь и смерть все теснее окружали его.

Мальчик, в тяжелые годы детства восхищавшийся героическими жизнями Гарибальди и Овода, мальчик, в пятнадцать лет скачущий в кавалерии Буденного, тяжело раненный, а затем серьезно больной тифом, неутомимо возвращающийся в бой и на самые тяжелые и опасные участки, юноша, который, получив ранение позвоночника, теряет зрение и с параличом рук и ног сперва берется

* Предисловие к французскому изданию романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Впервые на русском языке опубликовано в газ. «Комсомольская правда», 1937, 6 июня.

за перо, а затем диктует, продолжая сражаться словом, был, как утверждает Андре Жид, только «мистиком страдания и одиночества», которого «ничто не могло развлечь». Неустанная живость и оптимизм переполняли его. И эта радость связывала его с другими бойцами, со всеми народами земли, борющимися и идущими вперед.

Одному посетителю, спросившему его: «Возможно ли, что вы ни о чем не жалеете?», он ответил:

«У меня просто нет времени для этого. В нашей стране и черная ночь может стать ярким солнечным утром. Я глубоко счастлив. Моя личная трагедия оттеснена изумительной радостью сознания, что и мои руки кладут кирпичи для созидаемого нами прекрасного здания, имя которому — социализм...»

Даже в своих мечтах, которые «обуревали его с утра до глубокой ночи», он с увлечением вмешивался во все революции мира — в Китае, в Испании... Он разрабатывал планы восстания в какой-нибудь провинции, он мечтал о восстании матросов на дредноуте, он командовал армией, он уничтожал фашистские войска Франко... Он видел пришествие мировой революции и расчищал для нее дорогу.

«Для меня,— говорил он,— нет радости большей, чем радость борьбы за прекрасное счастье человечества».

С негодующим презрением относился он к «плаксам», которые вечно жалуются на жизнь и при малейшей личной неудаче скулят, утверждая, что им не для чего жить...

«Ах, если бы у меня было то, что есть у них: здоровье, возможность двигаться по необъятному миру (это страшная мечта, и я не позволяю ее себе)... О, я жил бы жадно, до безумия...»

Умирая, он заканчивал свою книгу «Рожденные бурей». По его замыслу, автобиографический роман «Как закалялась сталь» должен был заканчиваться еще одним многозначительно озаглавленным томом: «Счастье Корчагина»... Счастье Островского, ослепшего, парализованного, умирающего на поле сражения...

Пусть это благородное счастье молодого героя, для которого «все личное не вечно», сверкает и после его смерти!

В ответ на горячее приветствие, полученное от него в прошлом году, я написал ему:

«...Будьте уверены, что, если даже ваша жизнь знала и темные дни, она есть и будет светочем для тысяч людей. Вы останетесь для мира благодетельным и воодушевляющим примером победы духа над превратностями личной судьбы, ибо вы составляете одно целое с вашим великим, воскресшим и освобожденным народом, вы сочетались с его могучей радостью и неудержимым порывом. Вы в нем, он в вас».

Вильнев.
17 мая 1937 г.

Ромен Роллан

ПРИМЕЧАНИЯ

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

Впервые — журнал «Молодая гвардия», 1932, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I часть), и журнал «Молодая гвардия», 1934, №№ 1, 2, 3, 4, 5 (II часть).

В конце 1924 года Николай Алексеевич Островский тяжело заболевает. ЦК ЛКСМУ направляет его в клинику Харьковского медико-механического института. Болезнь прогрессирует, но Островский не сдается и ведет напряженную борьбу за возвращение в строй.

В 1926 году он, оказавшись в Новороссийске, связывается с партийными и комсомольскими организациями, становится пропагандистом. Тогда же, вероятно, он укрепляется в мысли овладеть новым оружием — оружием художественного слова — и с его помощью снова стать полноценным членом общества. Еще 13 сентября 1925 года Островский, находясь на лечении в Славянске, пишет А. Давыдовой: «Живу один в комнате, всегда один. Читаю, пишу... Одно преобладает над всем — идти напролом, бороться, чем можно, без сантиментов и нытья, как когда-то боролся в добрые прошедшие времена».

Мысль написать книгу все больше овладевает им. 22 октября 1927 года Островский пишет своему другу П. Новикову: «Собираюсь писать «историческо-лирическо-героическую повесть», а если отбросить шутку, то всерьез хочу писать, не знаю, что только будет. Буквально день и ночь читаю. Уйму книг имею, связался с громадной библиотекой и читаю запоем и научное и впере-

[1] В основу настоящего издания положен текст: Н. Островский. Сочинения в трех томах, изд-во «Молодая гвардия», М., 1967—1968 гг. Отклонения оговариваются в примечаниях.

межку для разрядки мозга беллетристику. Все новые книги. Хорошо!»

К началу 1928 года были готовы первые главы. Островский отправил рукопись в Одессу, боевым друзьям. Они горячо одобрили написанное, но на обратном пути рукопись затерялась. Утрата ее была большим ударом, но отзыв друзей обнадеживал и убеждал в ненапрасности начатого труда.

Однако работать становилось все труднее: осенью 1928 года давнее ранение черепа привело к воспалению глаз и почти полной потере зрения. Физические страдания вызывали еще большие страдания моральные: Островского мучило то, что он слишком «задолжал» партии, народу. В октябре 1929 года он предпринимает последнюю попытку восстановить зрение и ложится на операцию в клинику 1-го МГУ, которую покидает только в апреле 1930 года с ясным пониманием безнадежности борьбы с болезнью и твердой решимостью написать книгу обо всем, что видел и пережил: «Можно писать не двигаясь и не видя!» Вначале он думал о мемуарах. Такими, надо полагать, и были главы, посланные в Одессу. Но, встретившись в 1928—1929 годах с редактором журнала «Молодая гвардия» Т. Костровым, Островский по его совету решил писать не мемуары, а художественное произведение (подтверждение тому находим в письме Островского в редакцию журнала «Молодая гвардия» в январе 1932 года). 11 сентября 1930 года он уже пишет П. Новикову: «У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием, необходимым для оправдания самой жизни... Скажу пока кратко: это касается меня, литературы, издательства «Молодая гвардия». План этот очень труден и сложен». В один из весенних вечеров 1930 года в Москве Островский приступил к осуществлению своего плана.

«У меня давно было желание записать события, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но занятый организационной работой в комсомоле, не находил для этого времени, к тому же не решался браться за столь ответственную работу...— вспоминал Островский в 1933 году в статье «Моя работа над повестью «Как закалялась сталь».— Я никогда раньше не писал, и повесть — это мой первый труд. Но готовился я к работе несколько лет».

Писать было необычайно трудно. 26 мая 1931 года Островский сообщает П. Новикову: «...Я, Петушок, весь заполнен порывом написать до конца свою «Как закалялась сталь». Но сколько трудностей в этой сизифовой работе... Пишу и сам!!! По ночам пишу наслепую, когда все спят и не мешают своей болтовней. Сволочь природа взяла глаза, а они именно теперь так мне нужны...» Чтобы строки не набегали одна на другую, слепой писатель пользуется папкой-транспарантом с прорезанными в верхней крышке поперечными полосами, благодаря которым строки ровно ложились

на подложенный в папку лист бумаги. Эти листы потом переписывали в блокноты родные, друзья Островского. Была еще одна сложность: писатель был лишен возможности видеть написанное и должен был все держать в памяти. С горечью пишет он П. Новикову: «Невозможно в письме тебе рассказать все те страдания, с которыми связано мое писание. Никаких черновиков, почти никаких поправок... Насчет тяжести фраз и некоторой топорности обработки — это верно. Но ведь я не имею возможности даже исправить... Ведь великие мастера переделывали свои вещи 5—6 раз. А для меня это только желание, и что делать — не знаю».

Первая часть книги написана. 25 октября 1931 года Островский делится с А. Жигиревой [1]: «Все свои силы я устремил на то, чтобы закончить свой труд, а это в моих условиях очень и очень трудно. Все же, несмотря ни на что, работа закончена. Написаны все девять глав и отпечатаны на машинке. Сейчас произвожу монтаж книги, и просматриваю последний раз орфографию, и делаю поправки».

В процессе работы над первой частью «Как закалялась сталь» Островский посылает отдельные ее главы своим друзьям: просит их помочь перепечатать рукопись и высказать свое мнение. Из переписки Островского известно, что он знакомил с рукописью редакцию журнала «Красная новь», желая узнать мнение «спецов»: «К моему удивлению и, скажем просто, удовлетворению, оценка в общем небезнадежна».

По просьбе Островского рукопись первой части «Как закалялась сталь» А. Жигирева в Ленинграде передает в Ленгиз, а И. Феденев [2] — в московское издательство «Молодая гвардия». 28 декабря 1931 года Островский пишет А. Жигиревой: «Сейчас проходит всесоюзный смотр комсомольской литературы, и издательство «Молодая гвардия» [3] мне предложило дать им на просмотр рукопись. Но я решил ждать твоего ответа из города Ленина». Однако ответ из Ленинграда задерживался, и 10 марта 1932 года Островский, оправившись после очередного приступа болезни, сообщает Жигиревой: «В разгар болезни приезжают товарищи Феденев и Колосов [4] и настояли на договоре на книгу. Я согласился... Заключен договор... И как только я поправлюсь, тов. Колосов приезжает ко мне, и мы совместно оформим книгу: где надо, добавим и сгладим углы... В «Молодой гвардии» меня окружили атмосферой содействия. Книга... прошла в Доме писателя просмотр и заслужила теплый отзыв. Ни одной резкой критики. Жизнь для меня открылась во всю ширь. Я стал бойцом дей-

---

[1] А. А. Жигирева — старая большевичка, друг Н. Островского.

[2] И. П. Феденев — старый большевик, друг Н. Островского.

[3] Н. Островский имеет в виду журнал.

[4] М. Б. Колосов — в то время заместитель ответственного редактора журнала «Молодая гвардия».

ствующим... Есть теперь возможность работать... Объясни все в Ленгизе».

Первая часть романа «Как закалялась сталь», появившаяся в журнале «Молодая гвардия» (1932, №№ 4—9), обрадовала Островского, но, ознакомившись с первыми главами, опубликованными в четвертом номере журнала, он был и огорчен. «Есть грубые опечатки, небрежно работают»,— писал он, например, еще 20 мая 1932 года. И в том же письме относительно всей первой части: «Конец книги срезали: очень большая получилась — нет бумаги. Повырезали кое-где для сокращения, немного покалечили книгу, но что поделаешь — первый шаг». А в письме от 27 августа того же 1932 года читаем: «Я бессилен бороться с неряхами в редакции. Сколько ошибок, сколько опечаток?!» Даже несколько лет спустя, незадолго до смерти, выступая на заседании Президиума правления Союза советских писателей, при обсуждении романа «Рожденные бурей», Островский говорил: «Да, мне нужен глубоко культурный редактор, чтобы не было таких ошибок, как в книге «Как закалялась сталь»: там в сорока изданиях повторяется «изумрудная слеза».

Почти одновременно с публикацией в журнале первая часть была издана отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия».

Книга Островского вскоре была замечена критикой. 16 декабря 1932 года Островский сообщает: «О моей книге немножко пишут, не очень ругают». Одной из первых появилась рецензия Г. Любимова («В активе комсомольской литературы». «Книга молодежи», 1932, № 12). В ней были критические замечания («недоработанность», «словесные шероховатости»), но отмечалось главное — большая значимость и весомость «Как закалялась сталь», важная роль, которую книга может сыграть в воспитании комсомольских масс. «Самой зубастой статьей», где ему «попадает на орехи», называет Островский в письме от 19 апреля 1933 года статью И. Зубковского «Книга борьбы и ярких эмоций» (Художественная литература. Бюллетень критико-библиографического института. 1932, №№ 35—36). Все рецензии, как правило, заканчивались пожеланием автору во второй части своего произведения устранить недостатки и дать еще более глубокое и художественно проникновенное изображение процесса «создания людей пролетарской революции».

Островский и сам видел авторские просчеты, вызванные неопытностью, творческим одиночеством, сложными условиями труда. Еще в октябре 1931 года он отдавал себе в этом ясный отчет: «Всего несколько дней, как я выбрался из тяжелого недуга. Мое физическое состояние надавило на девятую главу тяжелым прессом. Она получилась не так, как я хотел. Она должна быть шире, и полнее, и вообще должна быть ярче... Я очень критически отношусь к написанному, где много недостатков, но ведь это моя первая работа».

Работая над второй частью романа, он пишет: «...я должен напрячь все силы и добиться того, чтобы новая работа была лучше и чтобы ее признали». В мае 1932 года он просит А. Жигиреву прислать ему для изучения отзывы о первой части: «Я перед началом второй части хотел бы знать, где прорехи, чтобы не повторить их».

Над второй частью «Как закалялась сталь» Островский работает с еще большим упорством. 26 августа 1932 года он пишет из Сочи Г. Алексеевой: «Тружусь над 1-ой главой 2-го тома. Сам пишу. Трудно это. Нет твоих ручонок — быстро бы рождались страницы». И через два месяца ей же: «Моя жизнь — это работа над второй книгой. Перешел на «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как в кинопленке, события, и рисуются образы и картины». «Полон творческой энергии, но часто невозможность переложить ее на бумагу из-за отсутствия чьей-то руки приводит в ярость. Ведь мои темпы черепашьи. Я устаю раньше, чем иссякают созданные образы. В моем «секретариате» чудовищная текучесть»,— отмечает Островский в письме к А. Караваевой 27 декабря 1932 года. А в январе 1933 года он с сожалением пишет Г. Алексеевой: «Моя мечта — это возвратиться в Москву... Работы же хватит нам с тобой по горло... Мне теперь ясна истина — мой секретарь должен быть моим другом, а не чужим человеком».

Посылая 20 апреля 1933 года шесть глав второй части в журнал «Молодая гвардия», Островский пишет ответственному редактору журнала А. Караваевой: «Буду ожидать твоего суда над второй частью «Стали». Я вторую книгу не переоцениваю, вижу все ее недостатки и знаю, что продвижение вперед на высшую ступень будет достигнуто лишь после большой учебы. «Сталь» — это первая отливка, труд, созданный в неподходящей даже для крепкого человека общежитейской обстановке. К счастью, у меня еще достаточно неисчерпаемых сил и стремлений к труду над собой...»

1 июня 1933 года в ответ на критическое письмо А. Караваевой Островский пишет: «Вашу суровую критику в основном и самом главном считаю правильной. Необходимость серьезной «перетряски» — факт... Приступаю к работе сейчас же, как только получу от тебя рукопись с твоими пометками». Далее Островский излагает конкретный план переработки второй части.

В начале июня вторая часть была закончена. Островский сообщает А. Караваевой: «6 июня товарищ увез в Москву законченную вторую книгу «Как закалялась сталь», 330 печатных страниц. Одну рукопись в издательство «Молодая гвардия» и три последние главы — тебе... Не забудь, товарищ Анна, что я ожидаю его (отзыва.— *С. Т.*) с нетерпением. Пусть это будет несколько строк, хотя бы о том общем впечатлении, какое произвела на тебя вторая книга. Плюс или минус».

Вскоре Островский получил отзыв от А. Караваевой и начал работать над книгой по ее замечаниям. «Я сейчас же приступил к переработке книги и вскоре увидел, какие трудности встали передо мной. Капитально «перетряхивать» книгу оказалось труднее, чем написать ее заново. Я понял, что на данном этапе это мне не под силу. Год с лишним напряженной работы отнял у меня все физические силы. Их у меня хватает лишь для тщательной правки и освобождения рукописи от путаных мест,— пишет он 11 августа 1933 года А. Караваевой.— В первых трех главах твои пометки карандашом значительно помогли мне. В следующих главах руковожусь «инстинктом»... Я признаю, что вторая книга не такова, какой я хотел бы ее видеть и, несомненно, когда будут силы, я возьмусь за капитальную переработку книги. Сейчас же передо мной два препятствия: усталость и... «экономический кризис»... Прошу ответить мне вскоре — считаешь ли возможным помещение второй книги в журнале с указанной выше переработкой».

Сообщение А. Караваевой в ее, по словам Островского, «исключительно сердечном письме» о том, что книга с января 1934 года будет печататься в журнале, принесло Островскому «огромное моральное удовлетворение».

Вторая часть «Как закалялась сталь» была опубликована в 1934 году в первых пяти номерах журнала, а в июне вышла отдельным изданием в издательстве «Молодая гвардия». Сравнение этих двух публикаций показывает, что их тексты существенно отличаются друг от друга, будучи, очевидно, отредактированы в первом случае — в соответствии с пожеланиями редакции журнала, а во втором — издательства.

Осенью 1934 года издательство «Молодая гвардия» еще раз выпустило обе части романа «Как закалялась сталь» отдельным изданием.

Как журнальное, так и книжное издания второй части «Как закалялась сталь» 1934 года не удовлетворили автора. После выхода двух первых номеров журнала Островский в письме к А. Караваевой сожалеет о строках, «отсечение которых болезненно чувствуется», о «грубых опечатках, искажающих смысл».

Появление второй части «Как закалялась сталь» также не осталось не замеченным критикой.

Большое влияние на Островского оказала появившаяся 18 марта 1934 года в «Правде» статья А. М. Горького «О языке». Она заставила его вновь критически взглянуть на свой труд: «Я открываю первую книгу своей повести, вновь читаю знакомые строки,— и статьи Горького... открывают мне глаза; я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркивается, и если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет» («За чистоту языка»).

В 1935 году, готовя третье издание «Как закалялась сталь», Островский снова тщательно просматривает весь роман. 8 февраля 1935 года он сообщает, что послал в Москву «исправленный текст для третьего издания, которое «Молодая гвардия» собирается печатать в третьем квартале...». Редактирование романа продолжалось с перерывами до середины 1935 года. Островский пишет 23 мая 1935 года: «Приезжала редактор Горина. Пересмотрели с ней всю рукопись «Как закалялась сталь», и третье массовое издание (стотысячным тиражом) выйдет вполне такое, как я хочу». В этом издании Островский исключил из романа публиковавшиеся ранее страницы, связанные с пребыванием Корчагина в «рабочей оппозиции» (начало первой главы второй части), восстановил по рукописи (отредактировав рукописный текст) некоторые исключенные из журнального текста и не вошедшие в предыдущие издания отрывки, дополнил роман эпизодами с польскими рабочими-революционерами, расширил образы Полентовского, Тыжицкого. В это же издание впервые вошли и ключевые для книги строки «Самое дорогое у человека — это жизнь...», бывшие в рукописи (ЦГАЛИ).

Это третье, по словам Островского, «исправленное, наиболее отработанное» издание вышло в свет в конце июля 1935 года с пометкой на титуле: «Печатается по полному тексту рукописи».

Слова «полный текст рукописи» не означали, однако, полной публикации рукописной редакции романа. За пределами печатного текста в рукописи осталось довольно значительное количество эпизодов, сцен, отрывков, по разным причинам не включенных Островским в окончательную редакцию романа. Приводим, с некоторыми сокращениями, отрывки из рукописной редакции [1].

Стр. 25. *После слов:* «Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился» в рукописи было:

Как-то невзначай столкнулся с сухоньким учителем на мостике у мельницы и, набравшись смелости, остановил его. Рассказал ему все. Учитель слушал внимательно — с удивлением и интересом. Смотрел на воду.

— И тебя, говоришь, выгнали за этот вопрос, а не за что-нибудь другое?

— Нет, только за это. И теперь отец Василий на своих уроках меня за дверь выставляет,— ответил Павка.

Хорошим оказался сухонький человек. Долго сидел он с Павкой на бревнах у пруда, рассказал много интересного про вселенную. А когда расставались, сказал ему, блестя своими серыми прищуривавшимися глазами на Павку:

---

[1] Опубликованы в журнале «Октябрь», 1964, № 9.

— А закон божий все же учи и у отца Василия ничего больше не спрашивай. А вырастешь, дружок, еще кое-что узнаешь. А теперь учиться грамоте надо.— И, глянув на часы, пошел мягкими шагами по улице.

Стр. 36. *После слов:* «Иди, Павка, я за кубом погляжу»:

Павка открыл застекленную матовыми стеклами дверь, ведущую в зал, и прошел между спящими пассажирами к громадному длинному буфету. Хозяйки за буфетом не было. В перерыв она уходила домой спать. За буфетом сидели две продавщицы, отпускавшие покупателям.

Спросив у одной из них, не надо ли им кипятку или воды, и получив отрицательный ответ, пошел обратно.

В судомойне уже сидели два официанта, Прохошка и Заливанов, о чем-то споря между собой.

Не слушая их, Павка кивнул Климке головой и пошел к двери, ведущей в кухню.

— Ты нас разбуди, Глаша,— попросил Климка посудницу.

— Ладно, иди, иди, разбужу.

В кладовке они улеглись на нарах. Павка, невидимый в темноте, спросил:

— Расскажи мне, Клим, про тот разговор Прохошки с Фросей, помнишь, ты мне не договорил всего.— И голос Павки чуть дрогнул, когда он произносил ненавистное ему имя Прохошки.— Ну, говори, Климка, я слушаю.

— Ну, так вот как было дело,— начал рассказ Климка.— Я, помнишь, тебе говорил, что они давно к Фросеньке подсыпались, и Прохошка, и Андрей Степанович, и Заливанов, но ничего у них не получалось. Слыхал я, как повара разговаривали насчет этого, а в ту ночь я закончил на кухне свое дело, значит, и пошел в мясную кладовку соснуть. Там двое нар свободных стояло, пошел и лег, а на нарах мясо лежало, и, видать, подмочило нары-то, ну я встал и за ящики завалился на брезент. Уже засыпать стал, когда слышу, дверь кто-то открывает, по голосам узнал, Фросенька и Глаша. Глаша и говорит, значит, Фросе:

«Вот тут мы и заснем, здесь никого нету».

Постелили они что-то на нарах, улеглись, а тут кто-то стучит и заходит. А это Прохошка засветил спичку и говорит:

«Посуду, говорит, помыть надо, сверху принесли, так ты, Глашка, пойди помой, а тогда и заснешь, немного там».

А когда Глашка ушла, то Прохор Фроське и начал:

«Дура ты, говорит, чего ломаешься, Мусин-Пушкин, говорит, дает триста целковых».

А Фрося говорит:

«Что ты врешь, подлец, чего набиваешься, что я тебе, гуля-

щая какая, что ли? Покупатель какой нашелся! Всех норовите за десятку купить, думаете, как баба, так и продащая».

А Прошка, как змея, все долбит и долбит:

«Ты подумай, говорит, триста целковых, дурой будешь, если не согласишься, как хочешь, но я тебе говорю, таких денег никто из вас видать не может, а Мусин-Пушкин — что, у него денег мильен, он может дать. Как хочешь, говорит, а если соглашаешься, то иди сейчас».

И долго он ей говорил все про то же одно — уламывал; сначала Фроська все ругалась, а потом все меньше да меньше:

«Человека продавать продаете, а потом и обманете».

А Прохошка ей, значит, и говорит:

«Какой обман может быть, вот тебе пятьдесят целковых наперед, а остальные потом получишь. Бери, дурочка, да соглашайся, а то другую девчонку найдем. И то с тобой не возились бы, а то понравилась ты поручику, для него ж тебя и за буфет поставили. Ну вот, говорит, как надумаешь, согласишься, так приходи сейчас наверх, там они все собралися на начальниковой квартире».

И пошел.

Лежу я, виду не подаю, что здесь, а меня за ящиками и не видать, но слышу — Фросенька плачет здорово, так и плакала, пока Глаша не пришла. Та ее и спрашивает:

«Чего, дескать, плачешь, что случилось?»

А Фрося и говорит ей:

«Жизнь моя собачья. Вот в семье у нас восьмеро душ, а работали только я да мать. А теперь мать больна, все оборвалися, есть нечего, и моих шестнадцать рублев на хлеб лишь бы хватило. И хоть головой в воду. Эх, судьба проклятая!»

Посидели они так, поговорили, потом Глаша спать легла, а как захрапела она, так Фросенька поднялась тихонечко и в дверь пошла. А я подумал: неужели пошла Фросенька туда, сам себе не верю.

Вылез я из-за ящиков и в дверь за ней. А она уже по лестнице поднимается наверх. Я, значит, за ней. Гляжу, не в буфет пошла, а наверх, к начальнику на квартиру. Сам видал, подошла к двери, постояла, постояла и стучит. Открыл ей дверь Прохошка, аж осклабился стервец от радости, когда ее увидал. Вошла, и Прохошка дверь закрыл.

Я на самую лестницу попер и около двери постоял, послушал. Слыхал, голоса кричат, что-то поют, пьянка, видно, шла там, как всегда, ну я и назад, чтоб не застукал меня кто-нибудь. Вот и все.

Климка замолчал, прислушался. На нарах, где лежал Павка, было тихо.

— Ты что, спишь, что ли? — спросил Климка.

— Нет, не сплю,— глухо ответил Павка.

По коридору кто-то прошел. На кухне звякнула кастрюля. В углу кладовой возились с бумагой мыши. Глухо сквозь стену кладовки донесся рев подходившего поезда. Климка услыхал тихий голос Павки:

— Ну ты спи, а я пошел, поезд подходит.— Сухо щелкнула за ним дверь.

«Чудной он парень какой-то,— подумал об ушедшем Павке Климка.— У него за всех сердце болит».

И, повернувшись на другой бок, задремал.

Стр. 79. *Перед словами:* «Острая беспощадная борьба классов захватывала Украину»:

Дождь дробно стучал в окна. Журчала стекающая с крыш вода. Налетающий ветер тревожил в саду вишни, пригибал их к окну, и тогда веточки постукивали в него, и Ира [1] не раз поднимала голову, прислушиваясь, не стучит ли кто, и, убеждаясь, что это лишь ветер, морщила брови. Мешает писать, досадовала она. На столе перед ней лежала стопка исписанных листов. Закончив последний, Ира закуталась потеплее в шаль и стала перечитывать только что написанное письмо.

«29 ноября 1918 года

Милая Таня!

Случайно в Киев едет помощник папы, и я посылаю с ним это письмо.

Не писала давно. Прости.

Но сейчас такие тревожные дни, все так перепуталось, что нельзя собрать мысли, да если бы даже хотела написать, не было с кем послать, почта не ходит.

Ты уже знаешь, что папа не согласился на мой возврат в Киев. Седьмой класс я буду кончать в местной гимназии. Скучаю по друзьям, особенно по тебе. Здесь у меня нет никого из друзей из гимназической среды. Большинство — неинтересные, пошлые мальчишки и кичливые, глупые провинциальные барышни.

В прошлых письмах я написала тебе о Павлуше.

Я ошиблась, Таня, когда думала, что мое чувство к этому молодому кочегару просто юношеская шалость, одна из тех мимолетных симпатий, которыми полна наша жизнь... Но это неверно. Правда, мы оба очень юны, нам обоим вместе всего 33 года, но это что-то более серьезное.

Я не знаю, как это назвать, но это не шалость. И вот сейчас в глубокую осень, когда беспрерывно льют дожди и в грязи можно утонуть, в этом скучном городишке всю эту серую жизнь скра-

[1] В печатном тексте — Тоня.

шивает и всю меня наполняет это неожиданно родившееся чувство к чумазому кочегару [...] Я никого не видела из среды знакомой мне молодежи, ни одного юноши с такой сильной волей и крепко очерченным, своеобразным взглядом на жизнь. И сама-то наша дружба необычна. И вот эта погоня за чем-то ярким и мои взбалмошные «испытания» однажды чуть не стоили ему жизни. Мне сейчас даже стыдно об этом вспоминать.

Это было в конце лета. Мы пришли с Павлушей к озеру на скалу, любимое мое место. И вот все тот же бесенок заставил меня еще раз испытать Павла. Ты знаешь тот огромный обрыв со скалы, куда я тебя водила прошлым летом. Вот с этой пятисаженной высоты, подумай, какая я сумасшедшая, я сказала ему:

«Ты не прыгнешь отсюда, побоишься».— Он посмотрел вниз на воду и отрицательно покачал головой.— «Ну его к черту! Что мне, жизни не жалко, что ли?! Если кому надоело, пускай и прыгает».

Он принимал мое подзадоривание за шутку. И вот, несмотря на то, что я несколько раз была свидетелем его смелости и даже отчаянной, до дерзости иногда, но сейчас мне казалось, что он не в состоянии сделать действительно отважный поступок, рискуя жизнью, и что его хватает лишь на мелкие драки и авантюры наподобие истории с револьвером. И вот тут случилось то нехорошее, что заставило меня раз навсегда отказаться от этих взбалмошных выходок. Я ему высказала свое подозрение в трусости и хотела только проверить, способен ли он вообще совершить этот поступок, но не заставить его прыгать. И вот, чтобы ударить побольней, я, увлеченная этой игрой, предложила условия: если он действительно мужествен и хочет моей любви, то пусть прыгает [...]

Таня, это было нехорошо, я глубоко сознаю. Он несколько секунд смотрел на меня, ошеломленный [...] И я даже не успела вскочить, как он, сбросив с ног сандалии, рванулся с обрыва вниз.

Я дико закричала от ужаса, но было поздно: напряженное тело уже летело вниз к воде. Эти три секунды казались бесконечными: и когда плеснувшая фонтаном вверх вода мгновенно скрыла его, мне стало страшно, и, рискуя сама сорваться с обрыва, я с безумной тоской смотрела на расходившиеся по воде круги. И когда после бесконечного, как казалось, ожидания из воды показалась родная черная голова, я, зарыдав, побежала вниз к проезду. Я знаю, что прыгал он [...] из желания раз навсегда покончить с испытаниями.

Ветви стучат в окно и не дают мне писать. У меня сегодня совсем невеселое настроение, Таня. Все кругом так мрачно, и это отзывается и на мне.

На станции непрерывное движение. Немцы уходят; они движутся со всех сторон и поспешно грузятся, уезжая. Говорят,

в двадцати верстах отсюда идет бой между повстанцами и отступающими немцами: ты ведь знаешь, у немцев тоже революция, и они спешат на родину. Рабочие со станции разбегаются. Что-то будет дальше — не знаю, но на душе очень тревожно. Ожидаю от тебя ответа.

Любящая тебя Ира».

Стр. 158. *После слов:* «И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы»:

*

В его дни, в его зажженное борьбой сердце ворвалось и захватило глубоко большое товарищество к этой тогда непонятой, а теперь такой родной Рите, его, Сережи, женушке. И юноша первые дни был сбит с нормальной колеи. Но работа, напряженная, неустанная, не ждала. И он опять втянулся в нее. И до осени приближающейся, до нынешнего дня жизнь подарила им только три-четыре встречи, встречи незабываемые, хмельные.

Стр. 188. *После слов:* «Я теперь не тот Павлуша, что был раньше»:

Мне стыдно вспомнить, что я из-за твоих глаз со скалы кидался. Теперь не кинулся бы ни за что. Жизнью рисковать надо за другое, за большее, а не за глаза девушки.

Стр. 202. *После слов:* «Лишь утром его разбудил рев паровоза»:

Догорало золотое лето. Уходило, знойное, на юг к морю, где плескалось солнце в ласковой воде. Уходило, посжигав посевы. А с севера шла плаксивая осень, неутешная вдова. Ее еще не было видно даже с холмов, одетых, словно в шубы, зеленым ельником, но ветер с нежной теплотой умирающего лета приносил свежую и прохладную струю, предвестницу ее приближения. Громадный город, некогда гордость и твердыня реакционной купеческо-помещичьей южной России, с его блестящим центром и сытым покоем аристократических особняков в «Липках» и безотрадной нищетой пригородных окраин, за годы царской войны и гражданских боев опустился, как спившийся почтовый чиновник, выставляя напоказ свои прорехи — груды ломаного кирпича и свернутых стальных балок на месте многоэтажных домин. Нищим, не раз ограбленным белыми гостями-налетчиками взяли этот город большевики. Страшное получили наследство не только в городе — во всей стране.

— Поживем — увидим: на Поволжье голод, у нас неурожай, у них ничего нет. Посмотрим, что запоют «товарищи», когда придет осень и зима. Клянусь честью, они до зимы не дотянут. Вы

слыхали...— скреблись приглушенные голоса по углам гостиных, где близко склонялись плешивые головы.

Не в одной сотне домов за спущенными занавесями из доброго старого тюля несся этот крысиный скрежет.

Но чем молчаливее ушедшие в себя дома с мышиными обитателями, тем быстрее билась жизнь там, в недоступном для чужих здании с кратким именем «Губком». Здесь был мозг. Отсюда шли неразрывные приводы ко всему, что было связано с трудом и машиной. Здесь был штаб этого живучего племени, взявшего на себя ответственность за власть окраин над купеческим центром.

Стр. 203. *После слов:* «Видела его — создают с Жарким коммуну из пяти»:

*

Ни Устинович, ни Корчагин не замечали, как крепла их дружба, вырастая в нечто более глубокое, чем простое товарищество. Если бы ему кто сказал, что это — рождение второй в его жизни любви, он не замедлил бы послать того к черту, оскорбленный за незыблемую, как он был убежден, идейность их дружбы. Если бы это кто сказал Рите, он встретил бы ее удивленный, с нескрываемым презрением взгляд. Их сблизил совместный труд над книгой. И взаимный интерес друг к другу. Ей не раз казалось, что она его знала раньше. Оба для учебы отрывали часы своего сна. Их было мало, хотя расставались в полночь. У каждого гора дел, больших и малых. А ему домой километра три отмерять. Все же были у них дни, когда собирались у Риты все. Но очень редко, некогда было. Открылось чувство Павлу нечаянно.

Стр. 219. *После слов:* «Не замерзать же сложа руки»:

*

В дневнике Риты исписаны две новые страницы. «Третий день у нас мобилизация сил на стройку узкоколейки. Направляем туда почти всю Соломенскую организацию. Насколько важна стройка, видно из того, что туда едут три члена губкома: Дубава, Панкратов и Корчагин. Эту тройку отобрал товарищ Жухрай. Я и Аким дважды подолгу были у него. Говорит, стройка чрезвычайно трудная, но если это провалим, будет катастрофа. Послезавтра на стройку отходит специальный поезд с рабочими. Вчера на совещании коммунистов и комсомольцев, едущих на стройку, Токарев произнес замечательную речь. На старика губком партии возложил руководство стройкой. Хороший выбор. Всего едет четыреста человек, из них сто комсомольцев, двадцать партийцев, инженер, техник. Сегодня Жаркий и Корчагин в техникуме путей сообщения проводят мобилизацию студентов. Да, Корчагин! Если бы

не этот возмутительный случай с Туфтой, я, наверно, не узнала бы, что он и есть тот самый Павка, о котором так много говорил Сергей [1].

Туфта получил на бюро выговор за склоку. Он и на бюро не вполне отказался от обвинения Корчагина.

Вышло это на совещании актива. Отбирали едущих на стройку. Вдруг Туфта дает отвод Корчагину. Мотивировка отвода нас всех поразила. Туфта заявил, что Павел имеет связь с буржуазными элементами и вследствие этого [...] ему нельзя доверять руководство стройгруппой. Я смотрела на Павла. Удивление в его глазах сменилось гневом, когда Туфта по общему требованию дать доказательства рассказал следующее.

В ликвидации заговора Туфта и Корчагин, будучи в одном отряде, производили обыск на квартире одного профессора. И вот дочь этого профессора оказалась знакомой Павла. Туфта подслушал ее вопрос: «Неужели это вы направили к нам на обыск, товарищ Корчагин? Если это так, я глубоко оскорблена этим. Вы, кажется, достаточно знаете нашу семью». Корчагин ей на это ответил, что если у них никого подозрительного не найдут, то отряд уйдет.

Туфта требовал объяснения: «Откуда у Корчагина такое близкое знакомство с буржуазными девицами?» Корчагин вел себя хорошо. Нелегко это ему дается, но своими порывами он уже овладевает. Туфту отхлестал словами: «Если бы любой из вас, ребята, сказал мне такую вещь, было бы здорово обидно, но Туфта это может. Почему этот товарищ, когда мы все делом заняты, вместо общей работы подкусыванием занимается? Хрен его знает. Вам, друзья, не ему, конечно, объясню, в чем дело. У этого профессора я квартировал в двадцатом году. Вот вам и все знакомство [...] »

Корчагина прервали, не дали больше говорить. Туфте залепили выговор.

Я хочу встретиться с Павлом перед его отъездом в Боярку.

*

В большом двухэтажном здании техникума путей сообщения гудел рой голосов — старосты курсов собирали на общее собрание коллектив студентов. Павла кто-то потянул за рукав.

— Здравствуй, Павлуша, какими судьбами ты здесь? — спросил его молодой парень с серьезными глазами, в технической фуражке, из-под которой на лоб шел кудреватый вихор. Это был Алеша Коханский, сверстник Павлуши из его родного города. Брат Алеши работал в депо слесарем вместе с Артемом. Семья

[1] Имеется в виду Сережа Брузжак.

Коханских делала все, чтобы дать Алеше образование, и парнишка, совмещая труд со школой, окончил высшее начальное училище и двинул в Киев. Бегло рассказывал Павлу свои приключения Алеша:

— Из городка нас шестеро сюда двинуло. Ты их всех, наверно, знаешь: Сухарько Шурка, Заливанов, Шаропонь, одноглазая шельма, помнишь? Чеботарь Сашка и Ванька Юрин. Вот мы и поехали. Им всем мамашеньки и варенья, и колбасы, и коржиков разных напекли на дорогу, а я набил ящик сухарями черными [...] В дороге заели меня насмешками гимназистики эти. До того допекли, что я уже решился было крушить стервецов. Их хотя пятеро мордопасов, ну, думаю, мне попадет, но и я уж кого-нибудь поздравлю. Терпения, понимаешь, не хватало. «Куда, говорят, внучок несчастный, прешься, сиди, дурак, дома и копай картошку».

Ну, ладно. Приехали. Они все с рекомендациями к начальству разному пошли, а я в штаб округа. На летчика хотел учиться. Сплю и вижу, как бы я в воздухе винта нарезал.

Павел улыбнулся.

— На земле тебе тесно? — шутливо спросил он Коханского. Алеша сверкнул в улыбке свежей белизной зубов.

— Вот же мне в штабе и говорят: зачем тебе в облака забираться? По земле вернее. Смеются. А я из укомола даже рекомендацию привез с просьбой оказать содействие насчет авиации. В нашей квартире военком снабжения жил, Андреев. Так этот на обороте бумажки от себя шкрябнул. Вот слово в слово: «Замечал тов. Коханского, как сознательного. В общем — парень гвоздь. Притом мозговатый. Семейственность рабочая. Раз у него охота к летанию, пущай учится на поддержку Мировой революции. Подписал: Военком Снабрига 130 Богунской: Андреев».

Павел от души смеялся. Алеша же хохотал так раскатисто, что вокруг них стали собираться студенты. Сквозь смех Коханский продолжал:

— Да, с авиацией не клеилось. В штабе растолковали мне, что летать сейчас не на чем и будет неплохо пока по технике подучиться, а летать, говорят, никогда не поздно. Я сюда, подал заявление.

Оказывается, прием по конкурсу. Тут же и эти.

Экзамены через две недели. Я вижу — дело дрянь, на одно место восемь охотников и все больше бражка городская. К профессорам репетировать ходили или, как наша орава, по семь классов гимназии отмолотили.

Просмотрел я книжата. Освежил память. Вагон дров выгружу, есть на два дня покушать. Потом дров не стало, сижу на декофте. А наша шатия по театрам шатается, в общежитие ночью приходят. Комнаты пустые — почти все студенты в летнем отпуске. Если эта шатия вернулась, заниматься нельзя: крик, гогот. Заливанов Сенька их всех в оперетках с артистками познакомил, а те у

них в три дня всю монету выудили до копья. А когда им жрать стало нечего, так эта сволота у одного парнюги, что приехал поступать, сорок яиц стырили и без меня остаток сухарей в один присест сожрали.

Наконец день испытаний. Первое — геометрия. Дали нам бумагу с печатями, тридцать пять минут на решение задач. Я как на доску глянул, вижу — решу, а гимназистики, гляжу, запарились вконец. Рожи у них злые, ерзают, словно им кто шпилек в стулья насажал. С Шаропоня пот градом. Морда у него придурковатая, блыкает одним глазом. Ага, думаю, это тебе не девочек, сукин сын, щипать за икры.

Давясь смехом, Алеша досказывал:

— Решил я задачу, встал, чтоб отнести профессору, а Сухарько и Заливанов шипят, как гуси: «Передай шпаргалку». Я же без пересядки к столу мимо Чеботаря прохожу. Он меня шепотом матом обложил.

За два дня по четыре двойки заработали и с конкурса вышли. Я держусь.

Что ж они делают? Сухарько подходит ко мне и говорит: «Брось здесь валандаться, мы по секрету от преподавателя узнали, у тебя две двойки, не пройдешь все равно, идем с нами, пока не поздно, подавать в строительный техникум, там легче». Я было поверил, но с экзамена не ушел, все равно еще два предмета, и все будет ясно.

Оказалось, это меня на пушку брали. Прошел я, а эта бражка, чтобы дома своим очки втереть, поступила в двухклассное училище при техникуме. Их приняли без всякого испытания, там ведь требуется знание двухклассной школы. Получили билеты, провизионные карточки и вот ездят по всем дорогам, мешочничают.

Занялись спекуляцией. Денег у них полные карманы, жрут и пьянствуют. Уже в городе три квартиры сменили. Отовсюду их гоняют за скандалы и пьянку. Ванька Юрин от них в сторону подался. Попал в строительный.

Толкотня в коридоре усиливалась. Большой класс наполнялся молодежью. Пошли туда и Павел с Алешей. Уже на ходу Коханский вспомнил что-то и вновь поперхнулся смехом:

— Ванька недавно к ним заскочил. Там картежка. Ванька тоже приладился к ним и обыграл их нечаянно. Что ж ты думаешь? Они у него деньги отобрали, вдобавок морду набили и выставили на улицу. Заработал, называется.

До позднего вечера в обширном классе шла борьба за большинство.

Жаркий выступал трижды. О поездке на стройку большинство студентов и слышать не хотело. Крикуны в технических тужурках с молоточками на петлицах второй раз срывали голосование.

Здесь Жаркому не на кого было опереться. Два комсомольца на пятьсот учащихся, из которых две трети «папины сынки». Наиболее демократическим был первый курс, где руководил старостатом Коханский. Этот курс и механический первый, где за поездку высказался их староста Данилов, юноша с мечтательными глазами, дали большинство. И наутро коллектив обязался послать сорок студентов на помощь стройке.

Стр. 222. *После слов:* «Отряд насчитывал уже девять дезертиров»:

На третий день по приезде улизнула со стройки четверка «липовых» студентов — землячки Алеши Коханского. Не по нутру пришелся тонкошкурым котам героический труд.

Четверка смотала удочки с утренним рабочим поездом. Смущенный Алеша доложил об этом начстройки. Слесарь презрительно шмыгнул носом.

Стр. 226. *После слов:* «Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку»:

*

А в городе, на Дмитровской, 17, в квартире под тем же номером, за столом, обсаженным теплой семейкой, Шаропонь метал банк. Впился единственным глазом в гипнотизирующую его груду кредиток.

Шаропоню еще не было двадцати. Жирный, с откормленным, самодовольным лицом, с толстыми, животными губами. Одутловатые щеки с признаком второго подбородка и огромный маслянистый глаз. На месте другого — зияющая впадина. Одноглазый взгляд, жадный до отвратительности, пригвожден к деньгам.

Шаропонь вел последний круг после стука.

С раннего утра в квартире шла вязкая, как глина, игра в очко. Слепой случай кому-либо набивал бумажник кредитками, а остальных ограблял. И, отравленные непреодолимым пороком, просиживали за игорным столом десятки часов четверо «липовых» студентов.

Игра жгла силы. Тогда возбуждали измочаленные нервы выпивкой. Для нее из каждого банка непременно откладывалась кредитка.

Гришке Шаропоню сегодня везло: он уже обыграл до последней бумажки Сухарько, Чеботаря и Ефремчика, хозяина квартиры, недорослого карлика, а также незнакомого партнера, горбоносого, с гнойными углами губ, человека с хищным, как у совы, взглядом. Крупные деньги оставались только у Сеньки Заливанова.

Сенька сидел на краю стола в новенькой кожаной куртке с командирским знаком на клапане верхнего кармана. Он среди четверки «липовых» студентов был самый отчаянный.

Обладая наглостью, заменившей ему смелость, Сенька, не задумываясь, вступил на путь авантюризма, и, приобретя на толкучке кожанку, синие галифе, прицепив эмалированный венок со звездой — знак командира, он уже дважды провез контрабандный товар из своего городка. Дуло нагана, высунутое из кармана, заменяло ему пропуска и билеты.

Сенька постепенно привык к своему маскараду и даже среди своих компаньонов не снимал знак.

Высокая не по годам Сенькина фигура примелькалась станционным и поездным чекистам. Его принимали везде за агента Особого отдела, и никому в голову не приходило спросить у него документ.

Сенька стал для всей компании незаменимым человеком: самую трудную посадку он производил без всяких затруднений, и финансовые дела четверки пошли в гору.

Сейчас же между Сенькой и Шаропонем шла затяжная схватка за деньги.

Большая сумма в банке решала судьбу игроков. Получив карту, Сенька впился в нее глазами.

На него смотрела чопорная дама крестей. Мысленно наградив ее оскорбительной кличкой, Сенька ни одним движением не выдал своей досады.

— По банку,— отрывисто бросил он.

У Шаропоня живчиком запрыгал у виска нерв, рука с колодой карт затрусилась мелкой дрожью.

— Ставь деньги на кон! — хрипя от волнения, проговорил Гришка. Его прошиб озноб от мысли, что вот он может потерять огромную сумму. И масленистый глаз его с ненавистью уставился в холеное лицо Заливанова.

— Что такое, деньги на кон? Ах ты, камбала гнилая, да я тебя семь раз куплю с потрохами! — вскочил, как ошпаренный, Сенька.— Давай карту!

— Деньги на кон!

Азарт дурманил головы. Игроки приросли к столу, ожидая конца. Горбоносый, ощупав финку в кармане, с интересом наблюдал за происходящим. Из соседней комнаты к столу подошла Лиза Сухарько, поправляя прическу. Никто ее не заметил.

Лиза приехала сюда с братом. Шурка обещал ей дать денег на покупку хорошего костюма. Но, продав контрабандный сахарин, противный Шурка проиграл все в карты.

Предоставленная сама себе, она гуляла по городу. Зашла к Бурановским. И под вечер вернулась обратно. В квартире все еще продолжалась игра. Лиза задремала на кровати брата.

Ее разбудили крики.

— Когда вам наконец надоест это? Поедем лучше в театр, ведь здесь со скуки умереть можно! — воскликнула Лиза.

За последние два года Лиза Сухарько оформилась в капризно-изящную женщину, желающую взять от жизни как можно больше благ и удовольствий, не уродуя хорошеньких пальчиков с розовыми ноготками. Лизу обидело полное невнимание к ее особе. Она нагнулась к Заливанову, положив руку на его плечо.

— Бросьте сейчас же карты, иначе я рассержусь! — И она взяла из его рук даму крестей.

— Не мешайте, Лиза! — грубо вырвав карту, крикнул Сенька. Он отсчитывал на столе пачки денег из бумажника. Опорожнив его, Заливанов подвинул всю груду к банку.

Шаропонь долго пересчитывал.

— Давай карту! — шально выкрикнул Сенька.

Липкие от пота пальцы Шаропоня с трудом стянули на стол карту. Сенька схватил ее — девятка.

— Еще карту!

Шаропонь трясущейся рукой положил ему карту. Сенька сложил три карты вместе; закусив до крови губы, мучительно медленно выдвигал край только что взятой. Со лба Шаропоня на нос скатилась капля пота и повисла на кончике.

— Двадцать два,— тихо сказала за Сеньку Лиза.

Шаропонь бросил на стол обеими руками карты и схватил деньги.

Игроки повскакали с мест. Заливанов тоже встал, он был бледен, как мел. Вынув из бумажника золотое колечко с полукаратовым бриллиантом, он глухо проговорил:

— Вот моя ставка. Деньги не убирай. Сейчас сыграем и тогда закончим.

— Я не хочу,— отказался Шаропонь.

— Не хочешь? А ну, понюхай, чем это пахнет! — И Сенька, дико поблескивая глазами, сунул Шаропоню под нос дуло нагана. Шаропонь испуганно дернулся в сторону.

— Ты эти штучки оставь, а то я знаю, куда пойти,— едва выговорил он.

— Играй! — исступленно топнул ногой Сенька. Шаропонь собирал карты.

И второй раз Сенька проиграл. В бешенстве разорвал он карты и швырнул их в лицо Шаропоню [...]

Стр. 243. *После слов:* «И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем»:

На Дмитровской, 17, четверка «липовых» студентов решала чрезвычайно трудный вопрос: где достать монеты?

Основные средства были отданы на закупку контрабанды. Но средства от продажи еще не привезенных из пограничья товаров появятся не скоро, а уже сегодня не на что было выпить и, что случалось очень редко, даже сытно поесть. Денежный вопрос обсуждался всесторонне, но выходило так, что, кроме касторового пиджака Шаропоня, отправить на толкучку было нечего. Горбоносый шулер аккуратно очистил карманы четверки от лишних кредиток и, выйдя как бы в уборную, назад не вернулся, унеся выигрыш.

Сенька Заливанов, ероша рукой свои жесткие волосы, после долгого раздумья обвел приятелей торжествующим взором.

— Эврика, слюнтяи, эврика! Проще пареной репы [...] Вам пропасть без Сеньки Заливанова. Ша! Слушайте внимательно.

И Сенька в припадке бесшабашного веселья, вызванного придуманной комбинацией, стукнул под подбородок разинувшего от любопытства рот Шаропоня. Прикусив свой язык, Шаропонь схватился за щеку. Валясь на стол от смеха, трое хохотали над бегавшим от боли по комнате Шаропонем.

— Ну, довольно придуриваться, тут тебе не ипподром! — прикрикнул на него Сенька, душась от смеха.— Слушайте мой план.— И Сенька, обводя всех порочными глазами, сдерживаясь от истерического хохота, начал:

— Как всем известно, у Сашки Чеботаря есть мать, а у матери, как нам известно, есть деньги. Но она их так себе, за здорово живешь, не отдаст. Нужен аргумент. На пропитание, на книжки, на квартиру своему дорогому сыночку, то есть способнейшему студенту — путейцу она посылает немалую толику финансов.

Здоровенный белобрысый хлыщ Сашка Чеботарь неожиданно озлился на такое вступление Сеньки.

— Ты чего в мои дела лезешь, что это за насмешка, сам-то ты в какой академии учишься!

Но Сенька прервал его.

— Сядь, дура, и слушай, что старшие говорят. Тебя за умного только тогда считать можно, когда молчишь. Продолжаю дальше. Сашка сейчас же под мою диктовку пишет любящей мамаше письмо такого содержания: «Дорогая мамочка! Шлю свой горячий привет, все дни страшно занят...»

Сухарько издевательски хихикнул:

— Игрой в очко и знакомством с девицами весьма оригинального поведения.

Заливанов повернулся.

— Будешь мешать, дам по карточке! — прикрикнул он на Шурку.

«...Страшно занят учебой, иду первым по курсу. Но у меня, дорогая мама, несчастье: стала лысеть голова, волосы вылезают

пучками. Профессор говорит, если не принять специального лечения электричеством и прочими аппаратами, то я облысею окончательно. На это нужны деньги. Дорогая мама, ожидаю твоей помощи. Любящий тебя сын студент техникума путей сообщения Саша Чеботарь».

Шурка, свалившись на пол в припадке хохота, дергал ногами, а Шаропонь, забыв о прикушенном языке, схватясь за круглое брюшко, гоготал, приседая на корточки. Сам же Чеботарь, кривя лицо деланной улыбкой, не знал, смеяться ли ему тоже или сцепиться с нахалом Сенькой. Когда смех утих, письмо под общей редакцией было написано. Но Сашка потребовал выбросить подпись «студент техникума» и тогда лишь подписал его [...]

Стр. 253. *После слов:* «...не хотел ее слез при прощанье»:

Жизнь вновь развертывала перед ним свою многообразную киноленту, и каждую новую картину на лету схватывали глаза, не знающие неподвижности.

Корчагин замечал в себе разительную перемену.

Все недавно пережитое, болезнь и возрождение, оставили в нем глубокий след. Казалось, что прожито несколько лет, а не месяцы.

Чувствовал, что на мир стал смотреть пристальней, иногда нервно щуря ресницы. На лбу рядом с брызгами шрама черточка суровой морщинки. В комнате матери, в круглом зеркале рассмотрел на висках серебристые жилки — седину в свои девятнадцать весен.

Отъезд из городка был первым сопротивлением чувству, враждебному его стремлению. Останься он здесь, как этого хотела его мать, он надолго отодвинул бы завершение своего роста. Сколько сложных проблем стояло перед ним, малограмотным подмастерьем, ставшим теперь одним из миллионов истинных хозяев страны, разграбленной и одичалой.

А маленький городок пропитывал его плесенью непроточной заводи. Сюда еще не достигла полной силой свежительная струя Октябрьских ветров, и городок жил в основном по старинке.

Знал он, что и сюда большие города пошлют свои резервы, и здесь жизнь раскачает тугой ход.

Он тоже не откажется поработать в заплесневелых городках, но вырастить и воспитать его может лишь большой город.

Стр. 253. *После слов:* «Павел скоро уснул»:

На станции Фастов с трудом выбрался из вагона на перрон. Подошел к баку с водой, вынул кружку, наполнил ее и жадно выпил.

— Товарищ, одолжите кружку! — голосок за спиной женский.

— Берите!

Девушка в пестром вязаном жакете задержала руку, присматриваясь. И, набирая воду, оглянулась.

Корчагин ее узнал: это была Лиза Сухарько. Он терпеливо ожидал, пока девушка напилась.

— Спасибо, товарищ, возьмите.

К баку подходили люди. Положив кружку в мешок, Корчагин направился к вагону. Сзади стук каблучков, рядом пестрый жакет.

— Извиняюсь, товарищ, ваша фамилия Корчагин?

— Да.

— Вы меня не узнаете?

— Узнал, конечно, ведь меня по вашей, можно сказать, протекции петлюровцы политграмоте обучали.

Кончики ее ушей порозовели. Остановившись у двери своего вагона, Павел полуобернулся к Лизе.

— Счастливого пути, товарищ Сухарько, мое место здесь.

Сказано это было не совсем любезным тоном, но Лиза не для того остановила его, чтобы упустить в этот момент нужного ей человека.

— Поезд еще не скоро пойдет. Я хочу с вами об одном серьезном деле поговорить. Здесь неудобно. Сядем вон на ту скамью.

На минутку задержался в нерешительности: «Какие у этой стрекозы могут быть со мной дела?» — подумал он, но все же пошел.

Когда сели, Лиза, оправляя край жакета, заговорила с видимым смущением:

— Во-первых, товарищ Корчагин, я хочу объяснить вам ту неприятную историю, которая случилась в девятнадцатом году.

— Можете не рассказывать, я все знаю.

— Вам Тоня Туманова говорила?

— Да. Вы для этого меня сюда позвали?

— Нет. Это между прочим. Дело вот в чем. Вы, как я знаю, коммунист. Ну так вот. В этом поезде едет некий Шаропонь Григорий, одноглазый. Вы его случайно не знаете?

— Немного знаю.

Лиза продолжала полушепотом:

— Мне известно, что Шаропонь везет ценную контрабанду: сахарин, несколько коробок кокаина, иголки и иностранную валюту. Где он хранит контрабанду сейчас, я не знаю, но при выходе из вагона он понесет ее сам лично. Вы его арестуйте. Пусть этот жулик рассчитается за свои делишки.— И злые огоньки мелькнули в глазах.

— Почему вы об этом не заявили политконтролеру?

— Так, я думаю, будет лучше. Шаропоня вы знаете, он вам

попадется с поличным, а ходить и показывать его политконтролеру я не желаю. Что, разве вы отказываетесь?

— Я не отказываюсь. В каком вагоне едет этот тип?

— В том же, что и вы.

Резко звякнули три звонка. Оба заспешили к поезду.

В то время, когда Корчагин нашел одноглазого Шаропоня, удобно устроившегося на средней полке, занятого флиртом с толстомордой соседкой-мешочницей, Лиза Сухарько в соседнем вагоне, забравшись на самую верхнюю полку под крышу к брату, шепотком на ухо предупредила об опасности:

— За Шаропонем следят. Хорошо, что вы ездите в разных вагонах. Двое каких-то военных говорили об этом, не заметив меня. Около Шаропоня уже сидит агент. К нему нельзя подходить. Предупреди Чеботаря и Сеню. Пусть, не доезжая города, слезут на Караваевой даче, а то вас всех сцапают.

Наступил вечер.

Павел поменялся полками со своим соседом. С нового места он мог наблюдать за Шаропонем. Ему не совсем была понятна причина, заставившая Лизу выдать контрабандиста. Но как бы там ни было, его долг — задержать паразита. Железный Феликс Дзержинский сказал: не забывай мои слова, коммунист и рабочий всегда чекист. Ибо ЧК — это недремлющие глаза всего класса.

Уже близок город. Люди засуетились. Поспешно связываются вещи. Шаропонь же беспечно продолжал лежать. И лишь только тогда, когда поезд подошел к площадке пригородных дач, он тоже поднялся и сложил вещи в небольшую корзинку.

Вместо того, чтобы идти к выходу, полез на боковую полку и уселся на ней. Рядом с ним находился чугунный резервуар водопровода. «Ага! Вот где собака зарыта»,— подумал Павел.

Пассажиры запрудили проходы с вещами в руках. Поезд, громыхая по бесчисленным стрелкам, с маху нырнул под городской мост и, торжествующе рыча, подошел к вокзалу. Павел стоял на перроне, толкаемый со всех сторон беспокойно снующими людьми, не упуская из вида двери пустого уже вагона. Чтобы контрабандист не ушел другой стороной, посматривал и под кузов.

Наконец-то в дверях [показался] Шаропонь. За спиной грубый мешок, спереди маленькая корзинка. Стрельнув глазом вдоль поезда и не замечая опасности, сошел на перрон. Устремился к выходу, но дорога туда ему была преграждена.

— Стой! Руки вверх! — И чья-то рука стянула с плеча мешок. Шаропоня хватил столбняк.

Через минуту его, трясущегося и мокрого от пота, вели в комендатуру. Он спотыкался, хлюпал носом, хватаясь за тужурки особистов, выл:

— Куда вы меня, товарищи? Отпустите, ей-богу, больше не буду.

Конвойный красноармеец подпирал его в зад прикладом.

— Волк тебе в брянском лесу товарищ! Не вертись, стерва, иди прямо!

Шаропонь уцепился руками за железный столб станционного навеса.

— Не пойду, вы меня на расход волочите, мешок не мой, мне его дали. О-т-п-у-с-т-и-т-е! Это же не я. Куда вы?

Вокруг них стали собираться люди. Руки его разжали, и дальше он пошел, уже не сопротивляясь, лишь поскуливая по-собачьи. Сзади группы шел Павел, а немного поодаль — торжествующая Лиза.

В комендантской на допросе Шаропонь выдал всех своих сообщников. Он готов был выдать все и вся, лишь бы спасти себя.

Срочный обыск на Дмитровской, 17, оказался безрезультатным. Остальная клопиная тройка скрылась. На нее был дан линейный и городской розыск. Уцелевшая тройка уползла в щели, спасаясь от неумолимого удара. Сенька сбежал в Ростов. Остальные отсиживались у знакомых.

Подписав протокол, Павел пошел к надвокзальному мосту.

Стр. 293. *После слов:* «...но не одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом»:

А когда пришла осень, полили дожди и в жаркой летом Приазовщине загуляли ветры, холодные и неласковые, тело, за лето набравшее сил, напомнило о страшной простуде. Бывало, не раз падал под вагон от острой, как порез ножа, боли в горячих коленях и щиколотках. Никому не говорил электрик о своих страданиях, схоронил глубоко от других предательство некогда сильного, как стальной трос, не знающего боли тела. До крови закусывал губы, когда по утрам вставал на непослушные ноги и волей, большой и упрямой, заставлял свое тело подчиняться. Но потерю силы принял как великое горе. Жизнь в ее полном рассвете подошла лишь к утру, солнце его дня лишь поднималось из-за горизонта, яркое, искрящееся, а тело, свитое из одних мускулов, уже предало его. Он инстинктивно чувствовал это преддверие в нечто трагическое, что безжалостно и неотвратимо выползало на его жизненную дорогу, стремясь остановить разбег. И как всегда, когда жизнь нагромождала перед ним преграду, готовился оказать отчаянное сопротивление. Скажи кто, что в этой борьбе он будет побежден и повержен в прах, электрик поднял бы на него руку, глубоко возмущенный этим неверием в безграничную, как он был убежден, способность тела к возрождению. Никто из друзей не знал, отчего не сходила со лба электрика суровая поперечная складка, не знали этого, как не знали и то, что электрик смотрит в мир лишь одним глазом. Слепоту и болезнь разрушен-

ных стужей суставов схоронил монтер от людей. И никто никогда не слыхал его жалобы на предавшее его тело.

Стр. 297. *После слов:* «И только бесстрашные куры да разморенные жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч»:

К дверям одного из домов заячьей припрыжкой подлетел высокий длинношеий человек, невесть почему в студенческой фуражке. Это был агент финотдела Коляско, молодой человек, черный, как жук, с глазами навыкате, с крючковатым, как у вороны, носом и вихлястой походкой. Коляско, почуяв, что пахнет горелым, пользуясь тем, что все были заняты сбором, постарался в кратчайший срок отдалить себя от исполкома на возможно большее расстояние. Сейчас он спешил укрыться у себя в комнате, которую он получил по ордеру в доме одного бакалейного торговца. Коляско награждал дверь градом ударов, но у хозяев не было ни малейшего желания пускать в дом своего неблагодарного жильца. Этот Коляско мало того, что влез нахалом в дом да еще взял и донес в финотдел о настоящей сумме оборота хозяина, так что бакалейщику пришлось выложить на стол еще восемнадцать червонцев, которые он считал уже своими. Но как его не пустишь, когда он собирается двери выламывать! Жена торговца, злая, как фурия, местечковая чемпионша по скандалам и руготне, не выдерживает этого стука, подскакивает к двери и отбрасывает тяжелый крючок.

— А, чтоб вам по гробу дети так стучали, что за паскудный человек, какой вам трясци здесь нужно? А не уберетесь ли вы к чертовой матери, пока я вам сковородой по голове не стукнула! — бешено брызгая слюной, зловеще зашипела на финагента мегера, готовая вцепиться когтями в ненавистного ей финотдельщика. Она стояла в дверях, преграждая ему дорогу.

Коляско, неспокойно оглядываясь, заговорил своей бессвязной скороговоркой. Слова булькали в его горле, словно он пил из бутылки, запрокинув голову:

— Тут, понимаете ли, банду ожидают, и-к! Говорят, что в соседнем исполкоме вырубили всех служащих. Но я, хотя человек маленький, а знаете, и-к! могу тоже пострадать. Я вас прошу, и-к! пропустить меня на чердак.

Хозяйка замахала перед ним руками и завизжала:

— Убирайтесь из моего дома!.. Никуда я вас не пущу.

Через площадь проскакал к исполкому Лисицын. Это еще больше напугало Коляско, он не давал закрыть дверь, пытаясь проникнуть в дом.

Стр. 298. *Вместо абзаца:* «Прошло несколько тревожных дней[...] банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон»:

*

Стук копыт на площади заставил Коляско обернуться. Целый отряд конников скакал по улице в синих шароварах с лампасами. Передние были уже недалеко.

— Банда!

Коляско ринулся к двери, сшиб с ног хозяйку и, подхлестываемый непреодолимым страхом, устремился к лестнице, идущей на чердак. В два счета он уже был наверху и откидывал рукой половинку чердачной двери.

Вскочив на ноги, хозяйка с растрепанными, как у ведьмы, волосами вылетела на крыльцо.

— Вот он, вот он, хватайте его, он на чердак спрятался! — кричала осатанелая женщина. Ее дикий крик заставил командира сотни остановиться.

— Кто спрятался?

— Хватайте его! Я не хочу за него отвечать.

Несколько человек спрыгнули с лошадей и побежали в дом.

Коляско вступил уже одной ногой на чердак, но вторая половинка двери, на которую он ступил, оборвалась. На ней лежал раскрытый куль муки. Тяжелый мешок упал на голову Коляско, и несчастный финансист с грохотом покатился по лестнице вниз.

Мешок с мукой настиг его на самом низу и чуть не придушил, осыпясь облаком белой пыли.

Красноармейцам были видны только дрыгающие под мешком ноги.

Когда Коляско был извлечен из муки и поставлен на ноги, произошел короткий допрос.

Коляско и хозяйку повели к исполкому. Мегеру посадили в милиции под замок, а Коляско отпустили для поправки нервов и приведения растрепанных чувств в спокойствие.

А среди красноармейцев долго не смолкал сумасшедший хохот, когда трое очевидцев рассказывали об этой трагикомедии.

С тех пор Коляско получил вторую фамилию — Чердашник. И далеко за пределы района разнеслась слава об этой популярной личности. На него указывали пальцем новичкам и удивленно спрашивали:

— Неужели вы его не знаете? Да это же Чердашник!

*

Недалеко от исполкома — окруженная вишневыми и яблоневыми садами белоснежная каменная подкова здания школы-девятилетки. Перед школой цветочные клумбы, дорожки, усыпанные желтым песком. Каменные ступеньки парадного хода.

Тихо, словно пчелиный улей, жужжит школа в часы занятий.

В прихожей Корчагин снимает шинель и вешает ее рядом со скромным пальто учительницы. Классы, видно, только что заполнились после большой перемены. В учительской за столом один заведующий, брюзглый старик, в молодости посидевший в тюрьмах, а сейчас отец многолюдного семейства, типичный провинциальный учитель, аполитичный, узкий деляга и меланхолик.

Корчагин вел урок обществоведения. Этот урок осторожный заведующий сознательно возложил на партком. Так спокойнее, и платить не придется.

— Пожалуйста, пожалуйста, вас уже ждут,— любезно встретил Корчагина завшколой.

Павел отстегнул от пояса свой маузер и подал его завшколой.

— Положите его в стол.

Входить в класс с оружием было неудобно, и револьвер всегда оставлялся в учительской.

В 9-й группе двадцать девять учащихся. Половина девушек. Свои уроки Корчагин любил, готовился к ним тщательно. И сорок пять минут проходили для него и для слушателей так быстро, что каждый раз звонок вызывал возгласы недовольства и разочарования. Юного военкома слушали с большим вниманием, с ним скоро сблизились, и он был единственным учителем, которому демократичность его отношений с учениками, его большая товарищность в обращении ничуть не мешали восприятию урока, наоборот, во много раз его усиливали. Иногда Павел забывался, и урок проходил в рассказах совершенно на другую тему. Но это случалось редко.

Урок был и для него и для слушателей приятным отдыхом, и учителя с недовольством слушали восторженные отзывы группы о своем обществоведе, ревнуя к этой, неизвестно чем завоеванной симпатии.

К концу урока Корчагину писали записки с вопросами. Он их просматривал у себя и отвечал на следующем уроке. И бывало так, что среди пытливых вопросов на различные темы вкрадывались маленькие листочки, где нетвердым, еще не окрепшим девичьим почерком писалось: «Скажите, тов. Корчагин, большевики имеют право любить или это запрещено партийной программой?» И дважды настойчиво спросила чья-то записка: «У вас есть подруга?»

Неожиданность этих вопросов смущала учителя. Прочитав, он незаметно обводил взглядом парты, угадывая, кто из девушек мог писать эти далеко выходящие за тему записки. Но авторов записок не находил.

— Я получил несколько вопросов, не имеющих отношения к нашим урокам и затрагивающих весьма сложные проблемы.

Если для написавшего это очень важно, пусть он обратится ко мне, и мы поговорим вне урока.

Записок больше не было.

Стр. 310. *После слов:* «Будем категорически возражать»:

*

Сжаты поля. На пороге появилась осень, ушло пламенное лето. Не любил осени Павел. Не сулили ничего доброго идущие впереди холода и дожди. И когда смотрел, как падают на землю кленовые листья, каким-то осенним холодком окружило сердце.

Не знал никто, как вставал по утрам молодой военком. А ведь каждое утро, прежде чем встать на свои отмороженные ноги, у него происходила борьба с острой, как ожог крапивой, болью и с режущими, как удар ножа, уколами в коленях. Ноги отказывались служить. Но воля заставила их подчиняться, и уже через час Павел ходил быстро, не сгибая тело, и не одного здорового парня мог умаять, если тот захотел бы везде за ним следовать. Ночью горячие, припухшие ноги не могли нарушить крепкого сна. И так всегда начинался день в борьбе между телом и духом, и не было еще случая, чтобы победило тело.

Стр. 322. *После слов:* «Лагутину снова стало слышно»:

— Троцкисты жалуются, что их жестоко потрепали, а чего же они ожидали? Партия и комсомол за последние годы идейно выросли и окрепли, и мы можем только гордиться, что молодой партийный актив в своем большинстве встретил троцкистов в штыки. А когда дискуссия перешла в широкие партийные массы, троцкистов разбили там еще жестче. Основные кадры не дали себя обмануть демагогам и фразерам. Не наша вина, если товарищ Дубава и Шумский не нашли сторонников среди своих многочисленных друзей[...]

Стр. 326. *Вместо слов:* «Товарищи! [...] Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров»:

— Товарищи! — твердо откроил это слово Панкратов. Он не пошел на трибуну, а стоял неподалеку от суфлерской будки, у самой рампы. Игнат глубоко дышал, беспокойно двигались на скуластом лице желваки, и лицо это от угловатого лба, нависшего буграми над черной пиявкой вытянутыми бровями до крепкого подбородка, потемнело от прилившей крови.— Девятый день мы в дискуссионной горячке. Ночи напролет просиживали ячейки. Многое мы видали, и многое мы слыхали. Сейчас в городе по-

дошли мы к концу. Это у нас предпоследнее заседание. Я отбрасываю в сторону все мелочи, не в них дело, буду говорить об основном.

Вчера мы обсуждали решение ЦК по хозяйственным вопросам. Сорок шесть оппозиционеров в сентябре прошлого года подали в ЦК свой знаменитый документ, который стал антипартийным знаменем для всех противобольшевистских групп и группировок, от осколков «рабочей оппозиции» до группы «демократического централизма». Всю эту разношерстную компанию возглавил Троцкий и его сторонники. Дубава, видно, хорошо изучил этот документ. Итак, что нам сказали троцкисты: «ЦК и большинство партии ведут страну к гибели...» [...]

Что осталось теперь троцкистам делать? Одно лишь — хватай оружие и руби. Кое-кто из них проговаривается. Об этом писала Юренева. Эта борьба нам показала, что в наших рядах есть люди, готовые в любую минуту взорвать партийное единство, поломать в щепки железную дисциплину, которые при каждой трудности поднимают бунт и вносят дезорганизацию.

Давайте же откроем настоящее лицо оппозиции.

Разве ЦК партии не записывал в своих решениях наличия бюрократизма и излишнего централизма в некоторых организациях? Разве пятого декабря не были вынесены решения о рабочей демократии? Были! И Троцкий голосовал за них. В партии каждому большевику предоставлялась возможность высказать свои взгляды и предложения, устраняющие недостатки в нашей работе. Оставалось только обсудить все в нашей единой партийной семье и общими силами двинуться вперед, преодолевая трудности.

Что же сделал Троцкий? На другой же день после этого решения, за которое он голосовал и был вполне с ним согласен, он через голову ЦК обратился к партийным массам со своим возмутительным документом. Сейчас же вслед за этим все, какие только были в партии оппозиционные элементы, повели на ЦК бешеную атаку.

Вместо здорового обсуждения наших хозяйственных и внутрипартийных недостатков у нас получилась внутрипартийная война. Троцкий пытался вооружить молодежь против старой гвардии, он хотел разорвать их неразрывное единство, он и его сторонники пытались оклеветать ЦК и старую гвардию. И большинство партии, возмущенное этой небывалой антипартийной вылазкой, дало оппозиции жестокий отпор по всему фронту. Они клевещут, что мы их зажимаем. Но кто этому поверит?! У нас в Киеве не меньше сорока приезжих агитаторов — троцкистов. Есть из Москвы, из Харькова целая группа, даже два из Петрограда. Мы им всем даем говорить. Я убежден, что нет ни одной ячейки, где они не пробовали побрызгать грязью. Ведь Дубаве, Шумскому и еще нескольким бывшим работникам дали ман-

даты на районную и городскую конференцию, хотя по уставу они не имеют на это права, как приезжие.

Им дали высказаться полностью, и не наша вина, если их большинство осудило резко и безоговорочно.

Вслушайтесь в их оскорбительную кличку: «аппаратчик». Сколько в ней ненависти! Разве партия и ее аппарат не одно целое?! Они говорят молодежи: «вот аппарат» — это ваш враг, бейте его.

Стр. 326. *После слов:* «...попытались выставить как представителей партийного бюрократизма»:

[...] Вы понимаете, к чему приведет троцкистов такая клевета? Они неизбежно станут врагами пролетарской революции. Наши комитеты были и будут нашими штабами. Мы посылаем в них лучших большевиков и никому не позволим их дискредитировать.

Панкратов перевел дух и вытер рукой потный лоб.

— Что означает требование оппозиции свободы группировок, под которым скрыта свобода фракций внутри партии? Это значит превращение нашей партии в дискуссионный клуб. Это значит, сегодня партия примет решение, а завтра какая-нибудь группа потребует его отмены. Опять дискуссия, то есть мы станем болтологами.

Мы партия действия. Если приняли решение, то все должны проводить его в жизнь. Иначе быть не может. Иначе мы перестанем быть непоколебимой силой.

Большевики на свободу группировок не пойдут.

Еще один момент надо отметить. Кого собрала вокруг себя оппозиция? Значительную часть вузовской молодежи. Ее Троцкий назвал барометром, выставил основой партии, в то время, когда у нас каждый ребенок знает, что основа партии — это старая гвардия и рабочие у станка [...] Дубава, Шумский ведут за собой введенных ими в заблуждение рабочих, а на флангах у них выступают вчерашние бюрократы и формалисты вроде Туфты и ему подобных, яростно выступающих против бюрократизма. Кто им поверит?

Знаменем оппозиции стал Троцкий. Сколько тысяч раз мы слыхали уже от них: «Троцкий — вождь Октября, это победитель контрреволюции, это старейший вождь нашей партии»! Нас заставляют говорить об этом, и [надо] выяснить раз навсегда роль Троцкого в нашей революции. Не случайно имя товарища Ленина так мало произносится оппозиционерами, когда они говорят об Октябрьском восстании. Нет и Центрального Комитета. Не слышим ни о петроградских большевиках, ни о революционных питерских рабочих, матросах и солдатах. Есть только один человек — Троцкий.

Величайшего вождя мирового пролетариата Ленина и нашу партию оппозиционеры пытаются подменить Троцким, пришедшим к большевикам в девятьсот семнадцатом году.

Для чего все это делается? Да все для того же, в интересах фракционной борьбы, для привлечения на свою сторону незнакомых с историей нашей партии. Все средства хороши для достижения своих целей.

В гражданской войне у оппозиционеров нет Ленина, нет партии, нет миллионов борцов, героически дравшихся за власть Советов. Есть только одна фигура — Троцкий. Это тоже не случайно. Но тут мы уже живые участники борьбы, и мы знаем, кто был вождем победы. Побеждал класс, руководимый нашей партией, и ее вождем Лениным, и нашим славным большевистским Центральным Комитетом. Побеждали мы, бойцы и командиры Красной Армии. Кровью сынов трудового народа добыта эта великая победа, а не одной личностью!

Голос Панкратова зазвенел на высоких нотах и смолк.

Бурными аплодисментами встретил зал эти слова. Это шла волна прилива, могучая, стремительная, и чудилось, будто тяжесть ее размаха заливала берег.

Дубава не раз уже слышал этот шум прилива. Он натыкался на него все эти дни в ячейках и на районной конференции. Он знал силу этого движения; не раз его сердце и тело были каплей в этом непреодолимом приливе, когда он шел со всеми в ногу.

Теперь он и кучка его спутников — против течения. И то, с чем было созвучно раньше его сердце, сейчас обрушилось на него и отбрасывало на отмель.

Игнат говорил, и каждое его слово Дубава воспринимал болезненно. Ему мучительно хотелось, чтобы так говорил он, Дубава, а не этот днепровский грузчик, крепкий, сколоченный из одного целого, не то что он, Дубава, раздвоенный, теряющий под ногами почву [...]

— Троцкий становится организатором раскола, и мы должны развенчать эту фигуру и показать ее таковой, какова она была и есть на самом деле. Троцкий неплохо боролся в Октябрьскую революцию, и партия доверила ему ответственные посты. Партия создала ему авторитет. Она высказала ему величайшее доверие. И если этот человек был когда-либо героем, то это было, когда он шел с нами нога в ногу. Троцкий не был большевиком до Октября, вот почему после революции он загибал кривую и во время Бреста, и в профсоюзной дискуссии, и, наконец, сейчас устроил эту небывалую атаку на партию [...]

Стр. 341. *После слов:* «Сели в углу»:

Рита посмотрела на часы.

— До начала сорок минут, расскажи мне о Дмитрии и

Анне[1],— сказала Рита, немного смущаясь оттого, что Корчагин смотрел на нее не отрываясь.

— Я с ним виделся недавно, пользуясь своим приездом на Всеукраинскую конференцию. С Анной виделся несколько раз, а с Митяем один, и то лучше бы не встречались.

— Почему?

Корчагин молчал. Чуть вздрогнула бровь над правым его глазом. Она знала причины этого движения, это было всегда признаком волнения.

— Расскажи же мне, я ведь ничего не знаю.

— Рита, я не хотел бы сейчас об этом рассказывать, но ты настаиваешь. Подчиняюсь. При мне произошел их окончательный разрыв, и, по-моему, Анна не могла поступить иначе. У них нагромоздилось столько разногласий, что разрыв являлся единственным выходом. Началом разрыва стали их партийные разногласия. Дубава все время в оппозиции. В Харькове я узнал о его выступлениях в Киеве, куда он ездил с Шумским.

— Что, разве Михайла — троцкист?

— Да, был, но сейчас отошел, мы с Жарким с ним долго говорили. Он теперь с нами, чего никак нельзя сказать о Митяе, тот чем дальше в лес, тем больше дров. Но вернемся к Анне. Она мне передавала все. Дмитрий погряз в антипартийной борьбе с головой. Анна выслушала немало оскорблений вроде: «Ты серая партийная лошадка, везешь куда хозяин прикажет» — или еще похуже. Несколько таких столкновений сделало их чужими. Когда Анна заговорила о разрыве, Дмитрий, видимо, не желая терять ее, уверил, что между ними не будет больше недомолвок, и просил не оставлять его, помочь ему пережить кризис. Анна пошла на это, и одно время ей казалось, что все уладится. Она от него не слыхала больше злобных выпадов, он отмалчивался в ответ на ее пропаганду, и Анна поверила, что он всерьез пересматривает свои прошлые установки.

От Жаркого она узнала, что Дмитрий в комвузе перестал мутить, и в личных отношениях у них наступило перемирие. И вот недавно Анна почувствовала себя нехорошо на работе, она становилась матерью, пришла домой, закрыв дверь, прилегла. У них с Дмитрием смежные комнаты, есть дверь, но по общему уговору заколочена.

Скоро Дубава пришел к себе с целой группой товарищей, и она невольно стала свидетельницей совещания организационной троцкистской группы. И Анна наслушалась таких вещей, какие ей и не снились. Между прочим, к Всеукраинской конференции комсомола они отпечатали нечто вроде декларации, решено бы-

---

[1] Речь идет о Дубаве и Борхарт.

ло раздать ее из-под полы делегатам. Для нее стало ясно: Дмитрий просто сманеврировал.

Когда все разошлись, Анна позвала к себе Дмитрия и потребовала объяснить все происходящее.

В этот день я приехал в Харьков на конференцию и в ЦК встретился с киевлянами.

Таля[1] дала мне адрес Анны: она жила совсем близко, и я решил до обеда заглянуть к ней, так как в женотделе ЦК партии, где она работает инструктором, мы ее не застали.

Таля и остальные тоже обещали прийти туда. Как видишь, я к ним пришел как раз в пору.

Корчагин грустно улыбнулся.

Рита слушала его, слегка сдвинув черный разлет бровей, опираясь локтем на обшитый бархатом край ложи. Корчагин молчал. Он смотрел на Риту, вспоминал, какой она была тогда в Киеве, и, сравнивая ее с нынешней, еще раз признал, что Рита выросла в цветущую здоровьем привлекательную молодую женщину. На ней уже не было бессменной военной гимнастерки: ее заменило просто, но изящно сшитое синее платье. Она возвратила его к рассказу легким прикосновением пальцев, сжавших его руку.

— Я слушаю, Павел.

Он продолжал, уже не выпуская этих пальцев из своей руки.

— Анна встретила меня с нескрываемой радостью, Дмитрий — с холодком. Он, оказывается, уже знал о моей борьбе с оппозицией.

Встреча вышла странная. Я должен был стать чем-то вроде судьи. Анна мне рассказывала, а Дмитрий ходил по комнате, курил папиросу за папиросой и, видимо, нервничал и злился.

— Видишь, Павлуша, он обманывает не только меня, но и партию. Организовывает какие-то подпольные кружки, продолжает свою склочную работу, а мне говорит, что все покончено. А ведь он в комвузе заявил, что считает постановления конференции правильными. Он называет себя честным, а в то же время занимается наглым обманом. Конечно, между нами нет ничего общего. Я напишу о сегодняшнем в губкка[2],— возмущенно говорила мне Анна.

Дмитрий сквозь зубы процедил:

— Что ж, иди, доноси, ты думаешь, мне очень хочется быть членом той партии, в которой даже жены занимаются шпионажем и подслушиванием!

Это было много даже и для Анны, и она крикнула Дмитрию, чтобы он уходил. Когда он вышел, я сказал Анне, что хочу с ним поговорить. Она ответила, что это бесполезно, но я все

---

[1] Лагутина.
[2] Контрольная комиссия при губкоме партии.

же пошел. Ведь мы с Митяем были когда-то большие друзья. Я думал, что его можно еще выровнять.

Захожу к нему. Он лежал на кровати и сразу же предупредил: «Только не агитируй, пожалуйста, надоело мне это до смерти». Но говорить все же пришлось [...] Я понял, что с ним бесполезно спорить. По-моему, Дубава для нас потерян. Из-за него я опоздал на заседание делегации. На прощание он меня решил, видимо, «порадовать». Говорит: «Я знаю, Павка, что ты еще не окостенел и не стал чиновником, который голосует «за», потому что боится потерять место, но ты из тех, кто, кроме красного знамени, ничего больше не видят».

Вечером у Анны были все киевляне, Жаркий и Шумский. Она уже была в губкка, и мы признали поступок ее совершенно правильным. В Харькове я пробыл восемь дней. Несколько раз виделся с Анной в ЦК. Она поменялась квартирой. От Тали узнал, что Анна сделает аборт. Разлом с Митяем, видимо, бесповоротен. Таля осталась в Харькове на несколько дней помочь в этом.

В день, когда мы уезжали в Москву, Жаркий узнал, что Дубаве парттройка вынесла строгий выговор с предупреждением. Оказывается, комвузовское бюро высказалось за эту предпоследнюю меру. Это спасло Дмитрия от исключения.

В партере становилось тесно, а людской прибой продолжался, кругом все говорило, смеялось. Этот невиданный приток энергии, которая так кипуча в большевистской юности, жизнерадостной, стремительной, как поток горной реки, принимал в себя великан-театр.

Шум нарастал. Павлу казалось, что Рита не слушает его, но как только он замолчал, она сказала:

— Я думаю, мы о Дмитрии сегодня больше говорить не будем. Зачем на это тратить остающиеся у нас минуты! Здесь столько света и так много жизни [...]

Рита подвинулась к нему, они сидели теперь близко, говорить становилось трудно. Чтобы не кричать, она нагнулась к нему.

Стр. 342. *После слов:* «Он увидел ее в группе украинцев»:

[...] Брат Риты, слушатель военной академии, жил с матерью и старшей сестрой, работавшей в агитпропе МК. В их небольшой квартире вечером собралось около двадцати товарищей, большинство из украинской делегации. Часть же работников краевого комитета комсомола одного из отдаленных краев, где Рита работала завполитпросветом крайкома.

В комнатах было шумно, а от папирос стоял сизый туман. Гостей угостили чаем с малиновым вареньем. Давид рассказывал злободневный политический анекдот. Чайник на самоваре вздрагивал от неудержимого хохота. Мать Риты, напоминавшая дочь

чертами лица, от такого бурного налета молодежи в первый миг растерялась, но вскоре освоилась, смеялась со всеми, не забывая подкладывать побольше варенья, которое с удивительной быстротой исчезало с блюдечек.

Корчагина еще не было. Он неожиданно встретил в кулуарах съезда Крамера, своего политрука в бытность их в полку Пузыревского. Крамер был теперь секретарем одного из губкомов комсомола. Он знал Панкратова, и Павел решил привести его к Устинович.

— Давайте вспомним старое, друзья,— предложила Рита.— Расскажите мне о товарищах, например, расскажите мне, где сейчас Жухрай.

Никто не ответил. Аким нарушил молчание:

— Года полтора назад я как-то прочел в «Известиях» краткую заметку о награждении его вторым орденом Красного Знамени. Он тогда был в Туркестане. Но сейчас не знаю, где он.

Рита слушала его с огорчением.

— Ну, а Ольга? Она, значит, не расстается с комсомолом? Что, все еще марширует в сапогах и шинели?

Окунев расхохотался.

— Ты ее, Рита, не узнала бы. Чудить она в одежде перестала, и я ее видел такой изящной дивчиной, от ботинок до стриженой головки все — на сто процентов. Только к нашему брату она до сих пор немилосердна.

Чайник на самоваре опять задребезжал.

— Это вы о Юреневой говорите? — вмешался в разговор Люфит, секретарь губкомола, на периферии которого работали Корчагин и Юренева [...]

Разговор перешел на другую тему. Мария Устинович, нагибаясь к Панкратову, показала ему одну из карточек, где была снята Рита с дочуркой и военным. Игнат рассмотрел на петлицах несколько ромбов.

— Это последнее фото Риты с мужем. Он член Реввоенсовета округа [...]

Панкратов поднял голову. В дверь напротив входили Корчагин и Крамер.

«Знает ли Павлуша обо всем?» — подумал Игнат [...]

Крамер и Жаркий обнялись, а Игнат чуть не сломал Крамеру руку при пожатии.

Этот вечер прошел замечательно, с подъемом. Пели все больше украинские песни. Вспомнили былое... Федотов достал из портфеля «Комсомолию» Безыменского и прочел хорошо, с большим умением и выразительностью несколько отрывков.

Окунев легко соскочил со стола, он издавна не любил сидеть на стульях, и выпалил восхищенно:

— Вот это наше родное, «Цека играет человеком» — красо-

та; нынче здесь, завтра там, куда скажет партия. Что мне еще нравится, это слова буденновского марша:

Мы беззаветные герои.
И вся-то наша жизнь есть борьба.

Это верно, хотя скажут, что мы сами себя хвалим. В какое, черт возьми, счастливое время мы живем, братишки! Вот мы здесь все друг на друга похожи, у каждого шесть-семь лет революционной работы, почти все дрались на фронтах. Вот написать бы хоть об одном, с его малых лет и до последних дней, и чтоб книга эта была огнем каленная. О ком бы в ней ни писалось, кто бы ни взят был героем, но это рассказ будет не только о нем — обо всей нашей братве, о большевистской комсе.

Глаза Николая сверкали, он был красив в эту минуту. Увлеченный порывом, Окунев продолжал говорить внезапно примолкнувшим слушателям:

— Как же так стало, что мы умели бороться под знаменами партии, мы с ней создавали комсомол, он дал ей работников всех специальностей, а рассказать о людях, ее творивших, о нас самих мы не смогли! У нас нет книг, где молодежь большевистская увидала бы свои портреты. Такой революции, как наша, мир не видел, а книг, о ней рассказывающих, где бы молодая гвардия наша была показана, еще нет. Ведь кто же лучше нас знает, как волнуют и запоминаются художественно образы мятежников, повстанцев в романах, повестях! Книга могущественнее армии агитаторов. Она проникает в самые глухие уголки, ее читают, она оставляет след в сознании, и если она ярка, если ее написал большевик о наших днях, то книга будет служить революции. А скажите, кто у нас на этом фронте работает? Одно, правда, славное имя Саши Безыменского и еще два-три поэта. Просмотрите всю нашу братву, какую мы только знаем. Найдем все роды оружия, но ни одного писателя. Мы проглядели это большое дело, и над этим надо задуматься.

Окунев замолчал.

— Да, но для этого нужна большая подготовка, нужен большой культурный уровень, знание литературы и языка, а из десяти нас девять рабочих с начальным образованием, а то и самоучки. Этой преграды не переступишь в один день. Этот Перекоп в одну ночь штурмом не возьмешь,— первый отозвался на горячую речь Люфит.

— Все же Окунев прав,— возразила Рита.— Написать книгу, имея лишь одно желание и даже партбилет с Октября, без высокого культурного уровня и грамотности невозможно, но этот культурный рост у нас происходит с невиданной быстротой. Революция — это школа, с которой не сравнится ни один университет. Возьмем пример: вот товарищи Игнат, Павел, Николай и

Жаркий. Я знаю, ни один из них больше начальной школы не видел, а Жаркий и того меньше. Я их всех помню три года тому назад. Их знания мировой культуры и литературного наследства буржуазии тогда были ничтожны и примитивны. Кто же скажет это теперь? Я с удовольствием вспоминаю беседу, проведенную с Жарким, его общее развитие ничуть не ниже гимназиста старой школы, я уже не говорю о марксистском образовании. Это в той или иной степени относится и к остальным. Это особенно бросается в глаза, когда вспоминаешь, что было три года назад. Даже язык изменился до неузнаваемости. Раньше это была помесь какого-то жаргона, фронтового языка и еще чего-то невообразимого. Я не хочу их обижать. Русский язык был изуродован, вместо понятной фразы говорилось: «Павка, шамануть хоцца», «Ну, потопали», «Чего там бузу трешь», «Хватит муру разводить».

Долго дребезжал чайник на самоваре от неудержимого хохота молодежи. В дверях соседней комнаты появилась мать, разбуженная от своей дремоты этим взрывом смеха.

— Я глубоко убеждена, друзья, что в ближайшие же годы комса выдвинет из своей среды мастеров слова, и они расскажут в художественных образах наше героическое прошлое и не менее славное настоящее. Кто знает, может быть, один из здесь присутствующих зарисует и нас острым пером, и мое единственное желание — чтобы этим историком не оказался Игнат: от его тяжелой руки нам никому не поздоровилось бы.

В общем смехе раскатистый бас Панкратова громче всех.

— Счастье твое, Рита, что из меня писатель... того... не выйдет, а то я бы тебе страниц десяток не пожалел,— говорил он сквозь смех [...]

Стр. 345. *После слов:* «Он спешил жить»:

Ведь у него было огромное богатство — юность с ее неиссякаемым источником внутренних сил, а также страстная порывистая натура, и он не жалел этих сил, а отдавал их целиком, как и всего себя, делу, ставшему для него целью жизни [...]

Партия посылала его на новые места за эти годы трижды.

Вскоре после приезда из Харькова, где он так и не увидел Анны, находящейся в клинике, он расстался со своим округом и Ольгой Юреневой, занявшей его место. Был послан в один из южных округов.

Эти два года работал в комсомоле, его родной стихии. Работа была любимая, глубоко его удовлетворяющая.

Суровый к себе, не знающий нормы трудового дня, он и своих товарищей заставлял работать так же. Добивался этого разносторонне — от личного примера и умения увлечь и заинтересовать до нажима силой там, где моральное воздействие не

достигало цели. Лодыри и сонливые не выдерживали этих темпов, отсеивались и уходили из радиуса его действия, а на смену им приходила выисканная в ячейковых уголках и райкомах молодежь, жаждущая действий.

В организациях жизнь начинала закипать горячее, а беспокойный смуглый юноша в окружкоме не давал ей остывать. Сколачивалось вокруг него крепкое ядро. Самые упрямые и петушливые, встречавшие приход этого подчас крутого на слово парня недоброжелательно, скоро становились его друзьями.

На съезды и конференции приезжали они сколоченной монолитной группой, и партия находила в них опору в своей борьбе против всех разновидностей оппортунизма.

Стр. 346. *После слов:* «Исключить как чуждый элемент из рядов комсомола»:

Часто стал читать Корчагин на губкомовских бумажках подпись: завучетом Сухарько. Будучи в губкоме, не забыл заглянуть в учет... Сомнений быть не могло. Здесь хозяйски устроился его земляк. Шурка его не узнал. Зашел к секретарю, рассказал об учетчике, попросили принести личное дело. Прочли: член комсомола с 1920 года, профессия — слесарь, еще кое-какие мелочи, печати и бланки — все в порядке.

— Покажи свой билет,— угрюмо сказал Корчагин.

Сухарько вынул книжечку и подал ему. Павел заметил в билете подчистку: вместо «1926 год» у шестерки был вытерт верхний загиб, и шесть, размашисто написанное, стало нулем...

— Когда же это ты был слесарем?

— А вот в девятнадцатом-двадцатом году, в депо на станции Шепетовка, у меня справка даже есть, могу представить,— сказал обеспокоенный Сухарько.

— А меня ты случайно не знаешь? Ты не помнишь, кто тебе морду бил, ты что же, думал далеко проехать с этой подчисткой?

Сухарько узнал Корчагина и понял, что дело гиблое. На другой день в учете его уже не было.

Стр. 354. *После слов:* «Так началась их дружба, и Дора Родкина [...] не раз вспоминала смешное начало знакомства»:

Ранним утром просыпался Корчагин, кругом ни души, все спят крепким предутренним сном, и шел к морю встречать восход солнца. Стоял на берегу и смотрел, как рождается день. В ореоле пламени, разбрасывая каскады горящего света, ослепительное, жаркое, подымало из моря солнце свой раскаленный золотой шар, и море улыбалось ему. Серебристой дорогой отмечало солнце свой путь на белых гребешках волн, и вспыхивали брызгами золота стеклянные террасы Дюльбера и Виллы Роз.

На зернистом песке утренняя роса. Корчагин раздевается и входит в прохладную воду. За его лечение принялись всерьез, и день стал заполняться рядом процедур: ванны электрические всех родов и действий. Тут монтер впервые узнал, что ток не только дает свет и движет моторы, но и лечит весьма успешно головы, почему-либо плохо работающие, вроде его собственной, причиняющей ему много неприятностей. Ванны морские, рапные, песок, солнце, море — все это было приведено в действие, и вскоре он ощутил на себе их благотворное влияние. Растраченные силы возвращались к нему вновь, а кругом жизнь била ключом, было так много солнца, моря и людей, загорелых, радостных, что Павел быстро поборол нервозную подавленность. Стали реже мучительные контузионные боли в голове, появился аппетит, раньше отсутствующий. Иерусалимчик[1] была довольна.

— Наши дела идут в гору, товарищ Корчагин.

Они стояли на центральной дорожке санатория. К ним шла женщина, виденная тогда в саду. Иерусалимчик без обиняков познакомила их. Павлу это знакомство не совсем улыбалось, он еще не забыл разговора в саду.

— Товарищ Родкина, поручаю вам его. Сделайте так, чтобы он поменьше оставался один и не думал о сложности теории относительности Эйнштейна. Я еще не видела, чтобы он смеялся, значит, вы здесь необходимы.

Родкина смерила его с ног до головы лукавым взглядом и, сверкнув зубами, рассмеялась.

— Ничего себе нагрузочка, как ты на это смотришь, Корчагин? Если у тебя такой же характер, как и профессия[2], то у нас ничего не выйдет.

С этого же дня Дора начала «тормошить» Павла, и ускользать от нее было не так-то легко. Впрочем, на третий же день их знакомства Павел перестал это делать. Они подружились, да и нельзя было не подружиться с ней.

Год назад Павел научился играть в шахматы. Раньше он возмущался, как это люди могли просиживать два-три часа над доской в каком-то напряженном оцепенении, вперив глаза в какую-нибудь точку на шахматной доске; но, познав тайны шахматной игры, сам увлекся со всей силой и стал игроком страстным и упрямым. Одно время даже книга отодвинулась на задний план, но потом он заставил себя вернуться к ней. Игра требовала времени, а его не было. Как только прошли головные боли, Павел попробовал сразиться. Играл он всегда на стремительное наступление и ошеломлял противника бурным натиском, но побе-

---

[1] Санаторный врач.
[2] Корчагин, знакомясь с Родкиной, шутя сказал ей, что работает в ассенизационном обозе.

ду терял иногда одним рискованным ходом. Поражение принимал остро. Игра требовала мозгового напряжения, и, как только он пытался сыграть больше одной партии, Дора, не упускавшая его из виду, брала под руку и под тем или иным предлогом уводила от партнера.

К Доре приходила Азорская[1], та блондинка, что подходила к Доре в саду. Втроем катались на лодке, читали, слушали концерты у фонтана поликлиники, а вечерами гуляли по приморскому бульвару. Быстро промчался месяц, здоровье Корчагина поправлялось с каждым днем. Тело его загорело до цвета старой бронзы, мускулы наливались крепостью. Сгладились и вскоре ушли совсем ненавистные боли, и голова не чувствовала свинцовой тяжести. Тело наливалось силой и здоровьем и стало тяжелее на девять кило. Иерусалимчик не могла скрыть своего восхищения.

Стр. 355. *Вместо слов:* «...рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым»:

...коренастый, лет пятидесяти, когда-то уральский литейщик, заговорил негромко:

— Да! Факт налицо. Произошло то, что мы предполагали,— «новая оппозиция». А если говорить о ее вождях, то Зиновьев и Каменев соединились воедино не с кем иным, как с Троцким. Подали друг другу ручку, и вот теперь этот винегрет из оппозиционных фруктов начнет действовать.

Прокурор-тамбовец прервал Барташева:

— Я еще на четырнадцатом съезде говорил товарищам: «Вспомните мое слово, что Зиновьев и Каменев еще с Троцким поженятся». Ведь когда Зиновьев с ленинградцами все время шел против всего съезда, Троцкий словно воды в рот набрал, только поглядывал, дескать, вы меня, сукины дети, все время щелкали, разносили меня в пух и прах за «Уроки Октября», а теперь и сами попали в то же болото. Мне тогда возражали, что Зиновьев и Каменев, столько лет боровшиеся с троцкизмом, на всех перекрестках заявлявшие, что троцкизм — чужеродное течение нашей партии, никогда и ни за что не изменят большевизму и не пойдут на поводу у того, с кем они столько лет вели ожесточенную борьбу. И что же получилось: вчерашние враги и идейные противники сегодня уже друзья, потому что оголтелая борьба против большевистского ЦК заставляет их объединяться с кем угодно за счет всех своих принципов, прежних позиций. Наплевать им теперь на все это. Что им до того, что блок с Троцким позорит их большевистское прошлое. Этот беспринципный блок немало похож на Августовский блок двенадцатого го-

[1] В печатном тексте — Мура Волынцева.

да. И тут и там Троцкий дирижирует. Такой номер для Зиновьева и Каменева не менее позорен, чем их трусость перед Октябрьским восстанием. Так-то...— Тамбовец косо взглянул на Дору и удержался от бранного слова.

— Тьфу, чуть было не стукнул. Такого безобразия я, признаюсь, еще не видал,— закончил тамбовец.

— По всему видно, что в ближайшее время эта объединенная оппозиция начнет трепать партию. Я не понимаю, когда мы покончим с этими беспрерывными группировками, занятыми только единственной работой — мутить воду и раскалывать единство партии. Какое у нас либеральное терпение! По-моему, надо повышибать из партии этих профессиональных склочников и оппозиционеров. Ведь мы на борьбу с этими антипартийными элементами тратим столько сил и времени! — горячо говорила Дора.

Старик Мейжан, молча слушавший этот разговор, сказал:

— Придется нам, друзья, не откладывая, собираться — и в путь. Несколько дней больше или меньше в санатории роли не играют, а наше присутствие в такой напряженный момент на местах необходимо.

Стр. 356. *После слов:* «...городской актив организации слушал его первую речь»:

— Ого! Видали его — не парень, а огонь. Гвоздит словом, аж искры сыплются.

— Да! Зубастый чертяка. Такой комсе нужен,— делился актив впечатлениями о новом комсомольском секретаре.

Внутрипартийная борьба разгоралась вновь. И среди большевиков, боровшихся против дезорганизаторов, соединенных беспринципным блоком для удара по единству партии, имя Корчагина было не последним. Сил было много. Мускулы налила упругость, и Корчагин работал, как никогда.

В речи свои, запалистые и бурные, вкладывал всю страсть порывистой натуры, всю силу действия пламенного слова. Слова его звали к борьбе, в его речах не угасало возмущение теми, кто пытался шатать монолитную глыбу — большевистскую непримиримость к беспринципной групповой борьбе против партии и ее штаба. А те, кто боролись против партии нечестными способами, по примеру своих московских вождей Троцкого и Зиновьева, ненавидели его.

Этот не знающий компромиссов партиец не раз требовал исключения из рядов партии всех, кто создавал подпольные кружки, вел разрушительную, отравленную ложью и клеветой нелегальную работу, на словах признавая правильность решений партии.

Его ненавидели те, кто разложился идейно и становился просто клеветником, распространяющим всякие слухи и слушки,

и любили и поддерживали те, кто был подавляющим большинством, ставшим на защиту большевистского знамени. И Корчагин гордился этой любовью и презирал тех, кто злобными укусами встречал его выступления.

Партия разгромила этот новый, невиданный по своей беспринципности блок, и оппозиции оставалось лишь одно: еще раз обмануть партию.

Лидеры блока Троцкий, Зиновьев, Каменев заявили партии, что они осуждают свою фракционную деятельность, и дали слово прекратить борьбу. Это был обман. В то время, как они подавали это заявление, всем их сторонникам был дан сигнал к такому же обману. А в подполье продолжалась организация сил, подготавливалась новая вылазка. По этому нечестному пути катились в контрреволюционные объятия международного меньшевизма Троцкий и его подручные Зиновьев и Каменев.

Стр. 356. *После слов:* «Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках»:

— Нет, обязательно отпечатаю в десяти экземплярах все эти данные, и пусть читают, а то спасения нет! — нервничал он, когда «допросу», казалось, не будет конца.

Поздним вечером были закончены все приготовления к операции. Усталый Корчагин заснул, и так крепко, что вошедшая в палату врач, для вечернего обхода, не решилась его будить.

— Этот перед операцией, видимо, не волнуется, спит,— удивилась сестра.

В комнате дежурного врача долго не потухал свет. Это Ирина Васильевна Бажанова, дочь известного профессора-хирурга, перечитывала скорбную запись и биографию своего нового пациента. Она не могла знать, что началом ее чувства к этому неизвестному, случайно встреченному на ее жизненном пути человеку стал именно этот скорбный список.

Она не знала и того, что ее чувство не найдет взаимного отклика в человеке, жизнь которого входила в трагический период.

Стр. 380. *После слов:* «Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок»:

*

Прошло полтора года. Страна приступила к великим работам. Социализм стал на пороге действительности, из мечты превращался в грандиозное создание человеческого ума и рук. Созидался уже железобетонный фундамент этого невиданного по своей величественности и красоте здания.

Сталь, чугун, уголь — эти три магических слова вырастали на листах газет страны великой стройки [...] Мир не знал в своей истории таких порывов. И загоралось призывом к действию слово «темп».

Там, где когда-то, в седую старину, бушевала своими куренями Запорожская Сечь, этот ужас шляхетской Польши и даже могущественной тогда Турции, у острова Хортицы стала лагерем другая армия. Это большевики решили преградить путь старому Днепру и дикую, необузданную его силу запрячь в стальные турбины и реку древнюю, как сама жизнь, заставить работать на социализм.

Человек вступал в борьбу со стихией и заковывал в железо и бетон непокорные силы свирепого у порогов Днепра.

Среди тридцатитысячной армии, наступающей на реку, среди ее командиров был киевский грузчик, а теперь начальник строительного участка Игнат Панкратов. Армия наступала на реку с двух берегов, и с первых же дней между берегами не угасало новое в рабочей жизни — социалистическое соревнование. Легко носил свое большое тело Игнат по настилам и мосткам, перекидываясь ядреным словом с братвой у бетономешалок, то исчезая в земляных траншеях, то неожиданно появляясь на платформе, где сгружался цемент и балки. Ранней зорькой появлялась его сутулая фигура на «тугом» участке, и поздней ночью валил он на походную раскладушку свое вконец усталое большое тело.

Как-то, заглядевшись на реку, запеленатую утренним туманом, и на забросанные, сколь глаз кинет, строительным материалом берега, вспомнил маленькую лесную Боярку. Детской игрушкой стала их тогда казавшаяся большой работа.

«Вот до чего мы доросли, братишка Игнат! Реку взарканим, Днепряку бешеного. Хватит старику лютовать на порогах, даешь миллион киловатт — и никакая гайка! Вот откуда жить по-настоящему начнем, Игнатушка! — И в груди ворохнулось что-то горячее, словно выпил жадно крепкого вина.— Где-то сейчас братва боярская? Павку сюда бы, Жаркого, эх и втыкали бы мы левобережцам!» — невольно вспомнил друзей, вспоминая Боярку.

А те, кто вместе с ним боролся в Боярке со стужей, а также те, что создавали комсомол, сейчас рассыпаны по стране от кипучих новостроек до глухих углов страны необъятной, возрождали жизнь. Когда-то их, комсы первой, было пятнадцать тысяч. Встречались в людском море, словно братья родные. А теперь гигантом стал союз их крошечный; там, где был один, сейчас целый батальон.

«И в нас удалися, чертяки. Еще недавно под столом пешком ходили. Мы на фронтах уже были, а этим, небось, мамка нос

сморкатый подолом вытирала. Моргнуть не успели, а они уже выросли и норовят тебя на замесах в черепашью рамку вставить. Извиняюсь, такой номер не пройдет. Это мы еще посмотрим!» — И Панкратов вдыхал полной грудью речную свежесть, предвкушая удовольствие, с каким он сегодня вечером переставит левобережный седьмой участок, где секретарем ячейки был двадцатилетний комсомолец Андрюша Токарев [зачеркнуто: «в черепашью рамку»], на буксирный крюк.

А тот, о ком он только что думал, его друг и соратник, Павлуша Корчагин, заброшенный в далекий глухой приморский городок, в борьбе жестокой и упорной за возврат в строй познавал и горечь поражений и радость побед.

В течение 1935 года появился целый ряд статей о романе «Как закалялась сталь» и ее авторе. 17 марта 1935 года газета «Правда» опубликовала очерк Михаила Кольцова «Мужество». Он, восхищаясь беспредельным мужеством Островского, назвал его «человеком большого таланта», «одним из тех, кем может гордиться наша страна». Очерк М. Кольцова сразу сделал имя Н. Островского популярным и привлек к нему внимание широкой общественности.

4 октября 1935 года, после награждения писателя орденом Ленина, газета «Правда» писала в статье «Мастера искусства большой идеи»: «Николай Островский — талант, целиком созданный Великой Октябрьской революцией». Роман «Как закалялась сталь» был назван «оружием советского искусства... в арсенале борьбы коммунизма с фашизмом».

Островский получает тысячи писем от читателей, приветствовавших роман «Как закалялась сталь». Книга Островского находится в поле пристального внимания критики.

Третье издание стало основным источником текста для всех последующих прижизненных изданий романа «Как закалялась сталь». Но почти в каждое из этих последующих изданий автор вносит уточнения, поправки и дополнения, несмотря на то, что к этому времени он уже был занят новой работой — романом «Рожденные бурей».

В 1936 году, готовя пятое издание «Как закалялась сталь» в издательстве «Молодая гвардия», Островский продолжает редактировать текст романа и дополняет его еще несколькими эпизодами, восстановленными по журнальной публикации. Это издание и стало основным источником текста для всех последующих переизданий.

С. Трегуб

СОДЕРЖАНИЕ

С. Трегуб. Школа мужества 3

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Роман

Часть первая 23
Часть вторая 195

ПРИЛОЖЕНИЯ

Г. И. Петровский. [Предисловие к пятому изданию] 397
Ромен Роллан. Николай Островский (Предисловие к французскому изданию романа «Как закалялась сталь») . . . 401

Примечания 403

Н. ОСТРОВСКИЙ.

Сочинения
в трех томах.

Том I.

Редактор тома
Т. Сумарокова.

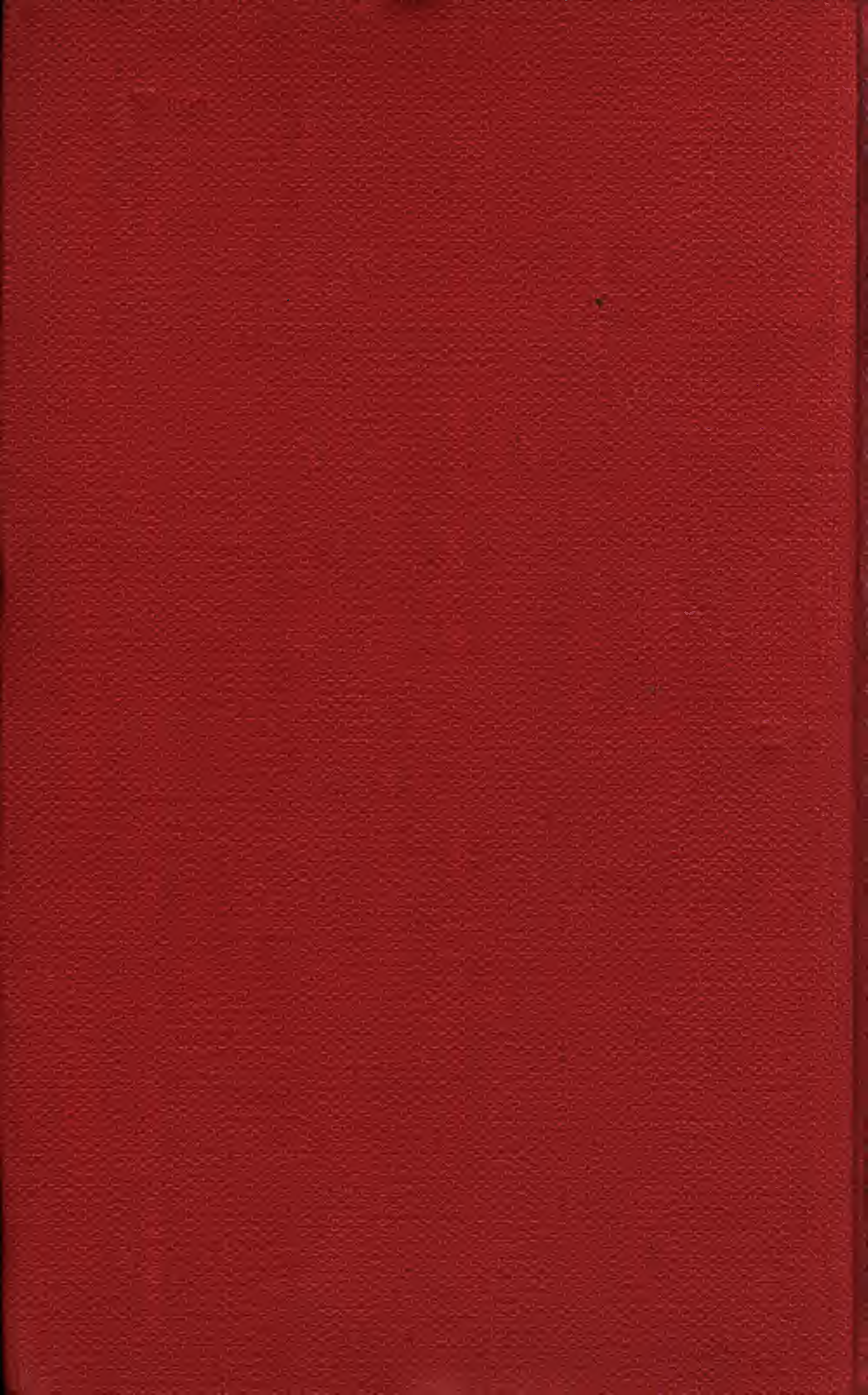
Оформление художника
Г. Федорова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Сдано в набор 29/VIII 1969 г.
Подписано к печати 5/IX 1969 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 24,04 усл. печ. л. 25,72 уч.-изд. л.
Тираж 565 000 экз. Изд. № 1863. Зак. № 962.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

Индекс 70686.




НИКОЛАЙ
ОСТРОВСКИЙ
1